

СОДЕРЖАНИЕ

Слово к читателям.	2
-------------------------	---

О МУДРОСТИ ЛУКАВОЙ

Справедливо ли суждение Б. Брехта, что горе той стране, которая нуждается в героях? (редакционное размышление).....	3
---	---

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ

Е. С. Роговер. Повесть А. И. Куприна «Поединок» (к 140-летию со дня рождения писателя).....	6
А. Н. Мировов. «Поединок» А. И. Куприна как несчастная жертва вожделению или как вложенная сама в себя печальная литература (фрагмент из книги «Литературы лукавое лицо»).....	11
Е. С. Роговер. Владимир Высоцкий (литературный портрет необыкновенного современника).....	18
А. Н. Мировов. Критические заметки о Владимире Высоцком (родились в рамках дискуссий в интернет-клубе журнала «Писатель. XXI век»).....	25

ДУША С ДУШОЮ ГОВОРИТ

Стихи Ирины Горбань, Людмилы Вамбы, Натальи Песенко, Евгения Морозова, Никиты Селиверстова, Евы Талой, Григория Харитоновы	31
--	----

ПРОЗА XXI

В. Бовкун. Побег (рассказ).....	47
---------------------------------	----

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО

Елена Александрова. Роль русской музыкальной классики в современной социокультурной ситуации	106
Андрей Каратыгин. Русскому мало русского. Размышления о месте русской классической музыки	113

ПРОЗА В МАЛЫХ ФОРМАХ

Реставратор — Андрей Павлов-Арбенин. Рассказы.....	116
Евгений Мюллер. Бытовая остановка (рассказ)	120

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ

Е. Т. Дмитриева. Концептуальный фактор современного образования.....	130
--	-----

ИСТОРИЯ БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ГРИМА

Современные воззрения на историю России как феномен «услашенной» ее фальсификации (редакционный комментарий)	138
Вадим Петров. Критика Николая Старикова.....	138

О САМОМ ГЛАВНОМ

Александр Кучеровский. Куда ведешь, тропинка? (этюды в миноре).....	150
Владимир Хилько. В дебрях понимания, или Заблудившись в трех соснах. Часть 2-я, окончание (начало в 6-м, 8-м выпусках журнала).....	153
Андрей Каратыгин. Из ума выживает сильнейший... ..	158

ДУХОВНЫЕ ГЛУБИНЫ

Владимир Василик. Святитель Николай Велимирович о Европе и христианстве....	161
---	-----

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

*Здравствуйте,
дорогие читатели журнала «Писатель. XXI век»!*

Мы выходим уже третий год. Кто-то из наших читателей давно отвернулся от нас, полагая наше издание тенденциозным и не свободным от собственных предпочтений, а кто-то, наоборот, говорит нам, что наш журнал от выпуска к выпуску становится все лучше. Но мы думаем, что нам все же следует продолжать свою работу, невзирая ни на что. Если хотите, мы видим в том свое служение, как понимаем его и как способны вершить.

Текущий момент нашей с вами жизни ведет всех нас, кажется, к новой исторической развязке. Иначе говоря, складывается впечатление, что лимит потрясений русского мира еще вовсе не исчерпан, а значит, грядут очередные серьезные испытания. Готовы ли мы все к ним? Вряд ли. Однако это не означает того факта, что уже ничего более нельзя сделать.

В настоящем выпуске мы поведем разговор, как никогда ранее, о многом: и о роли героического начала в нашей жизни, и о пагубном влиянии ложных кумиров прошлого в наши дни, и о проблемах русского классического музыкального искусства, и о роли упрощенного восприятия исторического знания, и о привычке неумелого восприятия собственных мыслей о более или менее сложных явлениях жизни, и о невиданных до сих пор проблемах российского образования, и, наконец, о вере православной, становящейся ныне объектом самой непримиримой духовной атаки.

В литературном отношении 9-й выпуск журнала имеет следующие особенности. В рубрике «Альтернативные воззрения» читатель ознакомится с разными оценками известной повести А. И. Куприна «Поединок», сформулированными Е. С. Роговером и А. Н. Мионовым. В рубрике «Проза XXI» вниманию публики представлен рассказ Владимира Бовкуна «Побеги», в рубрике «Проза в малых формах» — небольшие работы Реставратора — Андрея Павлова-Арбенина и рассказ Евгения Мюллера, отличающиеся проникновенностью и мастерством исполнения. В конце поэтической рубрики «Душа с душою говорит» журнал впервые наряду со взрослыми поэтами публикует стихи совсем еще молодого человека.

Редколлегия журнала «Писатель. XXI век»

СПРАВЕДЛИВО ЛИ СУЖДЕНИЕ Б. БРЕХТА, ЧТО ГОРЕ ТОЙ СТРАНЕ, КОТОРАЯ НУЖДАЕТСЯ В ГЕРОЯХ?

(редакционное размышление)

И в самом деле, неужели классик был прав, когда изрек приведенную в заголовке статьи формулу? Кто-то скажет, что всякий герой как своего рода затычка в пробоине горе-судна удерживает его на поверхности, тогда как в иной ситуации нужды в нем быть не должно, во всяком случае, герой-затычка будет пребывать в зарезервированном виде до тех пор, пока не возникнет сама пробоина. Названной беды при расчетливо-умном мореплавании и вовсе не должно случиться. Что ж, спорить тут не о чем. Другое дело, что сам смысл героизма или слова *герой* вряд ли исчерпывается решением какой-нибудь важной, но все равно утилитарной задачи. Давайте вникать и разбираться. Но сначала все-таки уточним следующее. Может быть, известный классик имел в виду совсем другое, а именно: горе той стране, где нехватка героев? Впрочем, нам легко ответят, что об этом Б. Брехт вряд ли бы вообще хлопотал. Почему? Да потому, что это было не в его вкусе. Иначе говоря, его совсем не интересовало в людях героическое начало. Его кредо — организация разумной жизни, в которой самому подвигу попросту нет места, а значит, нет места и страданию, тесно связанному с ним. Но откуда тогда Брехт полагает взять подлинный разум? Вот уж вопрос вопросов. Весь опыт жизни говорит, что нет и не может быть попадания в *истину* случайно или за просто так (на халяву). То есть все человеческое существо из-

начально расположено ошибаться и ошибаться, а значит, и страдать. Другое дело, что кого-то страдания ломают, а кого-то лишь научают. Вот в чем разница. Но жизнь без страдания, видимо, совсем не в силах человеческих.

Вернемся к смыслу героического начала. Что оно такое само по себе? С сущностной точки зрения *герой* — это носитель способности к свершению ясных и решительных поступков, основанной на знании правды и доминирующей широко и типично через влияние, сравнимое с божественным, героизм — это свойство носителя способности к...

Теперь подумаем о том, что наша жизнь, непрерывно и противоречиво изменяясь, непременно побуждает нас делать тот или иной выбор. Но для его совершения мы все часто очень нуждаемся во внешней помощи, поддержке. Кто и что может выступить в этой роли? Наш личный опыт, образование? Пожалуй, что да. Но ведь иногда (в сложных ситуациях) нам всем нужны ориентиры или ясные образцы для подражания. Кто и почему ими становится? Конечно, люди незаурядные, выдающиеся весьма влияют на нас, но более всех других на нас производят неотразимое впечатление именно герои. Почему? Да потому, что их поступки несут в себе признаки какой-то небывалой (нездешней) жизни, от которой, как говорится, аж дух захватывает. Впрочем, ныне найдутся и те, кто заявит, что совсем не нуждается в образцах, так как это заимствование ума-

ляет их собственное достоинство. Что ж, вероятно, у них есть основания так считать. С другой стороны, всем понятно изначально, что далеко не все могут быть героями. То есть сам факт их существования сообщает всем нам о нашем *глубинном неравенстве*. Иначе говоря, поведение простых смертных в кризисных ситуациях много отличается в худшую сторону от поведения героев. В этот момент обыкновенные люди понимают, например, что точно относятся к робкому десятку. Такое знание, конечно, задевает и ранит заметно. Оказавшись в таком положении, многие из нас начинают инстинктивно защищаться, в частности, всячески умаляют героизм конкретного героя, оправдывают самих себя всевозможными обстоятельствами, в том числе и непредвиденными. А некоторые и вовсе начинают утверждать, что героический поступок просто вреден. Почему? Да потому, что он удерживает сложившееся неблагоприятное положение вещей и далее. Скажем, отсутствие заранее установленного разумного порядка и приводит к тому, что кто-то начинает спасать кого-то, жертвуя при этом собою. Поэтому-то совсем и не следует восхищаться героями, которые своими фактически безрассудными, а то и авантюрными действиями лишь сохраняют беспечные и неумные порядки наперед. Видимо, как раз подобное рассуждение и толкнуло Б. Брехта к рассматриваемому нами парадоксальному заявлению. И потом, ведь обидно же, что ты не герой и не можешь им почему-то стать. Кроме того, цинично настроенные лица и вообще заявят, что в герои идут, очевидно, неумные граждане, так как надо жить и дорожить только своей жизнью, а за непрощенные заботы о чужой можно ведь и в морду схлопотать. С другой стороны, мы по факту жизни заметно разнимся между собой. В результате одни из нас вершат судьбы остальных, которые фактически (против своей

воли, например, из-за личной трусости) делегируют им соответствующее право, понимая также печальную неизбежность этого обстоятельства. И еще один немаловажный аспект рассматриваемой темы. Мы по большей своей части стремимся к самоуважению, тогда как последнее стремление возможно лишь при отчетливом наличии достоинства, которое в свою очередь уже требует от нас известного мужества, стойкости и мудрости. То есть опять же для подлинного достоинства мы должны обладать качествами, совсем близкими к героическим. Но тогда выходит ровно то, что герои все-таки нам просто необходимы как своего рода эталоны человеческого достоинства и нестыдного поведения.

В результате налицо противоречие. Если в контексте героя нам становится как-то неловко, то в случае его отсутствия мы порой совсем теряем какую-либо нужду следить за собою. А зачем, ведь рядом только такие же, как и мы слабые, а значит, и грешные? Кстати, герой — это своего рода светский инвариант святого (праведника), не так ли? Вот почему мы печалимся и досадуем в душе на самих себя, что не способны на героическое действие, пасуем ради сохранения либо всевозможных удобств и материальных благ, либо самой собственной совсем не героической жизни. Поэтому-то и выходит, что нам очень полезны и насущны герои и горька участь той страны, которая не нуждается в них, так как у нее в связи с этим нет и не может быть сколько-нибудь стоящего будущего. Иначе говоря, нельзя гордиться тем обстоятельством, что, например, нашей стране совсем не нужны герои. Это, объективно говоря, будет означать только то, что она умирает, так как в целом уже фактически прекратила собственное развитие. Впрочем, следует еще сказать о подоплеке всякого героя — о его мироощущении, вызывающем к жизни героическое событие. Всякого героя отличает от про-

стого смертного смелость в рискованном для жизни начинании. Но это не авантюризм, знакомый многим. Героизм зиждется на твердом убеждении, что *общественное благо как благо непременно праведное всегда выше личного*. Кто-то возразит, что тогда такое верование может привести его носителя к полному отрицанию самого себя. Да, внешне оно выглядит порой именно так. Только у героя еще имеется отличительная черта, которая сразу и навечно делает его победителем и в личном измерении. Иначе говоря, принося себя в жертву во имя *общественного блага*, герой сразу получает признание самого себя во всех смыслах. То есть даже более или менее честное атеистическое мировосприятие не сможет не оценить масштаба героического деяния, которое становится одновременно и будущим свойством всякого разумного общества, вокруг которого в дальнейшем и будут формироваться и удерживаться многие грядущие поколения. А для религиоз-

ного сознания тем паче совсем даже не возникает каких-либо сомнений насчет благих перспектив души героя по причине его очевидной угодности Богу. Другое дело: как и чем живет будущий герой до момента обнаружения в себе самом названного героизма? Если он в собственных представлениях совсем даже не уверен в необходимости ежеминутной готовности к отстаиванию в приоритетном порядке общественного блага перед личным, тогда его героизм так и останется лишь благим пожеланием. Другими словами, герой начинается лишь в случае твердой веры в необходимость безоговорочного спасения всякого человека от всех форм гибели. В противном случае для известного героического поступка никак не достанет сил, а значит, и сам акт героизма не состоится вовсе.

Завершая заметку о героизме, подчеркнем ту сложившуюся истину, что *без героя и героизма подлинная человеческая жизнь в принципе невозможна*.

Е. С. Роговер

ПОВЕСТЬ А. И. КУПРИНА «ПОЕДИНОК»

(к 140-летию со дня рождения писателя)

Начав работу над этой повестью еще в 1902 г., Куприн длительное время напряженно трудился над ней, испытывал значительное воздействие Горького, который поддерживал писателя, вдохнув в него уверенность в своих силах. Не случайно повесть была опубликована в горьковском сборнике «Знание» за 1904 год и посвящена своему вдохновителю.

Вышедшая в дни цусимской катастрофы, она многое объясняла, сразу же став значительным общественным и литературным событием того времени. Художественный анализ положения дел в армии, реалистическое раскрытие облика реакционной военщины становились под пером Куприна решительным осуждением ведущих институтов, уклада и этических норм антинародного государства. Прежде всего, автор повести последовательно отвергает право военной касты управлять и жить так, как она десятилетиями привыкла это делать. Поэтому особое значение в произведении приобрели многочисленные образы армейских офицеров всех рангов, которым Куприн дает выразительные характеристики и которых стремится запечатлеть в делах и поступках.

Перед нами предстают командир полка тучный Шульгович, который при обходе взводов «ругался матерными словами с особенной молодецкой виртуозностью», рассыпая в адрес солдат слова «дурак», «собачья душа», «сукин сын», «каналья», тыкая их пальцами в губы и приводя в ужас и оцепенение; подполковник Рафаль-

ский, кажущийся добрейшей душой и чудачком, но способный выбить горнисту зубы. Далее — подполковник Лех, вечно пьяный, «как змий», ведущий в таком состоянии разговоры об офицерской чести; капитан Стельковский, развратник, совращающий «неопытных крестьянских девчонок»; сгорбленный и обрюзгший ротный командир Слива, не прочитавший за свою жизнь ни одной книги или газеты, бывший солдат «жестоко, до крови, до того, что провинившийся падал с ног под его ударами». Перед читателями появляются капитан Осадчий, поборник «свирепой, беспощадной войны», «дуэлей с тяжелым исходом» и палочной дисциплины; штабс-капитан Павловский, ведущий жизнь скряги и ростовщика, дающий товарищам деньги «под зверские проценты»; еще один штабс-капитан, Диц, заядлый картежник и жонглер, от которого всегда ожидали «какой-нибудь грязной и громкой выходки»; поручик Бек-Агамалов, похожий на хищную злоую птицу, готовый с дико сверкающими глазами рубить шашкой все и вся. Предстают поручик Арчаковский, «личность довольно темная», картежный шулер; франтоватый поручик Бобетинский, знаток танцев, лошадей и женщин, говорящий почему-то ломаным, вычурным языком; батальонный адъютант Олизар, «молодой старик» с «хлыщеватым лицом»; беспробудный пьяница поручик Веткин, использующий в качестве мишени бюст Пушкина, заявляющий, что «в нашем деле думать не полагается»; подпрапорщик Лбов, издевающийся

над старым музыкантом под общий хохот товарищей, собравшихся в публичном доме.

Куприн нередко пытается увидеть и в этих людях что-то светлое, человеческое, запрятанное глубоко под привычной для всех оболочкой. Этим самым оттеняется то грубое, жестокое, злобное, что лежит у них на поверхности и стало повседневной нормой их поведения. В то же время писатель показывает, что эти свойства людей обусловлены их средой, обстоятельствами их тупой армейской жизни, которая ломает их, убивает духовно, разрушает их личности и крушит их судьбы. Возможности и способности, подчас богатые и очевидные, остаются нереализованными, планы и цели — неосуществленными, жизни — трагически несостоявшимися. Куприн протестует против духовного рабства этих людей, против нивелирования человеческой личности, размышляет о возможности ее «воскрешения».

Куприн предстает в повести как мастер *портретных* и *речевых характеристик*. Вот уже упомянутый Лех. Как пишет автор, «старый и пьяный подполковник Лех, держа в одной руке рюмку, а кистью другой руки делая слабые движения в воздухе», стоит в офицерском собрании и произносит свой монолог заплетающимся языком. «От него все небрежно отворачивались, увлеченные спором, и он скорбно помахивал отяжелевшей головой». Мелкими шагами он подходит к даме, «сложив руки крестом и проливая себе на грудь из рюмки водку».

Вот лаконичная зарисовка командира первой роты: «Осадчий грозно зарычал и наклонил вниз голову, точно бык, готовый нанести удар». Он произносит такую пышную реплику: «Я пью один за радость прежних войн, за веселую и кровавую жестокость!»

По-иному, но столь же лаконично охарактеризован другой офицер: «Липский, сорокалетний штабс-капитан, румяный и толстый, который, не смотря на свои годы, держал себя в офицерском обществе шутлом и по чему-то усвоил себе странный и смеш-

ной тон избалованного, но любимого всеми комичного мальчугана».

Присмотримся к облику очередного офицера: «...штабс-капитан Лещенко, унылый человек сорока пяти лет, способный одним своим видом навести тоску; все у него в лице и фигуре висело вниз с видом самой безнадежной меланхолии: висел вниз, точно стручок перца, длинный, мясистый, красный и дряблый нос; свисали до подбородка двумя тонкими бурыми нитками усы; брови спускались от переносья вниз к вискам, придавая его глазам вечно плаксивое выражение; даже старенький сюртук болтался на его покатых плечах и впалой груди, как на вешалке».

Как видим, эти лапидарные портреты включают в себя и зарисовку мимики, жестов, походки, и костюмные детали, и проникновение в суть характера, и примечательные воспроизведения манеры речи.

Важное место в повести отводится и солдатам. С душевной болью Куприн воспроизводит оторванность от них офицеров, нередко противопоставленность им, равнодушие к солдатским судьбам. Читатель видит, как роты часами простаивают на плацу, как люди изнурены шагистикой; слышит непрерывные звуки пощечин и трескотню ударов. Не случайно глава 18 открывается сообщением о том, что в роте капитана Осадчего повесился молодой солдат. Готов к самоубийству и замордованный рядовой Хлебников, образ которого воспроизведен в повести с особой выпуклостью. Неимоверно тяжело проходит служба у всех этих Карташовых, Веденеевых, Гайнанов...

Против всечасного унижения этих сотен Хлебниковых, кормильцев и защитников России, против царящей пошлости и грязи отношений, против устоев и сложившихся армейских порядков протестует центральный герой повести Ромашов. Его образ дан в динамическом развитии. Определенное время пребывая в кругу книжных представлений, в мире выпрессенной роман-

тической героики, честолюбивых стремлений и неведения истинного положения дел, он постепенно прозревает, и открытие окружающего мира становится решающим в его судьбе.

Рисуя Ромашова, Куприн показывает, как этот молодой мечтатель, прибывший в полк с жадной деятельностью, содержательной жизни, глубоко чувствующий, но совсем не отвечающий представлениям о героическом, начинает ощущать, как окружающее «болото» постепенно затягивает его. «Я падаю, падаю, падаю, — думает он. — Что за жизнь! Что-то тесное, серое, грязное... Мы все позабыли, что есть другая жизнь. Где-то, я не знаю где, живут совсем, совсем другие люди, и жизнь у них такая полная, такая радостная, такая настоящая».

Куприн тонко прослеживает возникновение и созревание любовного чувства юноши к Шурочке и дает читателю понять, что в этой романтической истории, по существу, герои не охвачены взаимной любовью. Здесь сталкиваются два совсем разных характера. Герой окрылен мечтой и светлой надеждой, а героиня — Шурочка одержима упорным стремлением упрочить свое и мужа положение в окружающей их среде.

Пережив душевный кризис, Ромашов выходит на своеобразный поединок с враждебным миром. А та схватка с незадачливым Николаевым, та дуэль, которой завершается повесть, становится частным выражением его непримиримого конфликта с действительностью. Однако простой, очень обыкновенный, «естественный» Ромашов, выбивающийся из своей среды с трагической неизбежностью, оказывается слишком слабым и одиноким, чтобы одержать верх. Преданный своей возлюбленной, по-своему очаровательной, жизнелюбивой, но эгоистически расчетливой Шурочке, Ромашов погибает. Дуэль воспринимается читателем как неизбежное следствие противостояния героя ненавистной ему системе, гнилой, расшатанной, но еще слишком устойчивой.

Строго продумана и мастерски организована *композиция* повести. Через все произведение, начиная с его заголовка, проходит ведущий его лейтмотив поединка. Уже в четвертой главе важное место занимает тема дуэли, отраженной в газете. Через три главы вновь звучит характеризующий лейтмотив, получая развитие в разговорах офицеров о дуэли. В серединной, одиннадцатой главе тема поединка обретает свой широкий смысл, ибо касается не столкновения двух противников, а неизбежного противостояния центрального героя с гарнизонным офицерством, царящей пошлостью и господствующими порядками в армии. В девятнадцатой и двадцатой главах тема вновь получает суженное и конкретное звучание, находя выражение сначала в ссоре и драке героя с Николаевым, а затем в приговоре к поединку с ним. Наконец, в заключительной главе поединок получает реальное воплощение и приводит к драматической развязке.

Параллельно в повести — от главы к главе — *варируется мотив* заключения, плена, обособления. Уже в самом начале произведения сообщается о домашнем аресте Ромашова. В третьей и шестой главах снова подчеркивается мотив изолированности, опять говорится о ромашовском домашнем аресте. В последующих главах пространство героя вроде бы расширяется, его везут к командиру полка, он посещает офицерское собрание, но пьянство в день бала снова ведет к отчуждению и изоляции, усугубленным еще опозданием Ромашова на утреннее занятие. В девятнадцатой главе делается попытка запереть Ромашова в «мертвецкой». Впрочем, отчуждение героя уже давно приобрело более широкий смысл, словесно обозначенный командиром полка: «Вы один, а общество офицеров — это целая семья. Значит, всегда можно и того <...> за хвост и из компании вон». Финальный поединок и гибель Ромашова становятся таким «выдергиванием за хвост» из окружающей среды и освобождением от жизни-тюрьмы.

В повести Куприна военные и бытовые сцены с налаженной чередой *ритмично* сменяют друг друга, а на этом фоне происходит становление характера Ромашова, углубление его любовного «опьянения» и его духовное прозрение. Эта динамика становится одним из свойств композиции «Поединка».

Важную композиционную роль в повести выполняет фигура Василия Назанского. Будучи альтер-эго автора, его вторым «Я», этот персонаж и дополняет образ Ромашова, и комментирует его выношенные мысли, и в ряде моментов сталкивается с ним, и высказывает существенные для Куприна суждения, увлекающие и поправляющие центрального героя. Можно видеть в этом соседстве важный композиционный расчет писателя.

Размышляя о художественных традициях, унаследованных Куприным, мы устанавливаем тесную связь «Поединка», прежде всего, с толстовским романом «Воскресение», в котором с обнажающей правдивостью вскрыты нравы господствующего в обществе сословия и показано оздоравливающее освобождение личности от прежней усвоенной ее порочности. Продолжил «Поединок» и чеховскую традицию: особенно заметна преемственность между «Дуэлью» А. П. Чехова и купринской повестью. Слышится определенная перекличка последней с военной темой у В. Гаршина, в частности, с острым авторским ощущением тягот, выпавших на долю людей из народа. Очевидна преемственность и с Горьким, неоднократно изображавшим людей, идущих на непримиримый конфликт с господствующей ложью человеческих отношений. Не случайно Куприн писал Горькому по случаю завершения «Поединка»: «Все смелое и буйное в моей повести принадлежит Вам».

Великолепен язык произведения, который Горький считал образцом для молодых писателей.

Появление в печати купринской повести явилось значительным фактом общественной и литературной жизни

в России. Черносотенцы подняли дикий шум по поводу злостной тенденциозности произведения и сборников «Знания» с их демократической направленностью. Реакционная военщина ополчилась на Куприна за проявление в повести «подпольной пропаганды, в которой простой народ натравливается на войско, солдаты — на офицеров, а эти последние на правительство». С другой стороны, обличительная направленность «Поединка» вызвала бурю негодования против властей, допустивших явления деморализации в армии, что стало одной из причин поражения в Русско-японской войне. Правительство было вынуждено даже назначить особую комиссию по расследованию положения в армии, и в итоге были осуществлены некоторые военные реформы.

Демократическая критика с восторгом встретила купринскую повесть. Журнал «Образование» отметил, что суть «Поединка» не в бытовых картинах, а «в том соре», который накопился с годами в жизни общества, остановил его развитие и должен быть выброшен прочь. «Журнал для всех», приветствуя Куприна, писал о том, что он «напоминает офицерам о громадной ответственности их перед народом и историей», «и в этом напоминании — громадная и неоспоримая заслуга Куприна». Газета «Наша жизнь» высоко оценила реализм повести и заметила, что иная армия невозможна «в бюрократическом государстве, где связана воля и мысль народа». Включилась в обсуждение купринского произведения и «Русская мысль», журнал либерального направления, отметивший силу аналитического изображения Куприна. Его удары направлены... «не в Агамалова и Осадчего, а бьют и казнят... систему, общественную машину, общественный дух и рабский уклад всей жизни».

Действительно, повесть глубоко объясняла причины поражения царской России в войне с Японией. Пороки армейской среды писатель тесно связывал с изъянами тогдашнего об-

ПИСАТЕЛЬ

XXI
ВЕК

щества, и его обличение было продиктовано стремлением устранить и эти изъяны, и эти обусловленные ими пороки. Большая группа петербургских офицеров прислала Куприну свое горячее приветствие.

Прислушаемся к отдельным оценкам «Поединка» писателями и деятелями российской культуры того времени. Лев Толстой, уже давно обративший внимание на творчество «офицера Куприна», высоко ставил его литературную манеру и его глубокие знания жизни. «Куприн, — говорил автор “Воскресения”, — не тужится и ничего не сочиняет, а, как бывало Чехов, возьмет перед вашими глазами уголок жизни и нарисует такую картину, что вы засмотрите и задумаетесь». Толстой ощущал собственные традиции, продолженные Куприным, особенно в психологическом анализе борьбы различных чувств героев «Поединка». Он приветствовал реализм картин повести. Когда ему читали «Поединок», только что напечатанный в сборнике «Знание», он с напряженным вниманием слушал текст. При этом он говорил: «Мне интересно описание военной жизни, он (Куприн) хорошо ее знает, сам военный...» Л. Н. Толстой похвалил выговор полковника пьянице капитану, обремененному семьей, сначала начальнически строгий, а потом человеческий, мягкий... «Полковой командир — прекрасный положительный тип». В то же время Толстой дал резкую отповедь индивидуализму Назанского и осуждению им морали сострадания. Его рассуждение на эту тему писатель назвал «жалким», увидев в нем отголосок мыслей Ницше.

М. Горький называл новое произведение Куприна «великолепной повестью», которая во многом содействовала росту политической созна-

тельности русской армии, разбуженной «тяжкой ценой войны». В творчестве же автора эта повесть, по мнению Горького, была важным этапом в становлении его мастерства.

И. Е. Репин, познакомившись с «Поединком», писал автору в 1905 году: «С громадным талантом, смыслом и знанием среды — кровью сердца написана вещь». Выдающийся критик В. В. Стасов считал купринскую повесть «жемчужинкой», «поэмой о русском офицерстве». Об этом он писал издателю К. П. Пятницкому в том же году. Значительные литературные достоинства находили в «Поединке» такие видные критики, как Д. Овсянко-Куликовский, А. Скабичевский, Ф. Батюшков. А. В. Луначарский тоже высоко оценивал повесть, выделив в ней живой и весьма характерный женский тип коварной Шурочки.

«Поединок» оказал литературное воздействие на русскую прозу, посвященную войне и армии. Можно в этой связи назвать «Бабаева» С. Сергеева-Ценского, «Отступление» Г. Эрастова, повесть «На куличках» Е. Замятина.

Повесть Куприна, переизданная шесть раз подряд, принесла автору не только всероссийскую, но и мировую славу. Ее перевели на немецкий, французский, польский, итальянский, шведский, латышский языки.

В 1906 году Литературно-артистическое общество в Петербурге осуществило постановку «Поединка» (инсценировка А. Шевлюкова), а затем ее поставили в России свыше тридцати провинциальных театров. Сегодня повесть А. Куприна изучается в школе, и Программа под ред. В. Я. Коровиной предлагает учителям раскрыть гуманистическую позицию автора, проблему самопознания личности в повести и традиции в ней Л. Н. Толстого.

А. Н. Миронов

«ПОЕДИНОК» А. И. КУПРИНА КАК НЕСЧАСТНАЯ ЖЕРТВА ВОЖДЕЛЕНИЮ ИЛИ КАК ВЛОЖЕННАЯ САМА В СЕБЯ ПЕЧАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Его красивое лицо было подернуто облаком скорби.

А. И. Куприн. Поединок

Повесть «Поединок» А. И. Куприна рассказывает о судьбе некоего подпоручика Ромашова, который проходил военную службу в российской царской армии в еврейском местечке вблизи прусской границы. Что привлекает в ней внимание читателя? Прежде всего факты унылого и скучного существования героя, который в самом начале своей уже взрослой жизни оказывается волею автора в положении человека, не имеющего никаких надежд на интересную и счастливую жизнь. Причем последнюю Ромашов рисует сам себе совершенно книжно, а значит, и фальшиво: «Из вагонов, сияющих насквозь веселыми праздничными огнями, выходили красивые, нарядные и выхоленные дамы в удивительных шляпках, в необыкновенно изящных костюмах, выходили штатские господа, прекрасно одетые, беззаботно самоуверенные, с громкими барскими голосами, с французским и немецким языком, с свободными жестами, с ленивым смехом... он (речь о Ромашове. — А. М.) видел в них кусочек какого-то недоступного, изысканного, великолепного мира, где жизнь — вечный праздник и торжество...» Что влечет героя к себе главным образом? Внешнее и дорогостоящее убранство человеческой жизни, ее блеск и лоск (по-современному — гламур). Именно последнее в его глазах и есть смысл

всякой счастливой жизни. Что это, природная глупость героя? Или это результат его предшествующего и неудачного развития? Мог ли реальный подпоручик царской армии уподобляться образу подпоручика Ромашова, возникающему в самом начале повести? Вероятно, что прочтение целиком всего рассматриваемого произведения и даст ответ на поставленные выше вопросы. Что ищет герой изначально? Таинственную, светозарную жизнь, которая чудится ему за яркой вечерней зарей: «Точно там, далеко-далеко за облаками и за горизонтом, пылал под невидимым отсюда солнцем чудесный, ослепительно-прекрасный город, скрытый от глаз тучами, проникнутыми внутренним огнем. Там сверкали нестерпимым блеском мостовые из золотых плиток, возвышались причудливые купола и башни с пурпурными крышами, сверкали брильянты в окнах, трепетали в воздухе яркие разноцветные флаги. И чудилось, что в этом далеком и сказочном городе живут радостные, ликующие люди, вся жизнь которых похожа на сладкую музыку, у которых даже задумчивость, даже грусть — очаровательно нежны и прекрасны. Ходят они по сияющим площадям, по тенистым садам, между цветами и фонтанами, ходят, богоподобные, светлые, полные неопишуемой радости, не знающие преград в счастии

и желаниях, не омраченные ни скорбью, ни стыдом, ни заботой...» С другой стороны, Ромашов мечтает о блестящей и даже героической военной карьере, мечтает о личной славе, грезит историческими подвигами. А кроме того, он как молодой еще человек стремится «к сладостному обаянию женской красоты, ласки и кокетства». При этом Ромашов еще подобен художнику; в частности, описывая Александру Петровну Николаеву (Шурочку), он находит такие слова: «О! Ты прекрасна! Милая! Вот я сижу и гляжу на тебя — какое счастье! Слушай же: я расскажу тебе, как ты красива. Слушай. У тебя бледное и смуглое лицо. Страстное лицо. И на нем красные, горящие губы — как они должны целовать! — и глаза, окруженные желтоватой тенью... Когда ты смотришь прямо, то белки твоих глаз чуть-чуть голубые, а в больших зрачках мутная, глубокая синева. Ты не брюнетка, но в тебе есть что-то цыганское. Но зато твои волосы так чисты и тонки и сходятся сзади в узел с таким аккуратным, наивным и деловитым выражением, что хочется тихонько потрогать их пальцами. Ты маленькая, ты легкая, я бы поднял тебя на руки, как ребенка. Но ты гибкая и сильная, у тебя грудь, как у девушки, ты вся — порывистая, подвижная. На левом ухе, внизу, у тебя маленькая родинка, точно след от сережки, — это прелестно!..» Как мы видим, герой повести буквально соткан из всевозможных романтических смыслов, вероятно, вошедших в него из литературы и составивших само его существо. С другой стороны, упомянутая героиня в самом начале повести выступает энергично за дуэльную практику в офицерской среде, дабы русский офицер стал, наконец, образцом корректности. Что смущает в словах Шурочки? А то, что в них сквозят пошлые смыслы известной литературной традиции. Почему? Да потому, что вполне ложное представление о чести и достоинстве человека и во-

обще о смысле человеческой жизни и составляет ее в своей сути ветхозаветную основу, в которой оскорбление не подлежит прощению, а всякого врага следует, так или иначе, уничтожать. Кроме того, из слов героини опять же усматривается ее банальный литературный идеал о роскошной столичной жизни, к которой она истово стремится и в которой она видит себя светской львицей. Таким образом, удивляет явное несоответствие тонкого ума героя и примитивного содержания его возлюбленной. Но кто еще находится рядом с героем повести? Внимание привлекает фигура Назанского, однополчанина Ромашова, о котором Шурочка говорит странное: «Я бы этих людей стреляла, как бешеных собак. Такие офицеры — позор для полка, мерзость!» Впрочем, кроме пристрастия к водке, Назанскому, как говорится, на вид и поставить более нечего. К чему ж вдруг такая жуткая брань в его адрес? Во время визита героя повести к Назанскому неожиданно выясняется его острая неудовлетворенность собственной жизнью, в которой отчетливо присутствует ненависть к военной службе. Таким образом, сослуживец Ромашова находится в крайнем положении, из которого у него нет ясного выхода. Вместе с тем под воздействием алкоголя его посещают вполне честные и даже возвышенные мысли: «И вот я делаю вещи, к которым у меня совершенно не лежит душа, исполняю ради животного страха жизни приказания, которые мне кажутся порой жестокими, а порой бессмысленными... Я не смею задуматься, — не говорю о том, чтобы рассуждать вслух, — о любви, о красоте, о моих отношениях к человечеству, о природе, о равенстве и счастье людей, о поэзии, о боге». Странная тирада, ведь в самом деле никто не запрещает Назанскому делать это даже вслух. А он почему-то говорит обратное, что ему якобы чинят препятствия. В лице Назанского мы видим в целом нереальное или полно-

стью выдуманное литературой лицо. Почему? А потому, что подлинное армейское пьянство в России вовсе не от отсутствия духовной (творческой) работы проистекает, оно проистекает от характера самой этой службы. Но что в ней не так? Военная служба в России *в мирное время* исторически всегда превращалась в отчаянную рутину и в грубый произвол командования, которое, с одной стороны, служило и служит в первую очередь *личным прихотям*, а также всячески *стремится угождать* вышестоящему начальству, с другой — непременно угнетает дух своих подчиненных. Поэтому-то непреходящее армейское пьянство в России *в мирное время* есть своего рода расплата за природную неспособность и нежелание русских военных «служить не за страх, а за совесть». А кроме этого, мысли того же Назанского уже о женщинах и вовсе удивляют своей ненужной и фальшивой интонацией: «Я думаю часто о нежных, чистых, изящных женщинах, об их светлых слезах и прелестных улыбках, думаю о молодых, целомудренных матерях, о любовницах, идущих ради любви на смерть, о прекрасных, невинных и гордых девушках с белоснежной душой, знающих все и ничего не боящихся. Таких женщин нет. Впрочем, я не прав. Наверно, Ромашов, такие женщины есть, но мы с вами их никогда не увидим. Вы еще, может быть, увидите, но я — нет». С одной стороны, Назанский вроде бы осознает нереальность собственных мечтаний, с другой — зачем-то пытается уверять собеседника в обратном. Но ведь «невинных и гордых» женщин «с белоснежной душой» даже теоретически быть не может, ведь тому препятствием как раз и станет упомянутая выше гордость! Тогда к чему подобные рассуждения? Для придания героям повести черт чего-то возвышенного? Но в результате в наличии одно лишь сожаление и печаль уже к самому автору повести, который в погоне «за слезой» своего

читателя впадает во вполне себе негодно-обманное дело.

В частности, реагируя на речь Назанского о женщинах, А. И. Куприн пишет: «Никогда еще лицо Назанского, даже в его лучшие, трезвые минуты, не казалось Ромашову таким красивым и интересным». В результате умиление от умиления, но и только. Вот объективный итог всего авторского усилия, посвященного выписыванию образа приятеля Ромашова — Назанского. А что касается женских лиц, то лишь кроткий и смиренный лик мог бы заместить собою литературные глупости автора повести, излитые им посредством речей Назанского. Впрочем, всякая женщина, как и мужчина, имеет слабости, а значит, их *обожение* станет непременно «себе дороже» всякому человеку. С другой стороны, кто-то, возможно, возразит, что без этого обожения и само счастье любви человеку недоступно будет! Да, если говорить о «прелестной» любви, то ее в таком случае точно не будет. Но есть ли в ней действительная необходимость? Вряд ли. Почему? А потому, что вместо нее, лукавой, у человека, может быть впервые, появляется шанс обрести иную — не измышленную или непреходящую любовь, которая выражает себя искренно, но не выпренно, которая ведет к Богу и правде, а не к выпячиванию самости и к истовому поклонению ей одной. Поэтому-то, рассуждая о чувстве любви, надо отдавать себе строгий и ясный отчет. Иначе говоря, надо понимать, что *любовь — это непростой труд для всякой несовершенной души*. В нем она уже находит и упоение, и свое новое, возвышающее ее саму человеческое качество. А любовь как страсть — это и не любовь вовсе, это лишь ее манкий (соблазнительный) суррогат. Впрочем, ниже Назанский выражает о любви уже нечто более верное: «Она удел избранных... любовь имеет свои вершины, доступные лишь единицам из миллионов». С другой стороны, он же еще

ниже говорит снова нечто болезненное: «Когда я был помоложе, во мне жила одна греза: влюбиться в недостижимую, необыкновенную женщину, такую, знаете ли, с которой у меня никогда и ничего не может быть общего. Влюбиться и всю жизнь, все мысли посвятить ей... о, какое безумное блаженство! — раз в жизни прикоснуться к ее платью». Вот такое обожение человека и есть самый большой грех всей романической литературы, которая из самых «лучших» чувств настойчиво встраивает в умы читателей на место Бога названного «прекрасного» человека — женщину. И тут же не менее примечательное высказывание Назанского: «Она (речь о любимой женщине. — А. М.) ничего не знает о тебе, никогда не услышит о тебе, глаза ее скользят по тебе, не видя, но ты тут, подле, всегда обожающий, всегда готовый отдать за нее — нет, зачем за нее — за ее каприз, за ее мужа, за любовника, за ее любимую собачонку — отдать и жизнь, и честь, и все, что только возможно отдать! Ромашов, таких радостей не знают красавцы и победители». Вот как, оказывается цель всего описанного выше стремления мужчины к женщине — это стяжание им для самого себя *небывалой радости*. Другими словами, если хочешь острого и одновременно приятного тебе чувства, тогда стань в позицию тайного обожателя какой-либо недостижимой женщины. И что характерно, урок вполне усвоен, так как Ромашов в ответ на слова Назанского восклицает: «О, как это верно! Как хорошо все, что вы говорите!» И тут вдруг выясняется причина странной ненависти Шурочки к Назанскому. В частности, в ее письме, адресованному приятелю главного героя повести, мы читаем такое: «Я любила вас и до сих пор еще люблю, и знаю, что мне не скоро и нелегко будет уйти от этого чувства... но я ненавижу чувства жалости и постоянно унижительного всепрощения и не хочу, чтобы вы их во

мне возбуждали. Я не хочу, чтобы вы питались милостыней сострадания и собачьей преданности. А другим вы быть не можете, несмотря на ваш ум и прекрасную душу». Как мы видим, Назанский ранее находился в любовных отношениях с Шурочкой, но все равно сохранил при этом свое пристрастие к выпивке. Странно сие. Иначе говоря, Назанский пьянствует, с одной стороны, от нелюбви к себе любимой им женщины, а с другой — и от ее же любви к себе тоже. Как говорится, у кого-то явно плохо с головой: то ли у героя повести, то ли у ее автора. Теперь очередь сентенции Ромашова о собственном Я: «Эти призраки (речь о сослуживцах Ромашова. — А. М.), которые умрут с моим Я, заставляли меня делать сотни ненужных мне и неприятных вещей и за это оскорбляли и унижали Меня. Меня!!! Почему же мое Я подчинялось призракам?» Принимая других людей за призраков, герой повести незаметно для самого себя приравнял себя к ним же. Почему? А потому, что действия в отношении него других людей возможны лишь в случае их подобия ему самому. Снова странное: то ли герой А. И. Куприна очень глуп, то ли автор повести опять путается? Но вернемся к Ромашову, который после объяснения на балу со своей уже отставной любовницей Раисой Петерсон размышляет такое: «Я падаю, я падаю... Что за жизнь! Что-то тесное, серое и грязное... Эта развратная и ненужная связь, пьянство, тоска, убийственное однообразие службы, и хоть бы одно живое слово, хоть бы один момент чистой радости. Книги, музыка, наука — где все это?» Вот уж воистину настоящий образец печальной литературы. Почему? Да потому, что падающий в самом деле человек так никогда не мыслит, а не падающий — тем более. Но как же мыслит падающий? А так, что само его нравственное падение им таковым ему же никак не представляется, так как у него, во-первых, есть удовольствие от

него, а во-вторых, есть и соответствующее оправдание. Но А. И. Куприн вновь упорно рисует созданный самой печальной литературой образ чайний своего героя: «Мы все... все позабыли, что есть другая жизнь. Где-то, я не знаю где, живут совсем, совсем другие люди, и жизнь у них такая полная, такая радостная, такая настоящая. Где-то люди борются, страдают, любят широко и сильно...» Опять какой-то мучительный и пустой надрыв, опять фальшивая или надуманная мечта. Иначе говоря, не может Ромашов хотеть того, чего и сам не ведает. Подобное хотенье нужно лишь автору повести, дабы *соблазнить* читателя и внушить ему симпатию к своему герою. Другое дело, когда Ромашов, негодую на известный ему характер военной службы, признается сам себе, «что если так думать, то уж лучше совсем не служить». Таким образом, выясняется, что герой повести вполне осознает свою острую нелюбовь к военному делу, которому он посвятил девять лет своей жизни. Кроме этого, Ромашов еще определяет военное дело дополнительно «мировым самообманом, чем-то похожим на нелепый бред». Последнее обстоятельство уже указывает на нечто большее, чем на простое недовольство героя своей участью. Оказывается, что он уже протестует против самой организации общественной жизни, против сложившегося характера общественных отношений. Тем самым герой А. И. Куприна, будучи противником принятого социального порядка, становится социально опасным субъектом. Иначе говоря, свою личную неудовлетворенность военной службой Ромашов распространяет и на весь уклад текущей жизни, признает его совсем негодным. Казалось бы, ежели так, то дорога в революционеры для героя повести и есть искомый им выход, но нет, вместо этого он зачем-то бросается в любовный омут. Другими словами, снова в причудливом образе Ромашова мы обна-

руживаем что-то литературное или вполне измышленное, не связанное с подлинной жизнью. С другой стороны, поражает его полное неумение тратить деньги, получаемые им по должности. В частности, он «уже третий месяц пишет: “Расчет верен”». Иначе говоря, все получаемое им жалованье уходит полностью в счет погашения наделанных им ранее долгов. В данном случае мы опять обнаруживаем на месте Ромашова иное лицо, иную личность. Другими словами, не может умный, совестливый человек вести себя так, как это указывает А. И. Куприн, а значит, Ромашов получается у него и неумным, и нечестным, и распушенным. Теперь о любовной встрече в ночном лесу героя повести с его возлюбленной Шурочкой, замужней женщиной. Во время состоявшегося чувственного разговора она поведала ему, что он и она являются по некой легенде родными половинками, так как «Мы понимаем друг друга с полунамека, с полуслова, даже без слов, одной душой». Что привлекает прежде всего в последних словах? А то, что так называемое совпадение характерного в двух людях якобы может привести к счастью. Но так ли это на самом деле? Нет ли здесь рокового обмана, ведь каждый человек порой и сам для себя есть проблема? Иначе говоря, всякое характерное начало имеет и свои же ограничения или слабости. Поэтому-то упование на совпадение характерного есть одновременно и упование на удвоение конкретной слабости, а значит, есть увеличение и противоречия, совладать с которым уже будет не всякому человеку по плечу, а значит, литературная формула о разбросанных Богом по свету половинках когда-то целых людей есть лишь сладкая иллюзия, которая на самом деле — горькая насмешка над человеком же. В данном случае А. И. Куприн посредством своих героев вводит читающую публику в большой соблазн принять нечто глупое

и подлое за нечто разумное и даже благородное. Хорошо ли это? Вряд ли. Впрочем, пора перейти к рассмотрению ключевого эпизода повести — к военному смотру и к потрясению главного героя в связи с ним. Пережив страшный позор, Ромашов вдруг перестал выпивать и проводить праздно свое свободное время. Казалось бы, у него появился шанс изменить к лучшему собственную судьбу, даже его тайная любовная связь с Шурочкой после первого объяснения с ее мужем была им почти что приостановлена, но... Зададимся вопросом: а могли подлинный Ромашов удержаться и не впасть опять в разгульную жизнь со всеми ее последствиями? С одной стороны, он по своей природной слабости вполне мог бы вернуться к праздному, бессмысленному бытию, но, с другой — вряд ли. Почему? А потому, что его поступок в публичном доме, когда он сумел с риском для своей жизни остановить пьяного офицера, уже готового было зарубить шашкой женщину, говорит все же о другом. О чем? О том, что он уже был готов нравственно к другой — осмысленной жизни. Поэтому-то его последующее нравственное отступление в конфликте с мужем Шурочки выглядит совсем уж неубедительно.

Теперь «всмотримся» в последний разговор героя повести с Назанским во время вечерней прогулки на лодке в самый канун поединка. Что ему внушает его приятель? С одной стороны, он пытается сообщить Ромашову совершенно разумную мысль об отказе от дуэли, так как в ней для него решительно нет никакого смысла, с другой — уверяет героя повести в том, что со смертью человека для него «совсем ничего не будет, ни темноты, ни пустоты, ни холоду... даже мысли об этом не будет, даже страха не останется!» Как мы видим, вместо призыва к ответственности перед смертью Назанский внушал Ромашову, что кончина снимет с плеч человека абсолютно все.

Но тогда он, вероятно, из лучших побуждений или нечаянно фактически подталкивает героя повести к участию в поединке, в котором он мог бы увидеть для себя как раз лучший исход. И точно, как бы подслушав, Ромашов изрекает: «Да, ничего не будет». Далее Назанский вместе с проклятиями в адрес всей военной службы заявляет еще аналогичное неприятие и в сторону монашества, полагая его почему-то не менее отвратительным и ненавистным, чем военная служба. Что сказать в связи с этим? Да, плоды духовного служения очевидно невелики, скажем, по скромному числу святых угодников, но разве это уже повод для провозглашения анафемы ему самому? Поэтому-то поучения приятеля Ромашова вполне небезопасны и даже явно ядовиты. Ниже наш лукавый философ продолжает перед героем повести свою едкую проповедь, в которой он категорически отрицает христианские добродетели, в частности, такие как кротость, послушание и трепет. Взамен этого Назанский «поет» гимн любви к себе, к своему телу, к своему уму, к бесконечному богатству своих чувств. Кроме этого, он рассказывает о грядущей великой вере в свое *Я*, о том, что жизнь станет веселым, вечным и легким праздником (по-современному — торгово-развлекательным комплексом), во имя которого и стоит, наконец, объединяться для совместного протестного действия. Впрочем, все последнее рассуждение лишь изящно обрамляет уже сказанное до того, а именно: лишь интересы *Я* важны, все остальное — блажь и обман. В результате Ромашов вместо помощи в канун решающего его жизнь события получает вполне *отравленное* наставление, которое, к сожалению, воспринимает с благодарностью и с верою в его справедливость.

Наконец, перед нами последняя сцена настоящей истории, в которой сходятся самым роковым образом все ошибки и заблуждения героя повести

и ее автора. Так, возлюбленная Ромашова в ночной тиши его комнаты заявляет ему следующее: «Я хочу быть всегда прекрасно одетой, красивой, изящной, я хочу поклонения, власти!» Как мы видим, героиня повести является собой полное воплощение теории «господствующего Я», о которой чуть выше говорил Ромашову его «интеллигентный» приятель и даже учитель Назанский и в которую вдруг просто-душно верит несчастный подпоручик. И странное дело, он совсем не осознает, что интересы этого «господствующего Я» Шурочки также враждебны ему, как и любому другому человеку, что его возлюбленная может им пожертвовать во имя этих собственных и абсолютных интересов. А то, что Ромашов наконец-то входит в давно им вожденную интимную близость с Шурочкой, составляет для него лишь отравленный сладкий плод того же «господствующего Я». Но неужели героиня лишь обманывает героя и, отдаваясь ему, только закрепляет задуманное своим телом? В это очень трудно поверить. Но тогда она все же любит его, и они, пускай короткое время, но вполне счастливы. Что ж, возможно, что это и так, а значит, герой повести не зря жил. Поэтому и получается, что герой повести приносит себя в жертву любви к женщине, а значит, его поступок вполне благороден и спасителен для его души. Тем более что сам поступок вполне в русле формулы «сам погибай, а ближнего выручай»! Но разве Ромашов ценой своей гибели кого-то выручает, разве он своим поступком (участием в дуэли) не служит торжеству невежества и лжи? В таком случае он, объективно говоря, приносит себя в жертву лишь «господствующему Я». Иначе говоря, его яркая и горькая в целом участь вызывает собой совершенно парадок-

сальную ситуацию, а именно: самый что ни на есть высокий человеческий порыв истово или вполне самозабвенно служит самому что ни на есть низменному, самому богопротивному — человеческой гордыне. Возможно ли такое в подлинной жизни? Вряд ли.

Закljučая настоящий очерк о повести А. И. Куприна «Поединок», вероятно, следует заметить, что в ней вполне искусно показана горькая судьба *придуманного* героя, сформированного целиком *придуманной* же ранее литературой. Почему так? А потому, что «мутные» литературные идеалы не могут формировать в реальности героя, подобного Ромашову. Другими словами, герой повести содержит в себе одновременно совсем несовместимые черты, а именно: он, с одной стороны, желает себе странным образом вместо подлинной жизни «вечного праздника и торжества», с другой — он выступает как умный и совестливый человек, который отчетливо понимает уродство и неуместность окружающей его жизни. Другое дело, что Ромашов совсем не ищет причин этого нестроения. Даже складывается впечатление, что они ему уже известны, чего на самом деле и нет вовсе. Кроме того, поражает тонкая организация его души, ее красивые, возвышенные и одновременно мужественные порывы. В результате читатель просто «теряет» самого героя повести и не узнает его *подлинного* лица. Поэтому-то сочувствие названному выше «склеенному» персонажу, как говорится, выйдет всякому читателю «себе дороже», а значит, настоящая повесть есть сама по себе лишь своего рода несчастная жертва творческому вождению автора, которое, к сожалению, и образует названное в заголовке очерка *печальное литературное наследие*.

Е. С. Роговер

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

(литературный портрет необыкновенного современника)

Все, кто знал В. Высоцкого, говорят о нем как о личности глубоко своеобразной, яркой, незаурядной.

Окончив в 1955 году московскую среднюю школу, юноша поступил в школу-студию МХАТа, и с той поры его жизнь была тесно связана с театром. Высоцкий на сцене — это отдельная большая тема, заслуживающая специального разговора.

Сначала он играл в Театре им. А. С. Пушкина на Тверском бульваре, потом — в Московском театре миниатюр. А. Эфрос вспоминал замечательно красивую фигуру Высоцкого, ее упругость, пружинистость, талантливость молодого артиста, которая сказала уже в ту пору. В 1964 году состоялось зачисление Высоцкого в труппу Театра драмы и комедии на Таганке, где артист блистательно воплотил множество образов. Когда однажды американская журналистка, беря у него интервью, сказала: «Некоторые склонны считать, что без Высоцкого не было бы Театра на Таганке», актер горячо и убежденно ответил ей: «Это Высоцкого не было бы без Таганки»¹. Одна работа этого театрального лицедея была лучше другой.

Мне довелось видеть в 1969 году Высоцкого в его первом таганковском спектакле — «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта. Он исполнял в нем сразу три роли: Второго бога, мужа героини и летчика Янг Суна. Никогда не забуду, как темпераментно Высоцкий играл последнюю из названных ролей: мощно, нервно, трагично. Помню, как он широким и резким жестом обеими руками рвал на себе рубашку. Он вступал в сложный диалог с Шен Те, которую играла яркая актриса Зи-

наида Славина, и доминирующе вел этот диалог. Я чувствовал тогда — смутно, интуитивно, подсознательно, — что этому незнакомому актеру, вероятно, суждена яркая сценическая судьба.

В необыкновенном по изобретательности и выдумке спектакле «Десять дней, которые потрясли мир» по книге Джона Рида Высоцкий играл еще больше ролей, чем ранее. Он был здесь Керенским, сменив Н. Губенко, часовым, артистом, солдатом революции. Отчетливо помню, как, приехав в Ленинград, этот театр расположился во Дворце культуры им. Первой пятилетки. И когда шел спектакль по Д. Риду, уже на далеких подступах к дверям нас, зрителей, встречали революционные матросы времен Октября и накалывали театральные билеты на штыки винтовок. А в фойе, где происходило залихватское веселье, можно было увидеть в матросском костюме В. Высоцкого с гитарой, В. Золотухина с гармонью и других. Керенского актер играл остро, гротескно, выразительно.

В концертном по своему характеру спектакле «Антимиры» (по стихам Андрея Вознесенского) Высоцкий читал строки из поэмы «Оза», вступая в общение с В. Смеховым. Исполняя роль каркающего Ворона, он, как вспоминал Вознесенский, «до стога заводил публику», и на актера «обрушивался шквал оваций»².

В поэтическом представлении «Павшие и живые» Высоцкий читал стихи М. Кульчицкого, поэта, погибшего на войне, и читал так, что его голос, как замечает театровед К. Рудницкий, взмывал над другими голосами «в высокое небо трагедии, заранее торже-

ствуя и всех объединяя в нетерпеливом предощущении боя»³.

Ярким и запоминающимся был образ Галилея в пьесе Б. Брехта, ученого, совсем молодого, тяжело переживающего свое одиночество и отступничество. Его без грима играл Высоцкий, показывая человека гордого, исполненного чувства высокого человеческого достоинства, открыто и прямо, вопреки падению, бросающего вызов миру зла и насилия. Мощным темпераментом отличался Хлопуша, сыгранный Высоцким в драматической поэме С. Есенина «Пугачев». Полуголое тело актера кидалось на железную цепь, повергая зрителей в ужас, потрясая его знаменитым трагическим монологом со словами «Приведите меня к нему...» Столь же незабываемо исполнял он партию скомороха. Свежим стало решение ролей Лопухина (по Чехову) и Свидригайлова (по роману Достоевского).

И уже совсем новым, неожиданным, парадоксальным предстал Высоцкий в роли Гамлета. Он держал в руках не рапиру, не шпагу, а гитару и, присев на авансцену, пел прославленные пастернаковские стихи. Но исполнял их так, что песня переходила в сценическую омузыкаленную речь. Этот Гамлет — поэт в душе, и оттого ему так близки стихи и Шекспира, и Пастернака. Актер играл датского принца, как свидетельствует его партнерша по сцене Алла Демидова, «просто и скорбно. Его Гамлет уже знает все про жизнь, для него нет неожиданности в злодействе Клавдия. Часто в монологах у актера прорывалась горькая ирония, а “прежнюю свою веселость”, по его словам, он потерял давно. Слова Призрака для него тоже не новость. Гамлет-Высоцкий только кивает, — это лишь подтверждение его догадки»⁴. Гамлет Высоцкого, — наверное, самый юный Гамлет, и на его лице нельзя увидеть морщинок, так характерных для этого трагического принца, скажем, в трактовке И. Смоктуновского. Гамлет был самой любимой ролью Высоцкого (он играл ее десять лет) и стал самой последней его ролью,

сыгранной перед кончиной. Может быть, не случайно на сцене в этом спектакле господствовала ночь и колыхался трагический занавес, предвещающий смерть большого артиста театра.

Современники говорят о редчайшем чувстве трагического, присущем Высоцкому, о его абсолютной творческой раскованности, многообразии красок сценической палитры.

С 1959 года началась жизнь Высоцкого в кино. Первым его фильмом была картина «Сверстницы» (режиссер В. Ордынский), где актер снялся в роли студента Пети. А потом пошли новые и новые ленты с участием Высоцкого. Всего он снялся в 30 фильмах. Памятными работами в кино стали роли Рябого («Хозяин тайги») и Ибрагима Ганнибала («Сказ про то, как царь Петр арапа женил»). Высоцкий, как видим, немало снимался в кино, для многих фильмов он написал песни, и судьба его в этой сфере искусства может показаться успешной. Но на самом деле счастливой ее назвать нельзя. Было немало запретов на съемки с его участием, накопилось множество обид от оскорблений⁵, а главное — часто ему приходилось сниматься в эпизодах или малоудачных фильмах вроде «Стряпухи» Э. Кеосаяна.

Но были и исключения. К ним относится картина «Вертикаль» режиссера С. Говорухина, участие в которой сам Высоцкий считал удачным. К тому же актер исполнил в этом фильме пять песен, ставших популярными. Даже на могилах погибших альпинистов выбивались строки из этих песен. Прекрасной стала роль Брусенцова в фильме «Служили два товарища» режиссера Е. Карелова. Здесь перед зрителем предстал кряжистый белогвардейский поручик, носитель яркого характера, яростного темперамента и беспредельной тоски на сердце. Безусловной удачей стала роль фон Коррена в фильме Иосифа Хейфица «Плохой хороший человек» (по повести «Дуэль» А. П. Чехова). Высоцкому удалось показать циничного, желчного, деспотичного зоолога, презиращего мягкотелого

ПИСАТЕЛЬ

XXI
век

Лаевского. Актер выразительно играл внешне спокойного человека с загнанными внутрь, испепеляющими его страстями, находящегося в плену ложной фанатической идеи, которая в конце концов надломила героя. На кинофестивале в Сицилии Высоцкий получил приз за лучшую мужскую роль, исполненную в фильме И. Хейфица.

Чрезвычайно интересной была игра актера в фильме Г. Полока «Интервенция», где Высоцкий исполнял роль подпольщика Бродского, конспиратора, который должен был превращаться в русского полицейского, французского офицера, светского щеголя, моряка. Это перевоплощение было ярким, и зрителю казалось, что играется вообще несколько самостоятельных ролей. Здесь же звучала песня Высоцкого «Баллада о деревянных костюмах». Прекрасны та эксцентрика, та физическая сила и то танцевальное искусство, которые были продемонстрированы актером в этом фильме.

Живым, искрометным было исполнение роли артиста Бенгальского (Коваленко) в кинокартине «Опасные гастроли» режиссера Г. Юнгвальда-Хилькевича.

Актер снялся и в телефильмах. К превосходным его работам в этом жанре следует отнести роль Глеба Жеглова в пятисерийной картине 1979 года «Место встречи изменить нельзя» режиссера С. Говорухина, поставленной по роману «Эра милосердия» братьев Вайнеров. Жеглов и нетерпелив, и жесток, и ироничен, и удивительно нежен, а за всеми этими красками роли стоит человек, по-настоящему убежденный в справедливости цели, к которой он идет, в оправданности поступков, которые он совершает. Когда он пользуется выразительным жестом рукой и произносит «Я сказал!», то звучит это настолько убедительно, что уже сомнений быть не может. Фильм с блестящей работой Высоцкого и режиссурой С. Говорухина получил всенародную популярность, а актер — очередную премию за лучшую мужскую

роль. Позже к этой награде прибавилась посмертно присужденная Государственная премия СССР 1987 года за создание образа Жеглова в телевизионном фильме.

Прекрасной актерской работой на голубом экране стала и роль Дон Гуана в фильме М. Швейцера «Маленькие трагедии». Это была последняя работа Высоцкого в кино. Ему удалось максимально приблизиться к тому образу, который был создан Пушкиным.

Даже этот краткий обзор сделанного Высоцким в театре, кино и на телевидении, красноречиво говорит о том, какой поразительно интенсивной творческой жизнью он жил. Его всегда отличала неумность и художественная неутоленность. И если к актерским работам прибавить сочинительство стихов, создание музыки к ним, выступление с песнями на эстраде, записи дисков, участие в радиоспектаклях («Мартин Иден», «Зеленый фургон», «Незнакомка») и дискоспектаклях («Алиса в стране чудес»), писание «Романа о девочках», то можно ощутить и весь масштаб сделанного им, и предельно напряженный характер его повседневного состояния, и пламенность его творческого горения.

Работа в театре и съемки в кино оказали заметное воздействие на поэзию В. Высоцкого. В его стихах часто ощутимо действенное начало, сквозной сюжет, который организует строфическое построение и композицию произведения в целом. Может быть, этим объясняется то, что его стихи обычно развернуты и длительны по времени. Стихотворение «Честь шахматной короны» строится как действие, состоящее из двух актов (эпозиционной «подготовки» и «игры», в которой есть своя завязка, перипетии, кульминация и развязка). Многие произведения В. Высоцкого включают в себя развернутый диалог («Разговор в трамвае», «Мест не хватит, уж больно вы ловки!..», «Разговор с женой»), отдельные реплики, ремарки («В одной державе с населением...»), но чаще

представляют собой обращенные к читателю или собеседнику монологи («Серебряные струны»). Поэт любит в очередном стихотворении наметить новый характер, разработать его, вывести на воображаемые подмости, дать крупным планом, наделить его своей неподражаемой речевой характеристикой, включить в развивающееся действие. Герой «Марафона» рассказывает о себе не так, как это делает вратарь (в одноименном стихотворении), монолог «Я тут подвиг совершил...» звучит не так, как «Я не люблю». Тут везде свои интонации, ритм, язык.

От театра в стихи Высоцкого пришла тема масок («Смеюсь навзрыд, как у кривых зеркал...»), сраченность стихов со сценическими жанрами («Мистерия хиппи», обостренный драматизм (тема жизненного тупика, «дна») и комедийные формы. Даже лирические произведения автора очень часто окрашены юмором и рожают смех. От кино — своеобразный лирический монтаж, ассоциативные сцепления эпизодов, смена ракурсов, крупный план, представление фильмов («Здравствуйте, наши добрые зрители...», «Вот что: жизнь прекрасна, товарищи...»).

Примечательно, что многие стихотворения Высоцкого навеяны его театральными и киноролями. Так, спустя несколько лет после выступления в шекспировской трагедии поэт пишет стихотворение «Мой Гамлет», где устами датского принца говорит о своем постепенном прозрении. Это стихотворение может служить своеобразным комментарием к театральной роли актера. А такие юморески Высоцкого, как «Агент 07» или «Песенка киноактера», «Баллада о Кокильоне» или «У моря, у порта», рождены или кинопечатлениями, или работой над очередным фильмом.

Важной и постоянной в поэзии В. Высоцкого была тема павших и живых. Она тоже оформлялась не без влияния одноименного спектакля в Театре на Таганке, но питалась и иными жизненными источниками. Тема

прошедшей войны была очень дорога поэту, представлялась ему по-особому значительной, что было связано с его высокими гражданскими чувствами, увлечением книгами о войне, с участием в ней отца — полковника-связиста, двухлетним проживанием в воинской части, где отец служил. Проникновенно выражена боль о погибших в стихотворении «Сколько павших бойцов полегло вдоль дорог...» В единственном напечатанном при его жизни стихотворении «Из дорожного дневника» Высоцкий писал: «...в машину ко мне постучало просительно время — / Я впустил это время, замешанное на крови». Ярким примером разработки темы военной страды, верности памяти фронтовых тружеников служит стихотворение «Мы вращаем Землю». Солдаты нарисованы в этом произведении как исполины, которые, наступая, распластались не просто по тверди, а по Земле. Они отталкиваются «ногой от Урала», чтобы по-иному повернуть ход событий, бег времени, движение самой истории, дабы отобрать «наши пяди и крохи». «Сменные роты на марше» осмелились сдвинуть земную ось без архимедова рычага, «чтобы солнце взошло на востоке». Титанические усилия наших воинов исключительны: если не удастся подвинуть Землю сапогами, помогают колени, локти, ступни. Наконец:

Землю тянем зубами за стебли —
На себя! На себя!

Однако обыкновенно поэт избегает очевидного пафоса в своих стихах. Этому служит и доверительность интонаций, и юмористическая окраска строк, и подчас нарочитая грубоватость лексики, вобравшей в себя язык улиц, площадей, московских дворов, рабочих и студенческих общежитий, шумных многоликих стадионов. Эту же функцию выполняют перебои ритмов в стихах Высоцкого, нарушение избранных размеров, неточности рифм. Все это — намеренные шероховатости, придающие строкам поэта жизненную убедительность.

Но этот отказ от патетики не умаляет нравственной со-держательности творчества В. Высоцкого. Говоря о скверном, грязном, негативном, поэт жаждет искоренения этих явлений. Не случайно его лирический герой стремится в горы, в небо, к простору, к постоянному преодолению вершин, барьеров, скорби, страха, дистанций. Не зря поэта считали воплощением народной совести и правды. А сам он говорил о том, что цель своего творчества он видит в передаче человеческого волнения, которое «может помочь духовному совершенствованию». Этой благородной задаче служили его стихи.

На определенном этапе творческого развития у Высоцкого как поэта возникла потребность развить ту музыку, которая уже заключалась в его слове. Одновременно начинает складываться особый жанр его лирики — песни, которые сразу же вызвали необходимость музыкального оформления художественных текстов, в свою очередь подчиненных рождающейся мелодии. Истоками этого нового для поэта вида творчества стали городской романс, молодежная авторская песня, получившая развитие в 50–60-е годы, марши Маяковского, лирика Есенина, поэзия М. Кульчицкого, оказавшая серьезное воздействие на Высоцкого. Важную роль сыграла встреча с Б. Окуджавой и соприкосновение с его творчеством.

Отметим и то, что песни Высоцкого рождались в практике озвучивания фильмов и спектаклей. Первые песни такого рода были созданы в 1966 году для фильма «Вертикаль», где герою-радисту Володе необходимо задобрить своими мелодиями друзей-альпинистов, чтобы и его взяли в горы, без которых тоскует его романтическая душа. Это были произведения, прославляющие мужество, дружбу, возвышенные устремления людей и самого исполнителя («Прощание с горами», «Песня о друге»), обращенные к героическому прошлому («Альпийские стрелки») и к любимой женщине («Скалолазка»). Эти песни обрели самостоятельную жизнь, огромную популярность, и

вскоре появилась первая пластинка автора — «Песни из кинофильма “Вертикаль”». Потом был создан «Парус», исполненный Высоцким в документальном фильме «Срочно требуется песня» (1967), посвященная творчеству бардов. Для картины «Опасные гастроли» (1968) была написана «Цыганская песня» с припевом о летящих конях. Ряд песен поэта вошел в структуру спектакля «Звезды для лейтенанта» Московского театра им. М. Н. Ермоловой; множество мелодий украсило представления в Театре на Таганке, Театре сатиры, Ленинградском БДТ им. Горького. Трудно представить себе фильмы «Бегство мистера Мак-Кинли», «Единственная», «Ветер надежды», «Интервенция», «Хозяин тайги», «Стрелы Робин Гуда» без песен Владимира Высоцкого.

Эти песни имеют жанровые разновидности. Часто это баллады («Баллада о детстве»), сказки («Странная сказка»), марши («Марш шахтеров»), обрядовые песни («Величальная отцу»), письма, песенки («Песенка о переселении душ»), пародии («Пародия на плохой детектив»), гимны («Гимн морю и горам»).

Столь же разнообразны эти песни по тематике и диапазону. Это произведения гражданского звучания, посвященные Великой Отечественной войне, необоснованным репрессиям 30–40-х годов, безгласности и беспамятности 70-х. Среди песен о войне можно вычленил тему беспримерного подвига советских солдат, мотив о погибших, тему милосердия к пленным. Здесь особенно выделяются «Я полмира почти через злые бои...», «Он не вернулся из боя», «Штрафные батальоны», «Сыновья уходят в бой», «Аисты». В песнях этих раскрыта трагедия народа в годы военного лихолетья, незаживающая боль автора, переключка поколений. Произведения эти и по содержанию, и по мелодической окрашенности отличаются пронзительной силой, мощью, искренностью звучания и философичностью. Трудно без потрясения читать или слушать слова из «Аистов»:

Лес шумит, как всегда,
кронами,
А земля и вода –
Стонами.

Нельзя без душевной скорби слышать «Песню о нейтральной полосе», где поется о необычайной красоте цветов, выросших на границе. Людям бы радоваться, вдыхать их аромат, одаривать ими невест и жен. Но взаимная вражда и жестокость разрушают мирную идиллию. В свои права вступают коварство, неприязнь, отчуждение. И гибнут люди, опьяненные запахом благоухающих цветов. Оба падают, подкошенные пулями, даже не падают, а «рушатся». И только цветы по-прежнему сияют своим немеркнущим, торжествующим, хотя и скорбным очарованием. Ведь

На нейтральной полосе цветы
Необычайной красоты.

Прекрасны песни Высоцкого о спорте, всегда богатые сочным юмором или элегическим чувством грусти оттого, что вершины еще недоступны и что покорение их, опасное, трудное, еще впереди («К вершине»).

Незабываемы лирические песни, посвященные Марине Влади, ставшей женой Владимира Высоцкого. Это «Она была в Париже», это о ней сказано: «Нет рядом никого, как ни дыши...», «В душе моей...». Это ей адресованы рассказы о трудной, но глубокой любви, преодолевающей расстояния и барьеры.

В творческом наследии Высоцкого немало песен на тюремные темы («Я был душой дурного общества», «Милицейский протокол», «Татуировка» и др.). Их надо правильно понимать. Здесь существует значительная дистанция между автором и персонажами, которых Высоцкий сочно рисует и над которыми потешается подчас громко и издевательски открыто.

Автор пользуется гротескными масками, чтобы высмеивать самые уродливые явления жизни: тиранию, пьянство, рвачество, приспособленчество, насилие, хамство, мещанские вкусы,

доносительство, сплетни, вздорные слухи, ханжество, умственную тупость, бюрократизм, наглую спесь, грубую силу, обывательский эгоизм. И тут Высоцкий проявляет необыкновенный дар сатирика, который умеет пользоваться и шуткой, и иронией, и сарказмом, и гневной инвективой («Я не люблю»). Вспомним Ваню и Зину у телевизора. Можно себе представить, как весело смеялись некоторые слушатели, не догадываясь, что поется о них. Вопреки пословице «Не выноси сор из избы», певец настойчиво говорил о мусоре в нашей «избе», чтобы очистить от него родной дом. Высоцкий пел, кричал обо всем этом громко, страстно, мощно, выражая народное мнение и людскую боль. И отчаивался, чувствуя непонимание, неприятие его творчества определенными кругами, от которых в то время зависело официальное признание поэта:

Мой отчаяньем сорванный голос
Превратили в приятный фальцет.

Мастерство исполнения и самоотдача Высоцкого были незабываемы. Жилы на его шее вздувались от напряжения так, что, казалось, вот-вот они лопнут. Были ощутимы заметные контрапункты его песен, резкие контрасты (своеобразные голоса в диалогах) куплетов и припевов, захватывал раскат долгих согласных л-л-л и р-р-р, «легендарный темперамент» (Ю. Трифонов), дар перевоплощения.

Поражал и достигнутый поэтом художественный синтез стихов, музыки, актерского исполнения на эстраде, умноженный опытом участия в спектаклях, фильмах и телефлестюках. Этот синтез был обусловлен стремительной интеграцией явлений окружающей поэта действительности. Поэтому, когда Высоцкому приходилось вступать в невольное соревнование с заезжими шансонье, он неизменно одерживал творческие победы. Песни Высоцкого несли людям правду о жизни в пору безгласия, дарили слушателям свет, доброту, юмор, надежду. Можно сопоставить два родствен-

ПИСАТЕЛЬ

XXI
ВЕК

ных явления в искусстве 60—70-х годов: творчество французского поэта и композитора Жоржа Брассенса и песни нашего соотечественника Владимира Высоцкого. Оба они утверждали достоинство человека.

Нередко Высоцкого запрещали, не выпускали за границу, не печатали его стихов. Певец объяснял это так:

Обложили меня, обложили
За то, что я нарушил тишину,
За то, что я хриплю на всю страну...

Вслед за С. Есениным В. Высоцкий (а у этих поэтов было немало общего в творчестве, характере и судьбе) обратился к образу несущихся коней. Образ этот организовывал «Цыганскую песню». Он является центральным в «Иноходце», и он же доминирует в песне «Кони привередливые». В этой прощальной исповеди певца и поэта — ощущение бешеной гонки, чувство обрыва и пропасти, мольба о передышке, обращенная к самому себе, предвидение скорого конца:

Я коней напою, я куплет допою —
Хоть мгновенье еще постою —
на краю-у-у...

25 июля 1980 года жизнь поэта обрвалась. Михаил Ульянов, выступая на панихиде у гроба В. Высоцкого, подтвердил: «...он действительно не мог остановить своих лошадей, у него не хватило сил. Но ведь в этом и весь Владимир... в том, что его лошади в пене, в ярости, в намете, в неостановимости, и был Высоцкий»⁶. Когда поэта хоронили и вынесли его гроб из дверей театра на Таганскую площадь, со всех окружающих ее крыш мальчишки запустили в небо белых голубей. В этом есть своя символика.

Но после смерти поэты остаются жить в сердцах и сознании своих читателей. Был издан сначала сборник его стихов «Нерв» (1981), а потом и собрание сочинений в четырех томах (1993); вышли новые диски с его песнями (в том числе комплект из 22 пластинок), радиоспектакли, книги и стихи о нем. Именем Высоцкого называли звезду, клубы, музеи, кинотеатр, парход...

Примечания

1. Высоцкий на Таганке /Сост. С. Никулин. М.: В. О. «Союзтеатр» СТД СССР, 1989. С. 14.
2. Там же. С. 23.
3. Там же. С. 28.
4. Демидова А. Владимир Высоцкий, каким знаю и люблю. М.: Союз театральных деятелей РСФСР, 1989. С. 81.
5. Зубрилина С. Н. Владимир Высоцкий: страницы биографии. Ростов н/Д.: Феникс, 1998. С. 241.
6. Цит. по кн.: Роговер Е. С. Русская литература XX века: 2-е изд., доп. и перераб. — СПб.; М.: САГА: ФОРУМ, 2004. С. 492.

А. Н. Миронов

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О ВЛАДИМИРЕ ВЫСОЦКОМ

*(родились в рамках дискуссий
в интернет-клубе журнала «Писатель. XXI век»)*

В 2010 году исполнилось 30 лет со дня кончины артиста театра на Таганке Владимира Высоцкого. Многие ли задумываются над ролью этого незаурядного человека с кошачьим шагом? Впрочем, мы по большей части знаем его как автора и исполнителя песен под гитару. Чем же характерны они? Сначала это были уголовного типа поэтические зарисовки, исполненные уникальным голосом, производившим гипнотизирующее воздействие на многие впечатлительные сердца. Затем появились многочисленные песноткляки на яркие события советской жизни. Но в целом они вспоминаются нам прежде всего эпатажем, злой насмешкою над всем советским временем. То есть практически все творчество Высоцкого для истории — это очень талантливое издевательство над эпохой 60–80-х годов в Советском Союзе, отчасти образно прикрытое темами о Великой Отечественной войне и вдруг присвоенной герою его песен Великой Победы. С другой стороны, нельзя не отметить влечение Высоцкого вообще к теме героических профессий. Но опять же он использовал ее исключительно для решения задачи возвеличивания своей персоны. Еще в текстах песен Высоцкого много сказано о больших муках его необузданной ничем натуры. Но что в этих произведениях заметно в первую очередь? В первую очередь буквально во всех его песнях мы сталкиваемся с особой

позицией вполне даровитого одиночки, выражающейся явно или неявно в огромной претензии на особые для себя лично почести и привилегии. Эта личность буквально не признает ничего, что является препятствием для получения непременно всего ею желаемого. Видимо, поэтому-то Владимир Высоцкий и сегодня продолжает оставаться кумиром всех российских обывателей, особенно лиц из числа бывшей советской интеллигенции, совсем не понимающей смыслов советского времени и всегда в душе мечтавшей об утехах мелкобуржуазного бытия. Впрочем, возможно, что кто-то сумеет сказать о Высоцком иначе?..

Не вижу причин для уклонения разума от постижения темы наркотиков или пьянства. Тем более что кумир одаренных и самовлюбленных личностей Владимир Высоцкий был «ранен» и тем и другим. Почему? Да потому, что ему с его талантом следовало бы подвиги совершать, а он занимался лишь утешением собственной самости, а также самости многочисленных простаков. То есть всякое неумелое употребление дара ведет всякого же в пропасть дурных привычек. Или невозможно без допинга удержаться в жизни, ведя с ней неумный спор ее же могучими средствами...

Никто не спорит, что толпе в 200 000 человек (столько пришли провожать гроб Высоцкого) нужны кумиры. Неужели сегодня можно в уми-

лении говорить о людях типа Юрия Любимова, как раз и создавшего «звезду» Владимира Высоцкого? Чем он объективно (то есть для всех нас) памятен? А тем, что лихо своими песнями крушил советский режим и страстно искал у него же документального признания. Разве это достойно приличного человека? Да, он от рождения имел дефектные (двойные) голосовые связки (ложные снаружи, создававшие эффект чарующей хрипоты), которыми успешно гипнотизировал слушателей многих стран. Его последняя мечта — уехать на жительство в США (по словам его друга Михаила Шемякина). Вот ваш кумир и вот ваше же собственное нутро. Пушкин, Лермонтов вряд ли бы додумались до этого. Высоцкий — это лишь яркая поза очень талантливого человека, погрязшего в пустяках, претензиях и обидах, выраженных весьма стильно и броско. Но ничего более. Поэтому-то он и не любил мир, так как не любил в нем каких-либо перемен, которые неизбежны...

Реагируя на замечание, что советская власть возникла ниоткуда и незаконно, отвечаю так. Во-первых, читайте книгу барона де Кюстина «Николаевская Россия» (1839), в которой он ясно предсказывает самую кровавую революцию в истории человечества именно в России XX века. Во-вторых, плоды русской революции были похищены при очень активном участии таких чародеев от искусства, как Любимов и Высоцкий. В-третьих, умирают от страсти, но не от любви. Поэтому все разговоры о любви Высоцкого фальшивы. Он ее просто никогда не знал. Народная любовь к нему пройдет. Почему? Да потому, что народ станет иным. Он в будущем впервые из собрания «обиженных и оскорбленных», остро нуждающихся в утешении людей превратится в народ праведников. Во всяком случае, шекспировские страсти вконец перестанут его интересовать как нечто ему насущное.

И в самом деле: вопрос ведь совсем не в том, чтобы быть или не быть, вопрос лишь в том, каким быть...

Я лично долго любил Владимира Высоцкого и большую часть его творчества. Как, впрочем, любил Жванецкого, Хазанова и прочих эстрадных весельчаков (хохмачей). Но сама жизнь понудила меня пересмотреть эти чисто сердечные увлечения, которые возникли во мне сугубо стихийно. То есть я долгое время искренне полагал, что эти люди знают что-то такое, что неведомо мне и что открывает мне истину жизни. Но нет, шло время, и я вдруг обнаружил, что эти талантливые люди на самом деле талантливы лишь для себя и своих одурманенных поклонников. Иначе говоря, объективная действительность заметно отличается от их хитрых поучений. Или улыбка малыша, смотрящего на свою мать, заметно отличается от сальных ухмылок упомянутой выше кампании. То есть красное словцо и правда совсем не одно и то же. Возьмем для примера песню Высоцкого о лжи на длинных ногах. Вот уж яркий пример фальшивой мудрости. Чем завершается сия мудрая побасенка? Правильно, полным фактическим отождествлением лжи и правды. Разница у него между ними только в том, что правда — это лишь то, что по сердцу самому певцу. Нет, ребята и девчата, ныне так уже не пойдет. И потом, когда ничего не свято, то тогда действительно пора собирать чемодан жизни. Другими словами, Высоцкий — это ложный герой, ловко всунутый известным сегодня умельцем (Юрий Любимов) русскому народу в качестве подлинного в самый сложный момент его исторической судьбы. И каков результат этого маневра? Тотальная утрата русскими людьми стыда, совести и даже разума. Впрочем, будем полагать, что это только на время. Еще раз говорю вам всем: Высоцкий объективно хотел себе только огромной славы, причем славы любой ценой и любым ему лично доступ-

ным образом. Когда же он сообразил, что она никогда не станет всемирной, он сразу утратил и желание жить...

Сегодня имел беседу с одним мудрым человеком, в ходе которой и сообщил ему о нашей яркой дискуссии в связи с фигурой Владимира Высоцкого. Мой собеседник сразу же уточнил, что если речь в связи с Высоцким идет о нем как о социальном феномене, то тогда всем следует иметь в виду следующее. В явлении Высоцкого плотно пересеклись: человеческое начало, сверхчеловеческое проявление и нечеловеческое (демоническое) качество. То есть в нем было и остается поныне: и хорошее, и плохое, и очень плохое. Поэтому-то драматичность влияния этой фигуры на социум трудно переоценить. А сам его конец удивительно красноречив и показателен. Или финальные дни, как и последние годы его жизни, — это самый что ни на есть драматический самораспад всего его существа, завершивший когда-то сделанный им роковой выбор много опасного русла жизни. Иначе говоря, всем истовым поклонникам Высоцкого следует крепко подумать над тем, а хотели бы они лично погибать, как и он, в непрерывном пьянстве, наркотическом угаре и демоническом огне, окончившемся полным расщеплением всех его сосудов, ставших практически стеклянными? Разве подобное состояние ума и сердца способно рождать нечто подлинно светлое и вечное? Разве непрерывное физическое страдание от тщеславного нежелания делать несложную операцию по удалению ложных голосовых связок является признаком гениальности какого-либо лица? Ведь нет же, наоборот, такое поведение явно происходит из склонности натуры к демонизму, к искусственному возвеличиванию своей фигуры для последующей эксплуатации многих людских страстей. Вот примерно такие слова мой собеседник и адресовал всем сторонникам, впрочем, нехилой славы Владимира Вы-

соцкого. Только вот нужна ли она психически устойчивым людям? И если да, то зачем, для чего именно? Другими словами, стоило ли тратить свою жизнь для создания вокруг себя сомнительного ореола «странного мученика»? А для тех, кто думает, что Миронов пребывает в одиночестве в части своего восприятия Высоцкого, рекомендую прослушать песню Дмитрия Полторацкого «Посвящение Пушкину. Песня о Высоцком»...

Сторонники Высоцкого и поныне сохраняют свой напор в отстаивании позиции по его защите. Они правы, когда говорят, что нам не по сердцу нравы многих наших сограждан. Они и меня весьма и весьма удручают. Я понимаю, что «Мурка» все еще очень популярное направление народной песни и с этим глупо спорить. Но я все-таки уповаю, что время «мурок» все же пройдет. То есть народность уличной шпаны, недообразованных напыщенных выскочек, любителей всевозможного сального примитива, а также нарочито сленгового обращения со словом как периода искусственной порчи нрава народного все-таки прекратит свое скорбное бытие. И тогда нам более не придется умиляться словам: «Я, Вань, такую же хочу». В будущем нам будем только досадно, что это еще кому-то интересно слушать. Ведь подобное притягивается к подобному, а значит, всякий рифмованный ор в связи с глупостью людской более не станет манить к себе человека, а значит, и наведенной разными талантами дурости станет заметно меньше. Вот о чем я пытаюсь сказать в связи с фигурой Высоцкого. А процветающий ныне на его имени бизнес также не может не вызывать у меня оскомину. Или незачем русским людям идти в будущее в обнимку с Высоцким, он там лишь помеха. А страсть к дурному (похабному) никого не красит. Впрочем, что-то останется в памяти, например, «Он вчера не вернулся из боя».

ПИСАТЕЛЬ
XXI
век

В этой песне налицо прозрение и начало пути к спасению души...

Да, я вполне признаю некоторые песни Высоцкого. Но мне грустно, что за компанию с ними в русскую душу «лезут» также иные, недостойные, которых у Высоцкого тьма-тьмущая. Владимир не был мудрым человеком, это очевидно. Он приносил себя в жертву ложным целям. То есть, борясь с одним злом, он тут же сеял на его место другое. Именно поэтому у него так много «проходного» творчества. Его погубила ранняя слава, которая по большому счету никого не красит (слова Пастернака). Почему? Да потому, что она есть свидетельство кумирства, а значит, она сущностно уязвима. Как раз по этой причине он и стал сегодня объектом шоу-бизнеса. Ведь на Пушкине, Лермонтове и даже Есенине сильно «руки не погреешь», тогда как на Высоцком — вполне. Вот и выходит, что Владимир ныне пожинает совсем не то, о чем мечтал. Как раз об этом и поет Дмитрий Полторацкий в своей песне «Посвящение Пушкину. Песня о Высоцком». Послушайте ее. В ней нет ничего конъюнктурного...

Мы... просто любим его, как своего мужика, который перевернул массы.

Сергей, почитатель Владимира Высоцкого

Только вот куда он их перевернул? Они что, резко поумнели? Стали честнее? Вряд ли. Поговорим о содержании песен ВСВ. «Песня о друге». В этом произведении его герой ведет себя явно опрометчиво (авантюрно). Почему? Да потому, что влечет в горы за собою лицо, о котором, по сути, ничегошеньки не знает. Красиво? С одной стороны, аж дух захватывает, с другой — горько, что вроде бы умный человек подвергает капризно опасной проверке другого человека. В песенке с нарочитой хрипотцой это выглядит славно, а в жизни? Далее. «Баллада о бане». В числе прочего читаем и такое: «Пар с грехами расправится

сам». С какого, как говорится, перепугу? Опять краснбайство для простаков. Спору нет: баня — это хорошо, но зачем ей приписывать чужое? Метафора? Да нет же, это лишь примитивизация («игра на понижение»). Если Высоцкий знал о том, то кто он тогда? В противном случае «свита играет короля» (определяет его качество). Высоцкому, видимо, совсем было не ведомо, что, например, Сергей Радонежский ходил и жил, не снимая, одну и ту же одежду до ее полного разрушения, а в привычном всем нам банном омовении тела видел греховный соблазн. Теперь песенка о гимнастике. Ну чего, спрашивается, сально хихикать над коллективной зарядкой? Какая творческая задача решается при этом? Демонстрация фронды прокуренной насквозь богемы? Мы вот о-го-го какие, не в пример вам, послушным? Убого. Затем панегирик толпе («Баллада о маленьком человеке») под предлогом заботы о маленьком человеке. Но ведь это заведомо провокационное мероприятие, ведущее страстных слушателей лишь к смуте. «Баллада о борьбе»:

Если, путь прорубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал
(эксперимент?) что почем, —
Значит нужные (кому?) книги ты
в детстве читал!

Снова отчетливый призыв к бунту («бессмысленному и беспощадному»)? «Баллада о двух погибших лебедях». Странное ощущение чего-то искусственного. Неужели не на кого более поохотиться? Ну да, нам нужен красивый финал!

Они упали вниз вдвоем,
Так и оставшись на седьмом,
На высшем небе счастья.

Кич и дешевка, рассчитанные на невзыскательный вкус. «Маски». Герою Высоцкого, видимо, невдомек, что сам выбор маски как конкретных

черт конкретного образа уже есть законченная характеристика лица, осуждавшего его. Обобщая изложенное выше, следует заметить, что в творчестве Владимира Высоцкого много напыщенного и ложного. Видимо, поэтому профессиональные поэты всегда отмечали его любительство...

И еще. Высоцкий сам по себе мне лично неинтересен, он лишь повод для выяснения важного смысла. Почему он? Да потому, что в песнях своих претензию имел большую на понимание смысла жизни. Только вот его Гамлет оказался совсем не чета Гамлету, скажем, Смоктуновского. Как говорится, «из грязи в князи» всерьез не бывает...

Гений — это рождающий идеи и образы, обладающие непреходящей актуальностью и развивающие все человечество. Обратите внимание на то, что гений действует как радиация — тотально. То есть его влияние предельно объективно и необратимо, как физическое воздействие. К числу таких фигур могу отнести Николу Теслу. Среди деятелей культуры могу назвать Баха, Бетховена. Среди других деятелей науки могу назвать еще Сократа, Платона, Гегеля. Для многих других же известных ныне лиц в будущем возможна утрата актуальности ими когда-то содеянного и признанного. Поэтому советую всем строже относиться к смыслу слова «гений». К Владимиру Высоцкому этот смысл не пристанет никогда. Да, он талант, во многом самодельный, но и только. Хорошей школы он не имел, поэтому часто вызывал сожаление отпечатком отчаянного любительства...

«Баллада о времени». Опять много слов ни о чем. Почему? Да потому, что время — это единственный способ изменения ума, и ничего более. Иначе говоря, время — это прежде всего бытие чувства, которое, в свою очередь, меняет качество ума. Греческое слово *метанойя* как *перемена ума* (покаяние) для Высоцкого явно не существует. Что

и требовалось понять, чтобы уяснить вторичность всего его творчества.

В качестве дополнения полагаю уместным сказать еще следующее. Вопрос назначения времени в жизни человека — ключевой. Многие, в том числе и Высоцкий, относятся к этому понятию поверхностно, подменяя его простым календарем, что неверно. Поэтому в XXI столетии следует все-таки учиться называть вещи (явления) их собственными именами. Ни во сне, ни в мире ином человек практически бессилен что-то поменять в своих реакциях на обозреваемые им картины бытия. Только в земном и бодрствующем состоянии сознания у него есть такая возможность, которую так или иначе (добровольно или принудительно) ему придется использовать. Вот в чем проблема, вот в чем корень бытия.

Кстати, сегодня, 2 августа 2010 года, по российскому телевидению (5-й канал) демонстрировалась передача, посвященная авторской песне. Так вот, ее участники сообщили телезрителям, что в рамках заявленного творческого жанра на самом деле решается одна главная задача — задача внушения слушателям этих песен нужных авторам смыслов. То есть жанр авторской песни содержит в себе все признаки навязывания своим слушателям некоторого мировоззрения. Поэтому-то впредь следует очень внимательно относиться к тому, что вкрадчиво или доверительно внедряют в наши умы и сердца подобные умельцы...

Женщины (речь о поклонницах ВСВ), родные, разве вам близки слова:

И дымящейся кровью из горла
Чувства вечные хлынут на нас?

Побойтесь Бога, разве любовь может изливаться «дымящейся кровью из горла»? Ведь это же рафинированный демонизм какой-то. Неужели у вас нет чутья к словам? Или уже другое:

Свет впереди!
Именно там на холодок
Вышел герой, а Минотавр
С голода сдох!

Одумайтесь, если вдруг считаете иначе, мои хорошие!

Впрочем, предлагаю новую тему: культура и нравственность. Здесь есть две позиции. Первая в том, что культура вне нравственных ориентиров превращается в антикультуру, а значит, считает, что только твердые нравственные устои помогают обрести культурные и прочие ценности. Вторая, наоборот, рвет всякие нравственные правила, полагая, что они есть оковы на пути к новым достижениям культуры. А вы как думаете?..

Как ни странно, но снова придется говорить о творчестве Высоцкого. Почему? Да потому, что нравственность

того требует. А нравственность требует ясности в вопросе понимания правды. Вот в «Балладе о правде и лжи» Высоцкий утверждает, что между правдой и ложью нет разницы, «если и ту и другую раздеть». Но ведь сам смысл слова «правда» поглощает собой все (кроме истины), включая даже ложь. То есть правда имеет в себе самой как собственный компонент и ложь тоже, как намеренное искажение самой себя. Иначе говоря, отождествление правды и лжи, допущенное Высоцким, ложно, а значит, и безнравственно. Причем последнее утверждение абсолютно, так как не полагает собой никакой возможности оправдания. Вот в чем состоит правда о Высоцком. Впрочем, если Высоцкий был глуп, то тогда... Но он в том замечен не был, а значит, был вполне лукав...



ИРИНА ГОРБАНЬ

Донецкая область,
г. Макеевка

*Межсезонье...*

Спокойными шагами по тропинке
Приходит долгожданная пора,
То ветерком одарит, то дождиной,
А то прогреет солнышком с утра.

Я зонтик покажу веселой тучке:
— Тебя я не боюсь! Дождем пролей!
Чтоб маленькой девчонке-почемучке
Еще увидеть прелесть сентябрей.

Пусть напоследок радуга-сестрица,
Заманивая в ельник грибников,
Улыбкой тронет радостные лица
С корзинами идущих стариков.

Еще в пути... А лето — на исходе.
Я межсезонье в гости позову.
Пусть ветерком на званный бал приходит,
Росой умоет сорную траву.

И та девчонка-хохотушка ловко
Пройдет по ряду скошенной стерни,
Венком украсит нежную головку,
Умчится в даль. Попробуй, догони!

Ей все равно, что скоро будут вьюги,
Что листья упадут, уйдет вода.
Но есть секрет у осени-подруги:
Она душой, как юность, молода.

Лета бабьего карнавал

Мне осень рассказала по секрету,
Дыханьем ветерка листву подняв,
Что скоро в парке будет бабье лето,
На праздник этот пригласит меня.

— Готовься, — говорит, — неси букеты
И бусы из калины подбери.
Деревья веселят багряным цветом,
Гулянья будут с ночи до зари.

Я не держу в секрете бабьи годы:
Не молода и сорок с лишним пусть,
На фоне увядающей природы
Я в юбках кружевных еще смотрюсь.

Я точно знаю, что не одинока
В желанье встретить карнавал чудес,
Я подожду до призрачного срока
И уведу подруг в волшебный лес.

И в теплые закаты в бабье лето
Багряный лес устроил листопад,
И шелест листьев оживает где-то,
Я подпеваю тихо, невпопад...

Подожду до весны

Я сменила гнев на милость:
Не ругаюсь, не кричу,
Я, наверное, влюбилась,
Шар земной обнять хочу.

Звезды ярче, небо — выше,
А река — роднее нет.
Я березку сердцем слышу,
Я люблю весь белый свет!

Закружилась вихрем в танце,
Отойди, честной народ!
На стене в зеркальном глянце
Отраженье в пляс зовет.

Хорошо! Душа резвится!
Вдруг услышала клаксон...
В подсознание тают лица...
Просыпаюсь... Это — сон...

Потянулась... полежала,
Разомлела ото сна,
За окном листва дрожала,
Значит, это не весна.

Скоро — осень, снова — стужа.
До весны я подожду.
По карнизу неуклюже
Капель стук — привет дождю!

Я дождусь любви весенней!
Полюблю весь белый свет!
Будет так! И нет сомнений!
Вы мне верите? Я — нет...

Скоморох любви

Призыв любви... Души водоворот...
Комок в груди: ни выдоха, ни вдоха.
Любовь стояла долго у ворот
В одеждах рваных, в шляпе скомороха.

Она ждала. Я знаю: не меня.
На окнах иней рисовал узоры,
Меня призывно за порог маня,
А я стою одна, задвинув шторы.

И снова жребий на меня падет:
Глумиться, танцевать на углях страсти.
Не верьте, люди, жизнь моя не мед.
Есть в ней всегда терзанья и напасти.

В июле, сентябре — зима в груди,
И скоморох любви меня не тронет.
Не верю! Знаешь, клоун, уходи!
В слезах надежда, как булыжник, тонет.

Забыла... Кануло на дно времен...
А шпаги пусть, как молния, схлестнутся!
Но скоморох, не помнящий имен,
Стучит в калитки. Может, отзовутся?..

Взбалмошная толстушка (шутка)

Я теперь совсем не бью посуду,
Переполнен чашками буфет,
В своем доме никогда не буду
Уплетать заманчивых конфет.

Вместо чашки — зеркало разбила.
Вдребезги! На мелкие куски!
Вспомнила слова того дебила,
Что грубил безбожно от тоски.

Целлюлит и бедра, а походка...
Враз меня на землю опустил,
Что не лебедь я, а вся лебедка
И еще печеньем угостил.

И, глядясь в открытое окошко,
Сделала прическу, макияж,
Грациозна стала, словно кошка,
Взяв каблук «а-ля второй этаж».

И пошла гулять тенистым сквером.
Носик — кверху, волосы — вразлет,
Чтобы тот мужик на лавке скверный
Потерял бы челюсть наулет!

Я иду, каблук слегка качает.
Шаркнула у лавки. Вот позор!
Только вижу: старый дед скучает,
Устремив под ноги тусклый взор.

Опоздала. Для кого старалась?
Съесть конфетку, что ли, для души?
Я к себе почувствовала жалость...
Вижу: тот дебил ко мне спешит!!!

Строгое руководство (шутка)

Как никогда, печет светило,
И не спасает кроны тень,
Мне руководство запретило
Гулять под солнцем целый день.

Гулять! Вот это объявило!
А кто гулял? Идет процесс.
Я улынулась шефу мило,
Как бы не вышел тут эксцесс...

Тихонько в уголке на стуле
Я примостилась за столом,
А в кабинете гул, как в улье,
Работает огромный дом.

Осталась маленькая справка,
Усталость тоннами коплю.
Пусть подождет пакет из Главка,
Я на работе чутко сплю.

И вместо мягенькой подушки —
Мой драгоценный кулачок,
А две соседки — просто души!
Рты на замочек и — молчок!

Я чутко сплю, а тут всхрипнула
(Вот на горячем и бери),
Подружка поздно локтем ткнула:
Я вижу шефа у двери.

А руководство — право дело!
Взяло сотрудниц «на крючок»,
Само от солнца размлело,
Уснуло в кресле... Мы — молчок!

Вишневый праздник

Дурманит нежный аромат,
Вишневый сок измазал руки,
В саду четыре дня подряд
Идут уборочные муки.

По саду дружно разбрелись,
В руках у каждого ведерко,
Наташка прикрепила лист
На носик, и пошла уборка.

Деревья низкие стоят —
Ты только протяни ладошку.
Здесь вишни гроздьями висят.
— Давай ведро, неси лукошко!

Мелькают ягоды в руках:
Четыре — в рот, еще немножко,
И только в розовых мечтах
Ей норму выполнит Сережка.

Рубином красным на щеках
Застыли капли спелой вишни,
А у Сережки на руках
Ведерко оказалось лишним.

А через несколько часов
Все собрались у края сада,
Сережкин взгляд важнее слов,
Намекон лишних здесь не надо.

Вишневым соком по щеке
Слезинка счастья пробежала.
Наташка в тоненькой руке
Ведерко полное держала.

Саксофонист

Ночь. Звезды. Берег отдыхает.
Речушка продолжает путь,
Фиалка так благоухает,
Что до утра мне не уснуть.

Повеял ветерок беспечный,
Сверчок запел, залаял пес,
Звук саксофона безупречный
В мир музыки меня унес.

Я потихоньку здесь присяду
И музыканта не спугну,
Я удивлюсь его наряду,
Увидев желтую луну.

И вижу, как он нежно тронул
На шее «бабочку» свою,
Одернул фрак и вдруг со стоном
Он прошептал: — Я на краю...

И саксофон у речки ожил.
Он — гений в мастерских руках,
Он девичьи сердца тревожил
И видел слезы на щеках.

Был музыкант давно не молод
И в жизни много повидал.
Остался в сердце серый холод
И сцена... ей он все отдал...

А музыка плывет над речкой,
Я слышу нежный голосок.
А время — слишком скоротечно.
И серебром блестит висок...

Сережка и морошка

Птички радостно резвятся,
Чуть колышится трава,
Ах, какое счастье, братцы,
Просто кругом голова!

Мы идем, в руках лукошки,
По колено сапоги,
Наберем сейчас морошки,
Утром будут пироги.

Разбежались по болоту
И, наметив рубежи,
Дружно вышли на «охоту».
Скорость: за руки держи!

Вдруг услышали: Сережка
Всех зовет за камыши,
Побросали все лукошки
И на зов его спешим.

Где Сережка, где морошка?
Тишина стоит кругом,
А вернулись — все лукошки
Перевернуты вверх дном.

Улетело настроенье,
Нет морошки, тут хоть плачь.
Пироги опять с вареньем...
Ну, Серега, ну лихач!

Только дома все узнали,
Как медведь морошку ел,
Не пойдем в такие дали,
Есть у страха свой предел.

Греет солнце понемножку,
Не колышется трава,
На болото за морошкой!
Снова кру́гом голова!

Вошебник-фотограф

Я глазами рисую картины:
Небо, солнце, густые леса,
Солнцем залиты поймы, низины,
Птичьи в небе слышны голоса.

Перед взором мелькают эскизы,
Словно вышивки нежный стежок,
И природы цветные капризы
Обновляют далекий лужок.

Родничок где-то звонким журчаньем
Манит путника чистой водой,
Рядом ива склонилась печально
И плывут облака чередой.

И трава под лучами искрится,
Вижу радугу там, в стороне,
Где-то птица степная кружится,
Посылает приветствие мне.

Я полна этим радостным счастьем!
Буйством красок играет лужок.
Кто к природе всем сердцем причастен,
Добавляет в картине стежок.

Спортсменке

Красива, статна, благородна,
Осанка — зависть королев.
Пока ты в спорте — не народна,
И в песне ты пока — запев.

Средь юниоров — чемпионка,
Твое призванье — высота,
С трибун «болеют» очень звонко,
В твоём величье — простота.

Разгон, рывок, прыжок до неба,
Над перекладиной летишь.
И чистый взгляд увидеть мне бы,
Тебе — увидеть бы Париж.

Наташка, ты еще в полете,
Не перепрыгнула зенит.
Осталась девочка на взлете,
Медаль, как колокол, звенит...

Палата... Белые халаты...
Сквозь зубы стон преодолев,
Все — в прошлом. Где вы, постулаты?
Где зависть звездных королев?!!

Олимпиада без Наташки...
А может, встанешь и пойдешь?
В палате белые ромашки,
В руках — невидимая дрожь.

Открою нараспашку двери
И в руки дам судьбы зарю.
В тебя, спортсменка, очень верю!
Любовь болельщиков дарю.

Рисовала девочка картину

Рисовала девочка картину,
Вглядываясь пристально в закат,
Мягкой кистью синюю марину
И волны огромный пережат.

На мольберте холст пришпилен плотно,
Носик в краске (ей не до зеркал),
Рисовала девочка охотно
Бухту или заводь между скал.

И на горизонте бригантину,
И валун в сторонке под скалой.
Рисовала девочка картину,
Любовалась тихой волной.

Ветерок, играя парусами,
Зацепил безоблачную даль.
Девочка с красивыми глазами
Рисовала море и печаль.

Где-то чайка кружит над волною,
В море отражается луна,
Два мазка, и девочка с собою
Унесла шедевры полотна.

Не спугну тишину

На полях колосится пшеница,
Словно море, играет волной,
Одинокая редкая птица
Нарушает природы покой.

Где-то рядом подсолнухов поле
Желтизной привлекает шмелей.
Ах, какое святое раздолье!
Утонуть бы в цветах поскорей!

Я нарву колоски и ромашку,
И полыни возьму стебелек,

Грубоватую белую кашку
Я вплету вместе с солнцем
в венок.

Я душою кривить не умею,
Только музыку слышу вдали,
И спугнуть эти звуки не смею,
Надо мною летят журавли.

Этих птиц я душой принимаю,
Лишь бы приняли птицы меня!
В мыслях небо, как мать, обнимаю,
И цветы, и луга, и поля.



ЛЮДМИЛА ВАМБА

Испания, г. Бильбао



* * *

Разве можно забыть тот октябрьский лес,
Когда воздух дышал тишиной и покоем,
И не виден еще был кладбищенский крест,
Пустотой поразивший и горем?

Разве можно забыть тот пьянящий восторг,
Когда губы слились в поцелуе глубоком,
И по телу пошел электрический ток
Непрерывным и мощным потоком?

Разве можно сравнить поцелуй и печаль?
Разве время над ними стоит и не властно?
В октябре прошептала я маме: «ПРОЩАЙ».
До сих пор говорю тебе: «ЗДРАВСТВУЙ»!

1990

* * *

Прилетай ко мне, любимый, прилетай!
Окрыленная, помчусь тебе навстречу.
Снова с нами будет месяц май.
Не замечу слезы, не замечу.

Покажу тебе Бильбао, покажу,
Гугенхэймом* будем любоваться,
Про Мигеля Унамуно** расскажу,
В парке сядем, будем целоваться.
А когда в свою обитель приведу,
Ты увидишь стол, накрытый к встрече.
Выпьем по чуть-чуть (имей в виду)
За неповторимый этот вечер.
Прилетай! Мой милый, прилетай!
Как я по тебе истосковалась...
Не скучай, любимый, не скучай!
Ждать совсем немного нам осталось...

2009

* * *

Ты на ...цать секунд
Задержал свой взгляд:
И в зрачке — корунд,
И ресниц — оклад,
На меня пахнул
Будто веером,
И рукой взмахнул,
Как пропеллером.

* Гугенхэйм — музей-арт в Бильбао.

** Мигель де Унамуно — испанский писатель.

Получила ток —
Твой немой призыв.
Головы кивок
Не принять разрыв.

Вот такой расклад:
И струной звенеть,
И любить твой взгляд...

* * *

А знаешь, любовь умереть не может.
Она меня сна когда-то лишала,
И на вершине счастья качала,
Да и сейчас сердце тревожит.
Не может любовь умереть. Не может.

А знаешь, ТОТ про любовь утверждает,
Что ее нет, что она умирает,
Которому чудо это не снилось,
Любовным огнем не воспламенились
Ни сердце, ни разум. Пусть утверждает...

А знаешь, еще как в жизни бывает?
Любит один. Он же страдает.
Другой любить себя разрешает.
Любовь и здесь не умирает.
Поверь. И такое в жизни бывает.

Любовь никуда исчезнуть не может.
Была, есть и будет. И вера поможет,
Просто желанье любить. ЕСЛИ
Знаешь, исчезнуть ЛЮБОВЬ не может.

* * *

Рукопожатие первое:
Легкое, радостно-нервное.

Теплых ладоней касание,
Глаз визави сияние...

Нотки дрожащего голоса
Зернами спелого колоса

Падают в шутках каскадами
И мысленными раскладами

Продлить, задержать свидание
И приложить старание.

Дать выход эмоциям буйству,
Дать в сердце родиться чувству

Трепещущего восторга,
Ответственности и долга.

Жизнь продолжается...

Молодую уже не буду,
Но и старость не тороплю:
Несущественное забуду,
Неприятное перетерплю.

Ну и что же, что вся седая?
Как кружится моя голова,
Когда слышу я звон трамвая
И слова твои — колокола.

Чашку кофе закажешь в баре
И добавишь туда коньячку.
Ты от встречи со мною в ударе!
Я при встрече с тобой хохочу!

* * *

Уплыли годы, как вешние воды,
К чему нам теперь кокетство?
Над нами уже небесные своды,
Во внуках живет наше детство.

Давай мы с тобой обо всем забудем,
Уедем подальше, в горы,
Там на рассвете друг друга разбудим,
Будем вести разговоры,

И любоваться горным пейзажем,
И делать видеосъемку,
И целоваться (об этом не скажем).
Потом будем петь без умолку.

Музыку слушать, следя за дорогой,
Когда будем ехать обратно.
Как вешние воды, уплыли годы.
Потеряны, жаль, безвозвратно...

Я сильная!

Снаружи сухость глаз, а там, внутри,
Девятый вал, цунами и вопросы:
Зачем? Когда? Кому ты подарил
Туманы наши, утренние росы,
Деревьев шум и пенье соловья,
И запах ландыша, и радугу над полем?
Нас было двое! Двое — ты и я!

Я сильная. Я справлюсь с этим горем.

* * *

Над Бильбао идут дожди...
А мне хочется только смеяться,
Повторять много раз: «Не жди!
Нам не нужно больше встречаться».

Мне Бильбао и дорог и мил.
Я так долго к нему стремилась...
Что Смоленск? От холодных зим
Стыла кровь, ледяной становилась.

Пусть в Бильбао идут дожди,
С ними легче писать стихами.
В голове молоточек: «Не жди.
Ни Москва, ни Смоленск.
Я не с вами».

Танцплощадка

Живая музыка звучит
Под куполом беседки,
И речь испанская журчит
На лавочке соседской.

О чем-то быстро говорят
(я их не понимаю).
Глаза испанские горят,
Друг друга обнимают.

А-а-а, приглашают танцевать.
Поют «Сиелито линдо»*.
За эту музыку отдать
Готова все. И видно,

Как пары кружатся.
Толпа
Без возраста и пола.
И только я пока одна.
Но я в Бильбао. Дома.

Под небом Андалузии

Кто в Андалузии не был,
Тот не узнает блаженства,
Увидеть землю и небо,
Танцующее совершенство
Испанок, жгучих и страстных.
(В Испании лишь на юге)
Очами сверкнет — и ясно,
Станцует с подругами в круге.

Испанец гитару настроит
Бронзовыми руками,
Испанка веер раскроет
И застучит каблуками.
На голове мантилья,
Шлейфом спины коснется,
Загадочная сегидилья
В сердце ее забьется.
Веер сложит раскрытый,
Руки — над головою...

Старый мотив, забытый,
Соединится с мечтою...

* Сиелито линдо — «Прекрасное небо» (мексиканская народная песня).

~ • ~

НАТАЛЬЯ ПЕСЕНЬКО

Республика Беларусь,
г. Минск

~ • ~

Бездомный

На пустых переулках,
Средь громады домов,
Отзываются гулко
Эхом звуки шагов.

Фантастичен в тумане
Свет ночных фонарей,
Разбрелись горожане
По домам поскорей.
В серость улиц продрогших
Заползает тоска.

Неуютно и зябко,
А обида — горька...
Быть щенком в подворотне,
Быть бездомным котом,
Снегом быть прошлым годом
И опавшим листом,
Не ко времени быть
И не к месту совсем,
Просто в холоде стыть
Нелюбимым никем.

13.11.2009

Что такое счастье?

Что такое счастье? Ощущенье
Легкости полета над судьбой.
И бегут счастливые мгновенья,
На душе — блаженство и покой.

Что такое счастье? Это — вечер,
С мягким светом лампы и... с тобой.
У двери тебя с работы встречу,
Ты уставший, но такой родной.

Что такое счастье? Это — ужин
На двоих, пускай не при свечах.
Огонек в душе нам больше нужен,
Мы согреемся в его лучах.

Что такое счастье? Это — дети,
Малыши и взрослые вполне.
Ничего дороже нет на свете,
Ведь с детьми мы счастливы вдвойне.

Что такое счастье? Ощущенье,
Что я — часть единого того,
Что сольется в полном совмещенье
С половинкой сердца твоего.

03.05.2009

Маргарита

Мимозы под ноги, и прочь
Из жизни прошлой.
Круша все, улетаешь в ночь
Над скукой пошлой.

Презрела мнение толпы,
Любя и веря.
За гранью мелкой суеты
Твоя потеря.

И душу Воланду в залог,
Любовь спасая!
Людской порок у твоих ног,
Но ты — святая!

Пусть бал затеял Сатана,
В крови корона.
Весь ужас пережить должна —
Любовь за тронном.

Ты — королева, ты сильна,
Любовью властна.
Какой бы ни была цена —
Ты так прекрасна!

21.07.2009

Женщина с прошлым

«Женщина с прошлым»...

Но что это значит?
Значит, тайком эта женщина плачет.
Плачет о том, что могло быть —
не сбылось,
Или о том, что болит, не забылось.
Женщина с прошлым — глаза, как у лани,
Радость с тоскою, меж ними нет грани.
На новобрачных взирая с улыбкой,
Знает, что счастье так хрупко, так зыбко.
— Пусть вас Господь от беды охраняет, —
Искренне женщина с прошлым желает.

05.09.2010

Абсент

Сахар, лед, безумство и абсент...
В нем зеленое коварство дикой феи.
Непривычный у тебя акцент,
Непривычные в букете орхидеи.
Я тебе так рада, диссидент...

Ты почти забыл родной язык,
Я почти забыла твои песни.
К шуму волн и чайкам ты привык,
Мне в лесу куда как интересней.
Не грусти, мой друг, ну что ты сник?

Ты женат на музыке, а я...
У меня, ты знаешь, все в порядке,
К счастью, есть работа и друзья,
Есть стихи, но это для разрядки.
...есть, конечно, у меня семья...

06.07.2010

*Просто матери, просто
Марии...*

Снова тополь зацвел,
Снова ветер разносит пушинки,
В парке старый костел...
Дверь... вхожу, у порога заминка...
Темный лик на стене
Просто матери, просто Марии...
Мне бы с ней в тишине...
А в костеле идет литургия.
Для нее он был сын,
От мужчины он или от Бога,
Только он был один!
С кровью СЫНА к Голгофе дорога.
И терновый венец
В сердце матери впился шипами,
Был желанным конец
Мук распятого сына властями.
Боль, понятная мне,
Просто матери, просто Марии.
Мне бы с ней в тишине,
А в костеле идет литургия...

03.06.2010

Радость моя

Морозный день, и снег искрится
На солнце так, что резь в глазах.
Все позади: и в масках лица,
И эта боль, и этот страх.

Мой мальчик, маленький комочек,
Впервые дышит у груди.
Безгрешный, чистый ангелочек
Большого мира посреди.

Смешно причмокивают губки,
Головкой крутит впопыхах,
Отца счастливая улыбка,
И слезы радости в глазах.

Сын взрослый, лет прошло немало,
Была я счастлива вполне,
Но большей радости не знала
Рожденья матери во мне.

09.06.2009

В толпе

Толпа снует, она безлика,
Все суета, а где же суть?
По мегаполису разлита
Огромной серой массой ртуть.

Без лиц тела мелькают мимо,
На маске пустошь вместо
глаз,

И безразличие незримо
В ней инфицировало Вас.

Но Вы уже часть этой массы
И Вас несет ее поток.
Большого города гримасы
И этот город к Вам жесток.

20.11.2009

*Плесни, криничка,
радости в ладошки*

Плесни, криничка, радости в ладошки,
Чтоб смыть с души печаль дневных забот,
Водой студеной освежи немножко,
Испить дай свежесть родниковых вод.
Земля родная, припадаю сердцем,
Обнять тебя мне не хватает рук,
Избави Бог, твоим стать отщепенцем,
И на чужбине оказаться вдруг.
Остаться мне позволь твоей травинкой,
Я приросла корнями глубоко.
Пусть не дорогой, узкою тропинкой
Идти по жизни вовсе нелегко.
Чем солонее хлеб, он тем же слаще,
Чем дольше ночь, тем радостней рассвет.
На всей Земле твоих озер нет краше
И зеленой дубрав на свете нет.

13.08.2010

Под дождем

Пахнет кожа солнцем и дождем,
В капельках на теле отраженье.
Снова дождь... без зонтика вдвоем...
Силы неуемной притяженье.

Двух промокших притяженье тел,
Нагота в одежде и рельефность...
Дождь-бродяга, не стыдись, посмел
Подчеркнуть одежды бесполезность.

Капают дождемки на лицо,
По плечам стекают ручейками.
Ну а если этих беглецов
Просто взять и осушить губами?

09.07.2010

Гроза

Вдыхая горький аромат полыни,
В заре закатной в ожиданье гроз,

Затихнет все, на краткий миг
застынет,
В предгрозовой войдя анабиоз.

Стоят деревья, будто неживые,
Листок не шелохнется — ветра нет.
Прохладой дышат тучи грозовые,
А день уставший солнцем перегрет.

С минутой каждой выше напряжение,
Как воздух густ, он пряностью томит!
Еще минута... светопреставление
Перун затеял — грозен он, сердит.

Рыдает небо, рваное на части,
Потоками на землю снизодя,
И охмелевший от безмерной власти,
Хочет громогласно Бог Дождя.

28.06.2010



ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ



Осень

Листья опавшие — годы прошедшие,
Осень — прожитого итог.
Что-то нежное отгоревшее,
Хрупкое, как цветок,

Отродясь распустилось и вызрело,
И безмолвно манит за собой
То ли в сини к высотам немислимым,
То ли ближе к земле, на покой.

Эта нежность без пылкого трепета,
Словно иней на сердце печаль:
Умирного рокота лепетом
Шторм осенний не перекричать.

Я все чаще гляжу по-отечески
На «подлесок» девиц молодой:
На пороге открывшейся вечности,
Не тревожась мирской суетой.

Только сердцу по-прежнему хочется,
Чтоб кипели цветением сады...
На пороге стою в одиночестве,
Не лелея хрустальной мечты...

Приметы осени

Приметы осени души:
Печали горьких размышлений,
О невозвратном сожалений
И взгляд безрадостный на жизнь...

Приметы осени просты,
Для глаз несведущих незримы —

Они почти неуловимы
В зеленом шелесте листьев:

Цветенье пожен и лугов
Подернул пепел увяданья,
Небесным предназначеньем
Сияет золото хлебов.

Зажглись лимонной желтизной
Кой-где листочки на березах,
Обильнее на травах росы,
Туманы гуще над водой.

Пронзая августовский зной,
Гляжу в лазоревые дали
И вижу осени печали:
И грязь, и дождик затяжной.

(Зимой узорами стекло,
Но полыхнут среди морозов
Листвой зеленою березы
И гроздь черемухи в окно...)

Витало нимбом надо мной
Доныне прошлое незримо:
Горят последний фотоснимок
И пожелтевшее письмо.

В огне забытые слова
Беззвучно тают, словно листья,
И замечает след их мгlistый
Навеки неба синева.

Приметы осени души
Для глаз несведущих незримы,
Они почти неуловимы,
Но в них, как в зеркале, вся жизнь...



НИКИТА СЕЛИВЕРСТОВ

Украина, г. Черкассы

*Предпоследнее стихотворение*

Когда все ясно — незачем писать,
У Бога отнимать «чужие строки»,
С души сомнений пепел отрясать,
И рифмовать с пророками пороки.

Пусть русский слог не умер —
он не мой,

Им утешается душа народа,
Чтоб жить. А я и так живой,
Как безутешная российская природа.

Нас «развели» с народом на любви,
Подсунув идола словесного замеса.

Я говорю: пусть смолкнут соловьи!
Мне вторит эхо девственного леса.

Друзья, не лучше ль будет помолчать
Да призадуматься, а сыр отдать
лисице:

Какая нам еще нужна печать
На этой истрепавшейся странице?

Вернем слова из головы вещам —
Пускай понятия пребудут в мире,
И, обратившись к собственным мощам,
Поставим крест на временном кумире.



ЕВА ТАЛАЯ

Украина, г. Харьков

*Стихи приходят...*

Стихи приходят, они небес благословенье,
Звезды моей немеркнувший пульсар,
Они портал для нас в другое измеренье,
Где парой может быть и лед и жар.

Я помню день, когда я замолчала,
И слов напрасных было просто жаль,
Тогда душа тихонько стих слагала,
И научила разум видеть ДАЛЬ...

За каждую строку судьбу благодарю,
За каждым словом чувство или облик,
За каждой буквой часть души дарю,
За каждой точкой сердца отклик...

Я в силу слова верую теперь,
В стихах понятнее исток и финиш,
Читая, ты мне просто верь,
Вся истина подвластна им лишь!

Моя рука, ведомая душой,
Напишет то, что сердце скажет...
А разум лишь помощник мой,
Что знает МИР — то и расскажет!

10.05.2010

Я человек иной эпохи

Мне, к счастью, суждено было родиться
В эпоху кардинальных перемен.
Но важно, как всегда, не ошибиться,
Где истина для всех времен!

А мы ведь просто люди...
Мы в теле хрупкие своим,
Зато душа дана на веки...
И это мы никак уж не поймем!

Широты делят нас, меридианы,
Религий смута, Веры чистота,

Враги, друзья и в чем изъяны,
Мы ищем правду — где она?

А правда есть — у каждого своя,
Лишь истина Всевышнему известна!
И я не враг тебе, и не чужая я!
Мы все — одно, едины вместе!

Единым небом улетают облака,
Единым воздухом планета дышит,
В себе природа человека обняла,
А человек ее давно не слышит!

Мы разумом заменим чудеса,
Привычками убьем надежду,
Любовь не пустим в небеса
И правду облачим в одежду!

Но в чуде так нуждается душа,
Надежде нужен вольный ветер,
Любовь земная не добавила ума,
И голой правды мы не встретим!

Я знаю — я человек иной эпохи,
Вернее, лишь заря, ее рассвет...
Я не одна — мы собираем крохи,
Любви и веры, чуда, правды свет!

Что б жили мы вне расстоянья,
Вне времени и без преград!
Любви небесной мы создания!
Мы прежде ЛЮДИ, а потом НАРОД!

Я ЧЕЛОВЕК!!!
МЫ МОЖЕМ ЖИТЬ ИНАЧЕ!
В КОРОТКИЙ ВЕК...
НЕ ВЫЖИВАТЬ, А ЖИТЬ ПОМОЖЕМ!

18.07.2010

* * *

Я здесь... и нет меня нигде...
Я здесь... И нет меня нигде...
Я белый лебедь в белом танце.
Живу... Но это лишь во сне...
Взмахну крылом, оставив рябь на глянце!

Похоже на картину сказочного сна,
Но ты ее в багете не оставишь,
Моя мечта, она ведь тоже и твоя,
Забыть ее себя ты не заставишь!

Неуловимо и непостижимо гениально
Судьба акцент расставит и решит,
Любовь ли, ненависть реально
Прийти к душе твоей велит.

Я лишь прошу оставить место мне,
В тех дальних уголочках мироздания,
Где я смогу сказать сама себе,
Что не нарушила законы созидания.

Я ЗДЕСЬ... И НЕТ МЕНЯ НИГДЕ...
НО В ЭТОЙ ЖИЗНИ — ОТДАЮ ЕЕ ТЕБЕ!

24.04.2010

Дружба

Не бывает дружбы без любви,
Без нее она теряет святость.
Не бывает в жизни легкого пути,
Коль любовь в пути не в радость.

Дружба верная бывает вопреки,
Дружба близкая бывает в солидарность,
Друга верного жди помощи руки,
Другу близкому — хвала и благодарность.

К настоящему же просто приходи
И в печаль, и в праведную радость,
Настоящий друг не в прихоти,
Разделит с тобой и соль и сладость!

05.11.2010

Я пешка!

Тебе везет, коль ты родился Королем!
А мне, что б выжить, нужно стать Ферзем!
Меня судьба бросает первой в бой,
Потом лишь все идут за мной!

Ферзем любая Пешка может стать,
Но ты попробуй продержаться, устоять.
Когда судьбою правят планы Игрока,
И ты не в силах предсказать шаги врага.

Вся жизнь доска — на ней идет игра,
Есть правила — напрасно верить в чудеса.
Но все же Пешка Игроку важна,
То ЖЕРТВОЙ, то НАДЕЖДОЙ быть должна!

А что же Пешке? Неужели ей никак
На ход судьбы своей не повлиять?
И неужели нужно только умирать,
Что б вне доски свободной стать?

В конце игры заботливой рукой
Игрок составит Пешек в ряд простой.
А впереди еще одна игра...
Где может быть, в Ферзях побуду я!

20.05.2009

Ангел мой, хранитель

Я помню смех, твою улыбку и слова...
И твои мудрые со мною разговоры...
Зачем тебя беда с собою забрала,
Не глядя на мольбы и уговоры?

Я часто детям повторяю все слова,
Которые когда-то мне сказала,
И, вспоминая добрые твои глаза,
Что тосковать так буду — я не знала...

Тобою жизни рано пройдена дорога,
Судьбою слепо прерван твой полет,
Теперь ты у небесного чертога,
Но память о тебе со мной живет!

Я знаю, что ты ангел мой хранитель,
И, слово «мама» с дрожью говоря,
Ты знаешь, дорогой мой небожитель,
Мне не хватает твоего тепла!!!

Судьба решает и располагает...
Тебя уж нет, но я люблю тебя!
Мы знаем — жизни вечной не бывает,
Родных теряя, теряем часть себя...

СПАСИБО, МАМОЧКА МОЯ!!!

26.01.2010

Человеку посвящается

Не будь смешон — ты далеко не царь,
Ты человек, в себя влюблен — а жаль!
Не думаешь ли ты, что примитивен мир?
Не для того ли падали миры, окончив пир!
Цивилизации менялись, ну а ты
Все те же повторяешь вновь грехи!
Нет правил, и трудны порой пути,
Подчас нет сил, но продолжай идти,
Тебя разумным создал Бог не зря,
В тебя Он верил, отпустив любя.
Христос в надежде указал ведь путь,
Который открывает жизни суть.
Ничто мирское не забрать с собой,
Лишь сила духа и бессмертная любовь
Вернет тебя в те райские сады,
Не даст тебе уйти на зов беды,
Ты Человек, ты Бог, раб — тоже ты,
Не торопись разрушить мир и все свои

мечты!

ОШИБКИ ТОЛЬКО НЕ ЗАБУДЬ УЧЕСТЬ
СВОИ!!!

11.04.2009

* * *

Жизнь — коридор и двери...
Стучусь отважно во все двери,
Где ждут, а где незванный гость...
Но все же я в удачу свою верю,
За каждой дверью — жизни часть.

Та дверь, что наглухо забита,
Мне не по силам, но пока
Она должна будет открыта,
Когда найду заветный ключик я!

И в темный зал войду я смело,
Несу с собою искорку огня,
И чтобы мне не страшно было,
Зажгу от искры лампы я.

И буду улыбаться, двери открывая,
А вдруг за дверью будут зеркала,
Пускай они, улыбку отражая,
Не отразят, не дай бог, зла!

И где за дверью солнце всходит,
Лицо подставляю ласковым лучам,
Пусть лишь добро оно пробудит —
Добро, так нужное нам всем!

Но даже если дождь и сырость
За дверью, все равно должна войти,
И проявить всю свою мудрость,
Чтобы надежду снова обрести.

Желаю всем, чтоб зеркала
вам улыбались,
И были званным гостем вы всегда,
И чтобы вам ключи все доставались,
И двери перед вами не закрылись
никогда!

И чтобы искорки для пламени хватало,
Хватало вам душевного тепла,
Чтобы для всех, и вам было немало
ЗА КАЖДОЙ ДВЕРЬЮ СВЕТА И ДОБРА!

Всегда в раю

Белый легкий парус над водой,
Кружевные в небе облака...
Разве же не рай это земной?
Тот, что манит нас всегда!

Говорят, душа всегда в раю,
Ну а мы хотим все отрицать,
И что рай в неведомом краю —
Чудесам на свете не бывать.

А цветы нам молча говорят
о рае,

И чудесность нужно лишь принять,
И духовно нам воспрянуть побыстрее,
Что бы рай земной не потерять!

И когда поймем мы гениальность
В поле голубого василька...
И, преодолев свою ментальность,
Запросто подняться в облака!

Чтобы видеть дальше, чем пределы,
Голос разума и сердца распознать,
И любовь свою дарить без меры,
Рай в своей душе не запрещать!

15.06.2009

В любви

Я в мире этом не случайно живу
Ты слышишь ветра шепот,
И две звезды поют в ночи,
И фея ночи в верхних нотах
Поет, ты только помолчи...

И соткан сон твоих желаний,
И небо в звездах, две свечи,
И сладкая минута ожиданий,
Ты только верь и не спеши.

Не торопись в мечту не верить,
Ты знаешь, для чего тебе она?
Мечта дана, чтоб счастье мерить
И жизнь любить, любовь храня!

Ты слышишь шепот губ любимых,
И глаз любимых видишь глубину,
Слов ветром томно уносимых,
И звезд блаженства высоту?
Я знаю, ты все это слышишь,
И знаешь, что к тебе приду,
И ты обратно не отпустишь,
Подаришь с неба мне звезду!
Научишь магии и волшебству,
Вселенная откроет свои тайны,
Владыкой миру стану твоему.
И знания все эти не случайны.
Они венец, подарок твоих грез,
Любви непостижимая тайна,
Которую мы не берем всерьез,
И забываем будто бы случайно...

Но я терять не буду тайну,
И волшебство, что ты дарил.

Я в мире этом не случайно
Живу — чтоб ты меня любил!!!

ЛЮБОВЬ ВЕДЬ БОГ БЛАГОСЛОВИЛ!

16.03.2010

Из мира в мир...

Любовь жива, любить нельзя заставить,
И не любить себе не запретить,
И никому не в силах ты ее оставить,
В любви нужно всего лишь ЖИТЬ!

Тебе на память звуки имени дарю,
Ты каждый раз услышишь, вспоминая,
Мои зеленые глаза и первую зарю,
Что встретил ты, без сна встречая!

Ты, параллельный мир пересекая,
Мне указал, что где-то есть миры,
В которых я, возможно, не такая,
И там в одном из них есть ТЫ!

Наши миры в ином пространстве,
И где-то мир, где рядом мы!
Кто знает, параллельно ли,
Случайно соприкасаются миры!

Незримо правит кто же нами?
Где есть портал нашей мечты?
Из мира в мир мы пожелали,
Но как пройти, не знаем мы!

Есть мост, что между нами,
Но по нему нам не пройти,
И пусть волшебными шагами,
Ступает таинство любви!!!

* * * 30.03.2010

Весенней ночи я была как гостья...
Ночь позвала меня как гостью,
Восточный танец видела огня,
Ночь звезды рассыпала горстью,
Бездонным небесам их свет даря.

Искры, улетаая к небу, угасали,
С собою забирая чуточку тепла,
На мысли, что покоя не узнали,
Густой вуалью ночь легла...

И, обнажая чувства до предела,
Черемуха в ночи свела меня с ума,
Без чувств и смысла б не имела
Вся эта тайна, знаю — горе от ума!

Ночной шатер, все запахи и звуки,
И не реальный смысл всему дала
Ночь-чародейка, в сладостные муки
С собой в реальность мира позвала!

Сгораю в пепел, с искрой возрождаюсь,
Теряю груз ненужных мыслей бытия,
Я в аромате ночи смело растворяюсь,
Искринкой, звездной пылью буду я!

И не сравнить галактик вечность,
И миг, что ночь искре дала,
Я понимаю жизни скоротечность,
И вечность на мгновение была моя!

И вечное мгновенье жизни бесконечно,
Любовь — исток всего, что ночь дала,
И жить необходимо с чувствами,

конечно,

Иначе смысла нет,
и ночь всего лишь тьма!

06.05.2010

* * *

Я не колдунья — я граница края...
Ты мне сказал, что я тебя сжигаю,
Но разве погубить тебя могу?
Я только чувства в тебе разжигаю,
Решай, на счастье или на беду!

Я не колдунья, мои глаза не манят,
Они всего лишь отражение тебя,

Они все знают
и тебя дурманят —
Ведь ты еще не смог найти себя.

Найти себя под этим звездным небом,
Где мириады звезд сгорают для тебя,
А для тебя важней, как этим летом,
Мои глаза разоблачили бы себя!

Бездонным небесам, усыпанным сияньем,
Я только им признаться и могу,
Что сила взгляда не испорчена желаньем,
Любви прийти в сей мир я помогу!

В моих глазах ты видишь расстояние
От звезд к звезде и от души к душе,
Ты к ним приходишь на свиданье
И понимаешь, что не жить без них тебе!

Я не колдунья, я граница края,
Конец вселенной — если есть ее конец!
И я комета, что, в тебе сгорая,
Любви ВЕЛИКОЙ возложу венец!

И я сама еще совсем не понимаю,
В чем край и есть ли в нем конец!
Но ты подумай, много ли теряю
Я, озаряя край твоих небес?

Я не сжигаю — я сама сгораю,
В твоих желаниях, в твоих небесах,
Прошу тебя, и Бога умоляю —
Не позволяй мне погубить всех нас!

09.06.2010

~ • ~

ГРИГОРИЙ ХАРИТОНОВ

~ • ~

(опыт в жанре японских хокку)

* * *

Красив изгиб реки.
Солнце садится за горы.
Затихли птицы.

* * *

Плещется рыба в реке,
На отдых летят журавли.
Осень пришла.

* * *

В перламутровой глади озера
Отражаются небо и сосны.
Тишина. Спят птицы.

* * *

Солнце садится.
В небе гул самолета.
Долог путь домой.

* * *

Солнце искрится.
Шуршит камыш.
Плещется рыба в реке.

Парадоксы природы

Реальность сурова.
Виртуальность мягка.
Мир разноцветный.
Черно-белое настроение.
Молодость быстро состарится.
Старость никогда не кончается.
Чем громче кричишь,
Тем хуже слышно.
Чем тише кричишь,
Тем лучше слышно.

Владимир Бовкун

ПОБЕГИ

(рассказ)

...не заставляйте своих ангелов плакать — они, как люди, плохо видят сквозь слезы и могут случайно пропустить что-нибудь важное в вашей жизни...

ЧАСТЬ I

1

Когда Владимир Васильевич медленно всплыл из глубины чистого, прозрачного ужаса, у него появились мысли. «Так... нужно немедленно расставить все по порядку... я, Бельский Владимир Васильевич, потомственный атеист, проснулся и увидел... Мама! Спокойно, при чем тут мама?... Он меня не видит, есть время разобраться...» Но ужас снова накатил ледяною волною, и голова Владимира Васильевича стала огромной и совершенно пустой.

Владимир Васильевич с вечера выпил. Впрочем, он отлично помнил, как ложился и засыпал, поэтому ничего из ряда вон выходящего в этом событии не было. И приписать похмелью происходящее не представлялось возможным.

А происходило следующее.

Сквозь сон Владимир Васильевич услышал шаги по комнате и страстно захотел пить. Одновременно он соображал: кто бы мог ходить по единственной комнате его квартиры, если Даша еще третьего дня в сердцах сломала ему нос, журнальный столик, вешалку в гардеробе и ушла, кажется, навсегда. При этом воспоминании нос будто спохватился и болезненно заныл. Тогда Владимир Васильевич открыл глаза... И сразу закрыл обратно, мгновенно забыв о строптивой Даше, о носе, даже о жажде, проваливаясь в ватное, безумное и беспомощное состояние... Но схваченное изображение от этого не погасло, навсегда оттиснутое в мозгу...

Спиною к дивану, на котором и располагался Владимир Васильевич, стоял *ангел*. Сомнений возникнуть не могло, поскольку единую, монолитную плоть с этою спиною составляли начала огромных, мощных и тяжелых крыльев, таких шелковистых на вид, что хотелось немедленно их погладить. Составленные из перьев невероятной величины и окраски («небесная лазурь» упорно лезло в голову Владимира Васильевича), эти крылья от предполагаемых лопаток *существа* поднимались над его плечами, красиво загибались и ниспадали до полу. Хотя

из-за них казалось, что *ангел* немного сутулится, но ростом *он* был никак не менее двух с половиною метров.

Владимир Васильевич приоткрыл глаз такую узкою щелкою, что сквозь ресницы видел нехорошо. Но все же достаточно.

Ангел, осматриваясь, неторопливо двигался по комнате. С каждым шагом крылья *его* трепетали и ерошились. Проходя мимо журнального столика с подвязанною ножкою, на котором телефонный аппарат, пустая бутылка из-под коньяка, чайная чашка и тарелка с засохшею кожицею лимона, *ангел* протащил по нему крыло, словно огромную штору, и свернул все на пол, не обратив ни малейшего внимания. Вообще довольно большая по городским представлениям комната Владимира Васильевича *ангелу* оказалась тесною. «Если, к примеру, *он* совсем расправит крылья, то непременно упрется в стены», — зачем-то подумал Владимир Васильевич.

И откуда-то вспомнил «Отче наш», но был не уверен в абсолютной точности. «А ну как совру, — пришло ему в голову, — ведь непредсказуемо...» Осторожно сложил пальцы шепотью и быстро перекрестился под одеялом. В это время *ангел* стоял у противоположной стены и, чуть сгорбясь, рассматривал черно-белый поясной портрет длинноволосого музыканта, в круглых очках на горбатом носу, склонившегося над клавишами музыкального инструмента. Затем, словно посетитель художественной выставки, *он* перешел к другому изображению, к большой фотографии, составлявшей на стене симметричную пару портрету. На *ангела* смотрела наполовину обнаженная дама в белом кружевном белье, с чрезмерною грудью и довольно глупым лицом. Владимиру Васильевичу стало стыдно.

— Здравствуйте... — сквозь одеяло произнес Владимир Васильевич. Он начинал приходить в себя. «Двери вроде заперты. В окно, что ли? Дурак, он же *ангел*!» — ругался с собою Владимир Васильевич. «Только не материться, вдруг мысли читает! — пришло ему в голову. — Только не...» Но, как это обыкновенно бывает, немедленно побежали строкою в голове всякие глупости. При этом Владимир Васильевич по-прежнему лежал в позе зародыша, накрытый по самые глаза пледом. Внезапно он понял, что если прямо сейчас, не медля ни секунды, не смочит горло — конец.

— Чему обязан? — просипел Владимир Васильевич по-прежнему через одеяло.

Ангел неторопливо обернулся. Совершенно белое лицо поразило Владимира Васильевича благородством и какою-то безусловною, окончательною красотою: его словно тачал из мрамора сам Творец. Но особенно удивительными показались, естественно, глаза. Глубокую, безысходную печаль, какое-то непоправимое горе обнаруживал их тяжкий взгляд на Владимира Васильевича, столь легко проникая, казалось, в любые его потаенные мысли и поползновения, что Владимир Васильевич перестал стесняться:

— Позвольте я того... Схожу-с... — «с» он употребил неожиданно для самого себя, но так удачно это ему показалось, что из кухни, почему-то не обнаружив там водопроводного крана, он все-таки вернулся в совершенно ином настроении. *Ангел*, склонив набок голову, читал названия книг на полках.

— Может быть, чаю? — Владимир Васильевич решился действовать бодро и раскованно, но невольно сыграл ножкою как-то уж совсем по-лакейски.

Ангел не ответил, огляделся, приподнял стул, осторожно стукнул им в пол, проверяя на прочность, и сел, подобрав на колени крылья, словно полы обыкновенного пальто. Тело *его* как-то непостижимо не выглядело нагим при отсутствии всяких одежд.

Обстановка в комнате Владимира Васильевича выглядела бы вполне сносно (довольно дорогой комод, кожаный диван, к нему — два кресла, журнальный стол и пара стульев недурной кустарной работы; огромный монитор компьютера, на полу — ворсистый ковер, вполне еще приличные занавески из тюля на окне, одна из которых свесила хвост наружу, в открытую по-летнему створку; под навесными книжными полками в углу расположился предмет гордости Владимира Васильевича — строгий черный рояль несуществующей ныне фабрики, любовно настроенный, прекрасно звучащий, но сейчас будто забившийся в угол), если бы не пыль с грязью, такие, что *ангел* кое-где на ковре (в особенности у стены) оставлял следы крупных босых ног. «Это ничего, что грязно. Это я, может быть, так страдаю...» Страдать сейчас показалось Владимиру Васильевичу почему-то очень уместным, почти необходимым. И все же какими-то особенно яркими моментами, озарениями происходящего, Владимир Васильевич вскрикивал страшно, всеми внутренностями: «Да что же ему нужно!..»

Пройдя к дивану под взглядом *ангела*, Владимир Васильевич аккуратно, в три приема, сложил плед, стараясь, однако, не поворачиваться к гостю спиною, и застегнул верхнюю пуговицу рубашки. Он спал в одежде — без Даши подобное случалось. Затем уселся на краешек дивана, оперся локтем на колено, уронив подбородок на ладонь, и свел в довершение брови, что должно было выражать крайнюю степень внимания. Другою рукою Владимир Васильевич безотчетно вцепился в диванную обивку.

Ангел всматривался в его лицо с таким вниманием и такою болью, что Владимир Васильевич невнятно заерзал. «Нос, наверное, совсем скверно выглядит... Похоже, случилось у *него* что-то, может, умер кто... А я при чем? Жаль, Даши нет: ни за что ведь на слово не поверит. Интересно, что *он* про меня думает?» Сам же пожал плечами, будто извиняясь за физиономию, продолжая любоваться черными глазами *существа*. Где-то с краешка завозилась, заелозила смутная тень: будто видел уже когда-то Владимир Васильевич...

Ангел сбивал с мысли. Крылья *его* словно жили собственной жизнью, отдельно от хозяина: то чуть подвигалось одно крыло, то на другом топорщились отчего-то перья, а временами по двум крылам пробежала едва заметная дрожь, похожая на легкую судорогу.

Владимир Васильевич не мог представить, чтобы *ангел* вдруг что-нибудь произнес. «С другой стороны, — подумал он, — меня кондрашка хватит, если еще хоть минуту так просижу», — и решительно начал:

— Все-таки позвольте...

Ангел не перебивал Владимира Васильевича. Просто в *его* глазах мелькнуло нечто такое, что тот самый, изначальный ужас вновь стал

захлестывать Владимира Васильевича. Он громко глотнул, протер ладонью лицо: «Эмоцию *ангела* видел... И жив остался. Повезло». И уже отчаянно, со спертым дыханием, словно летя с горы, Владимир Васильевич бросился перебирать и отбрасывать в голове тысячи фраз... «Надо бы потоньше что-нибудь подпустить, — думал он одновременно другою, какою-то отстраненною половиною, — *он* бы, наконец, понял, с кем имеет дело. А то что же: явился *ангел*, сидит молча на стуле и — ни слова о вечном, о тамошних делах. Это из-за носа я *ему* таким болваном кажусь. Еще с чаем этим вылез... *Ангелу* — чаю! Ведь, в самом деле, решит, что я идиот».

— Редко, к сожалению, — пожаловался Владимир Васильевич неожиданно для себя, — но, поймите, работаю, как вол, плюс — Даша последнее время...

Ангел горестно покачал головою, поднялся и, глядя как-то совсем безнадежно, шагнул к дивану, протянув руку. Сердце Владимира Васильевича забилося быстро-быстро, как будто даже в разные стороны, он взмок спиною и хотел закричать... Но не смог. Не вышло и отпрянуть: своей воли Владимир Васильевич лишился. Вслед за этим все предметы стали терять четкость, расплываться, сновидению прискучила логика, геометрия стен нарушилась, а мебель трансформировалось во что-то неопределенное. Мысли Владимира Васильевича, подобно предметам, тоже расплозились и пошли лоскутами без начала и конца: «Бедненький, даже плакал чего-то... Зачем *он* так пахнет яблоком?.. А главное, все молча!.. Даша — дура...»

2

Владимиру Васильевичу как-то совсем неожиданно для него самого стало тридцать лет. Еще совсем недавно он был «Вовка», «мальчик», «я тебе сейчас задницу надеру»; потом, незаметно, без перехода: «Володя», «братишка», «молодой человек»; и, внезапно, все чаще — «Владимир Васильевич», «дядя», «послушайте, мужчина». Ничего он толком не успел, ничему крепко не выучился.

Те, кого он считал друзьями, относились к нему снисходительно, поили иногда водкою, томно жаловались при этом на начальство, жен или денежные обстоятельства, давая понять Владимиру Васильевичу, насколько они важны, любимы и состоятельны. Иногда ими выпрашивались ключи от его квартиры для свиданий с любовницами. Не умея отказать, Владимир Васильевич пускался на хитрость: он хмуро просил: «Только, пожалуйста, оставляйте в комнате порядок», что требовало от гостей для начала хотя бы поверхностной уборки и обыкновенно исполнялось. Врагов же у Владимира Васильевича как-то не завелось; читая о них в книгах и примеряя ненависть к своей жизни, он совсем не представлял, откуда бы им взяться.

Искренне признаться, он не был каким-то особенным пьяницей. От водки он попросту не умел отказываться, а поскольку жил бобылем в собственной квартире, то и принимал у себя разнообразных приятелей, желающих чего-нибудь выпить. Из них каждый приходил раз-два в месяц, в результате Владимир Васильевич, когда не работал, отпирал кому-нибудь двери чуть не ежедневно.

Романы его длились недолго и носили совершенно случайный характер. Нет, он с самой юности хотел бы страстно кого-нибудь полюбить, но абстрактный образ его возлюбленной сильно разнился со всеми его знакомыми женщинами. Они довольно скоро начинали раздражать Владимира Васильевича, кто глупостью, кто чрезмерною практичностью, он же казался дамам по ближайшему рассмотрению безнадежно вялым и бесперспективным. Изначально дамы воодушевлялись холостым его состоянием и покладистым нравом.

Все это было до Даши. Сказать, что она отличалась от его идеала, — значит, не сказать ничего. Во-первых, ростом она выше Владимира Васильевича почти на голову. Значительно шире в плечах. Вообще, сложения Даша очень серьезного, атлетического, с прекрасно развитыми мускулами и при этом отличною подвижностью. Недаром ею, словно породистой лошадью, хвастал сам губернатор, ведь Даша брала призы на многих спортивных состязаниях. Владимир Васильевич физические упражнения презирал, втайне считая искусство единственным достойным занятием для мужчин; в женщинах же и вовсе ценил исключительно нежность, трогательную слабость, милую, так сказать, беспомощность. Сам он не был хрупким, наделенный от природы достаточною крепостью, но Даша, резвясь, иногда скручивала его в такие узлы, что Владимир Васильевич вскрикивал от боли и бессилия, мучительно тужился, к развязке напрягаясь уже в бешенстве, с багровым, почти фиолетовым лицом; а когда Даша отпускала — он вскакивал, едва не матерясь, жестоко обижаясь, не разговаривая после часами. Она хохотала и звала его «ватой». «Ну хватит, вата, иди ко мне!» — кричала она в кухню, где Владимир Васильевич, потный и мятый, трясущимися пальцами ломал, закуривая, сигареты.

Во-вторых, Даша была еще большею неряхой, чем сам Владимир Васильевич. Она как будто специально разрушала те неприкосновенные островки порядка, которые сохранялись в квартире волею случая. Ей не давали покоя книги: Даша, оставшись в комнате одна, непременно снимала с полок сразу несколько из них, пролистывала и разбрасывала по всему периметру помещения. Выделенный ей Владимиром Васильевичем ящик комода всегда имел выдвинутое положение, и из него вызывающе торчало что-нибудь с кружевами. Прежде чем сесть, Даша смахивала предмет, занимающий выбранное ею место, на пол.

Надо сказать, что вещи вокруг Даши долго не жили. Разговаривая, она всегда брала что-нибудь в руки и мяла, вертела, пробовала на излом. К концу беседы предметы высыпались из ее рук, как раскрошенный хлеб. Любимую этажерку Владимира Васильевича Даша, приподняв, взвесила на руке. Затем, широко расставив ноги, словно играя в гольф, взяла двумя руками за ножки и лишь наметила траекторию удара. Балуюсь, она не приняла в расчет расположение комода за спиною и по восходящей траектории страшно ударила в него этажеркою.

Весь первый год гипотетический путь Даши к роялю Владимир Васильевич перегораживал двумя стульями, водрузив на них поперек небольшую складную лестницу. Даша лишь однажды покусилась преодолеть малоубедительную баррикаду («Дай-ка попробую сыграть, меня в детстве учили...»), но, увидев выражение глаз Владимира Ва-

сильевича на смертельно побелевшем лице, благоразумно отступила.

Этот кошмар продолжался три года. Даша не перевозила вещей, но фактически жила в его квартире. Владимир Васильевич мучительно скучал о ней, когда Даша уезжала на пару дней к маме.

Однажды Владимир Васильевич сделал Даше предложение. Было заметно, что она тронута его тягою к старомодным условностям, но согласия своего не дала. Она сразу почему-то вспомнила, как мама рассказывала о знакомстве с женою известного литератора: «Ну, не знаю... Такая, умненькая... Понимаешь, я все смотрела на нее и думала: сказать кому-нибудь “у меня муж — поэт”, все равно, что признаться “у меня муж — педераст”». Но, немного позже, наедине с собою представляя Бельского мужем, улыбалась Даша, надо признать, совсем не так скептически.

3

Ремесло Владимира Васильевича кому-то могло показаться странным, кому-то — мелким и недостойным, но ведь главное, чтобы самому человеку нравилась его работа, а мнение окружающих — дело десятое. Конечно, иногда не совсем удобно, если не существует даже четкого названия твоей профессии. «Наборщик», например, термин типографский, так же как и глуповатое слово «печатник»; ну не машинист же, в самом деле, как производное от полузабытой «машинистки». Впрочем, этот «камушек в сандалии» Владимир Васильевич давно перестал замечать, а когда все же приходилось как-либо обозначать собственную профессиональную принадлежность, представлялся литератором, корректором или туманным «референт». К слову сказать, ни одно из этих определений не было в полном смысле ложью.

Ведь начиналось когда-то действительно с литературных опытов. Юность, сбитая с толку Набоковым и Достоевским, избыточное внутричерепное давление и случайная пишущая машинка зарифмовали несколько строк, надиктовали несколько глав. Подвернувшийся некто, в очках и дипломах, многозначительно кивая, зачем-то выпятил нижнюю губу, и в результате этой мимической неопределенности Володя несколько лет с болью отдирал от собственного лица то толстовскую бороду, то пушкинские баки. Разогнав, наконец, банду мелких тщеславных бесов по закоулкам взрослеющей души, Володя осознал себя растерянным недоучкою без внятных склонностей, привычек и занятий, но с навыком точного и небрежного перебора клавиш пишущей машинки. Однако сознательно совершенствоваться в этом умении Володя принялся только после первого случайного заработка — курсового проекта знакомого пожилого студента, заплатившего бутылкою водки и большим кулком раздавленной карамели. Двадцать страниц рукописного текста с вкраплениями трех выданных из каких-то учебников страниц следовало произвольно скомпоновать и срочно перепечатать. Гонорар на тот момент вполне отвечал настроению Володи, а собственно работа не вызвала никакого чрезвычайного напряжения. Все вместе и приоткрыло смутную, но занятную перспективу.

Репетировать он принялся дома: сначала на печатной машинке, а после на стареньком компьютере, купленном по случаю и легко прижившемся. Спустя некоторое время Володины пальцы стали обгонять реакцию компьютера. Они мелькали над клавиатурой с такою скоростью, что на них специально ходили смотреть, а одну худенькую брюнетку при этом даже стошнило.

Но скорость, понятно, лишь внешний эффект, кормиться которым вряд ли возможно. Многие скромные девушки за конторскими столами, компьютерные вундеркинды в очках и журналисты-графоманы посредством недолгих упражнений могли бы добиться не менее впечатляющих результатов. В практическом смысле гораздо важнее оказалась своеобразная выносливость, в лучшие годы позволявшая ему проводить за клавиатурой, не сбавляя темпа, шесть-семь часов кряду, затем жадно проглатывать огромную кружку густого и горячего кофе, сдвигать сигаретный пепел с груди и живота и мерно стрекотать еще столько же часов без перерыва.

Рецепт такой поразительной работоспособности открылся ему случайно и сам по себе оказался удивительным свойством Володиной души. В какой-то момент его сознание как будто погружалось в дрему. Глаза автоматически скользили по строкам, пальцы самостоятельно мельтешили над кнопками, но перед внутренним взором возникали дивные, далекие образы, порою лишь намеки на образы, их смутные цветные отражения: переливчатые силуэты принцесс, драконов и всадников, нежные тени парусников и крылатых коней, колебания неба и снежных вершин в зеркалах горных озер. При этом лишь ему была слышна музыка, наполнявшая каждый сюжет собственным темпом и тоном, вместе с тем словно ткущая единую основу для разрозненной вышивки грез.

В те годы Володя запросто мог легко бдеть подобным образом неделю, с удовольствием трудясь до двадцати часов в сутки. На спор за два дня он перепечатал «Мертвые души» со вступительной статьей и оглавлением.

Стоит добавить, что собственные литературные опыты Бельский уничтожил. Да и читать перестал, помимо своей воли воспринимая сочетания слов на бумаге в первую очередь как объем предстоящих усилий.

4

Небольшой, довольно трезвый городок, будучи спутником многомиллионной бывшей столицы, обыкновенно тихо страдал в ее тени. При этом, подобно изнеженному вельможе, он использовал для самолюбования каждый факт, мало-мальски похожий на событие. Из еле заметного прыщика на своем подстриженном, чисто вымытом и подкрашенном тельце городишко устраивал истерику и смертельную болезнь, о которых следующим утром забывал начисто. Еще более пылко он реагировал на локальные успехи. Победа в региональном математическом соревновании рыжего сорванца, на которого не поставил бы собственный дедушка, игравший на любые шансы во все доступные тотализатору события от личного участия в преферансе до

заокеанского бокса, привела городские власти, газету и обе местные конкурирующие школы в единое состояние буйного восторга, перешедшего в космическую гордыню. Еще не остынув, свысока взирая на отсталых в математическом смысле соседей, а главное, продолжая тонко издеваться в домашней печати над поверженным мегаполисом, городок вдруг обнаружил у себя Володю с его виртуозной скорострельностью. «Мизер», — тихо сказал тогда в своем кабинете побледневший рыжий дедушка, являвшийся по совместительству редактором городской газеты.

С тех дней прошло больше десяти лет, но Владимир Васильевич помнил все очень отчетливо, испытывая при этом смешанные чувства.

Отперев дверь ранним утром, он увидел перед собою незнакомого пожилого господина в светлом костюме, позади которого с фотографическим аппаратом на груди стоял репортер местной газеты Сема Банчик, известный в те годы многим по божественной распивочной «Ладья».

Пожилой господин когда-то был рыжим. Даже теперь в некоторых произвольных местах его шевелюры седина отдавала желтизной. Однако несомненную принадлежность к рыжим выдавали глаза, оставаясь лисьиими и молодыми, словно специально, из особой хитрости прячась в расщелинах морщинистых век. Вместе с тем дорогие зубы и галстук создавали общее респектабельное, но слегка тревожное впечатление.

— Здравствуйте, мой дорогой. Вы позволите нам войти? Банчик ручался за ваше гостеприимство.

Володя посторонился. Ручательство репортера выглядело довольно самонадеянно, поскольку Володя ни разу не имел чести принимать его у себя. В «Ладье», даже оказываясь за общим столом, они как-то не сближались; раскланивались, сталкиваясь в гардеробной, не более.

Пожилой господин представился:

— Варов Евгений Петрович. Я, собственно, редактор нашего родного, единственного и вполне печатного органа. Звучит ужасно, вы не находите? Ха-ха... Это я с утра что-то глупости... — смесь вальяжности и фарса. К тому же, видимо, какой-то лизоблюд убедил Евгения Петровича в неотразимом обаянии его иронической улыбки. Трудно, но теоретически возможно представить, что когда-то к этому имелись некие предпосылки. Теперь же перед Володией словно предстал старый актер, переживший свое амплу героя-любовника, время от времени вспоминающий роль и застывающий на мгновение с невозможной физиономией, излучающей по замыслу в этот момент гипнотическое очарование. Выглядело это жалко и ужасно одновременно.

Евгений Петрович радушно указал хозяину на кресло:

— Можете сесть сюда. С батюшкой вашим в приятелях состою. Городишко-то наш, сами знаете каков: все мало-мальски приличные люди между собою в хороших. Не видались, правда, давненько, но, если не ошибаюсь, они с маменькою вашей в метрополии изволят теперь проживать? Где уж нам, провинциалам, с рыльцем, так сказать... А хорошее лицо. Повернитесь в профиль. Хорошее русское лицо, я бы добавил. Кстати, Банчик, который теперь час? не рано будет для рюмочки? Впрочем, лучше потом. Я уже слышал, милый мой, что вы

также человек грешный, хе-хе, пьющий, я имею в виду, потому-то я по-свойски, без церемоний. Но — все после. Давайте-ка, включим эту вашу штуковину... Как хорошо жужжит. Ну, давайте, сбавьте нам что-нибудь.

Володя послушно коснулся двумя руками клавиатуры, и на экране компьютера мгновенно появилось строка.

— Гм. Мандельштам. Недурно. Вы, значит, не чужды поэзии. Славный штришок... Банчик, ты снял его руки? — Евгений Петрович вдруг понизил голос и чуть наклонился к Володе: — Послушайте, а вы не пробовали пальцами ног? Жаль... Но обещайте хотя бы подумать.

После этого Евгений Петрович щелчком позвонил репортеру:

— Официальная часть закончена. Переходим к интервью. Сема, душ за комплектом, все как обычно. Простите, мой добрый друг, что ничего не захватили сразу, но, сами посудите, разве могу я доверять суждению о людях этого прохвоста? Иди, иди, не пучь на меня семитских глаз.

Удивительно, но все жалкие старческие ужимки, о которых было сказано выше, моментально исчезали вслед за первой выпитой рюмкой водки. Евгений Петрович становился милым, остроумным, порою тонким собеседником, образцом учтивости и такта.

Вследствие визита Володя на целую неделю стал для городка «бродятою женщиною». Евгений Петрович подключил для пущего резонанса местное телевидение, поэтому о Володиной способности стало известно и в Петербурге. Год спустя заказы на срочную конвертацию рукописей и книг в компьютерные тексты как-то сами собою потекли без пробелов: устоялась клиентура, которая порою даже скандалила из-за очереди. Варов же с Бельским, можно сказать, подружился, выпивая не часто, но с удовольствием...

5

Первая мысль Бельского по пробуждении была о том, что сегодня работать он не хочет. Осторожно потрогав лицо, Владимир Васильевич понял, что нос чудовищно распух, слившись в единую массу со лбом и щеками, отчасти захватив глаза и даже (на ощупь) уши. Но непереносимая нудная боль, давеча приводившая Владимира Васильевича в иступленное, жалкое и бессильное состояние, не возвращалась. Подумав о Даше, он вздохнул. И только после этого Владимир Васильевич вдруг вспомнил об *ангеле*, оторвал голову от дивана и подозрительно оглядел комнату. Никого не было. Не было, конечно, и столь вопиющей грязи, не существовало кресел, монитор уменьшился до естественных размеров, стулья и ковер не выглядели шикарно, журнальный стол хотя и хромал, но никаких следов безобразного натюрморта ни его полированная плоскость, ни окрестности, конечно, не носили, и нести, естественно, не могли, поскольку были убраны накануне. Окно в действительности занимало место на противоположной, восточной, стене, а портреты, плясавшие и кривлявшиеся под занавес сна, вернулись в свое естественное статичное состояние.

Владимир Васильевич откинул плед. Желтое солнце грузно повисло снаружи на тюле, разбросав сквозь узор по комнате невнятные

пятнышки и, словно лапу, просунуло между занавесок широкий светлый луч, похожий от пыли на аквариум с рыбками. Краешком взгляда схватив поддавшуюся ветерку занавеску, заметив солнечное пятно, доверчиво разлегшееся на рукаве, услышав как-то вдруг детский визг, скрип качели и приглушенные, далекие клаксоны автомобилей, Владимир Васильевич вскинул руки и сладко потянулся спиной, даже чуть-чуть присев; затем, совершенно счастливый, гудя нечто игриво-итальянское, отправился в кухню, где достал из холодильника бутылку с молоком, сделал из нее три шумных глотка, утер губы и сел на табурет, отдуваясь. Мысли в его голове весело и беспорядочно роились, словно разыгравшиеся дети, игнорируя связи и последовательности, скача от впечатлений к желаниям, от желаний к воспоминаниям, от воспоминаний к абстрактным идеям, а от идей снова к впечатлениям.

Одновременно он вытянул из пачки на столе сигарету и закурил. Сложив губы дудочкою, Владимир Васильевич выпустил дым первой, самой вкусной затяжки тоненькою струйкою, как вдруг... из комнаты ему почудился легкий, чуть слышный, но оттого еще более неприятный, шорох.

Владимир Васильевич замер. Даже губы дудочкою не привел в обыкновенное положение; его рука с сигаретою замерла в воздухе, он лишь скосил напряженные глаза в сторону комнаты...

Сигарета истлела, обожгла пальцы и прахом осыпала стол. Звук не повторялся. Владимир Васильевич бесшумно поднялся и на цыпочках стал красться вдоль стены к двери в комнату, не дыша при этом совершенно. Сердце его колотилось грубым, глухим, частым боем. За два шага до дверного проема он остановился, лег на пол грудью и, чуть продвинувшись вперед, заглянул одним глазом в комнату.

В комнате все было по-прежнему. Только солнечный луч стал шире. А на подоконнике, любопытно вертя головкою и мелко подпрыгивая, расхаживал воробышек. «Так, — подумал Владимир Васильевич, — птица». Поднимаясь на ноги и отряхиваясь, он умышленно не глядел в сторону гостя.

— Кыш! — внезапно напал Владимир Васильевич. Вестник стремглав бросился вон, коротко вскрикнув.

Комната глядела враждебно. Настроение испортилось. «Господи, как противно... Выпить бы», — пришло в голову Владимиру Васильевичу. Но для этого требовалось идти в лавку. Даже забыв о нелепой сине-сизой лепешке, бывшей некогда носом, Бельскому не хотелось никуда выходить. Летом он с удовольствием поддавался томной городской неге одиночества в собственной квартире, где так славнo валяться после душа голышом на нагретой кожаной обивке дивана, читать прозрачные сказки Бунина в светлой кухне перед кружкою холодного чаю или просто курить, высунувшись по пояс в окошко. Мысль о том, что придется запира́ть дверь, идти через широкий горячий двор, полный мамаш с разноцветными колясками, одышливых собак в блестящих ожерельях, загорелых, пыльных, гомонящих детей; что придется пересекать душную, бензиновую улицу перед мордами учтивых автомобилей; здороваться с громкою продавщицей, слегка по обыкновению пьяной, и проделывать затем все это в обратном порядке, показалась Владимиру Васильевичу ужасною. «Еще и с такою рожей. Ни за что

не пойду!» — твердо решил он. И вздрогнул — это затрепетал телефон на журнальном столике с раненою ногою. «Может быть, Палыч?» — мелькнула слабая надежда.

6

Владимир Васильевич всю жизнь мечтал. Разные люди мечтают с разною силою, но Бельский порою доводил этот процесс до столь мучительных ощущений, что даже приступал к воплощению. Многие годы он, например, мечтал выучиться игре на рояле. Который и купил по случаю у давнишнего приятеля, уезжавшего из России навсегда и считавшего «унизительным выторговывать по этому поводу с друзей каждую копейку». Однако, декларируя столь похвальные принципы, приятель этот, пользуясь очень приблизительным представлением покупателя о музыкальных инструментах вообще и клавишной их группе в частности, умудрился всучить Владимиру Васильевичу инструмент, издающий странные, глухие, курые звуки переломанными, перепутанными потрошками. Нет, конечно, медные педали были на месте, косяные клавиши, натертые какою-то блестящею гадостью, безусловно, манили, а полированный круп лоснился и отражал фрагменты высоко-нравственного продавца и умиленного Владимира Васильевича. Судя по всему, на подготовку были затрачены довольно серьезные усилия. Приятель, словно ямайский колдун, сумел даже заставить труп инструмента откликаться на определенные прикосновения, издавая простейшую мелодию, однако, ссылаясь на отсутствие таланта и времени, категорически отказал Владимиру Васильевичу в «Лунной сонате», на которой последний почему-то настаивал. Впрочем, за исход сделки оба к тому моменту были спокойны: Владимир Васильевич передал оговоренную сумму еще в прихожей, до знакомства с роялем, в ответ на тонкое сомнение приятеля в его, Владимира Васильевича, платежеспособности. Расставшись с деньгами, Бельский, как всегда, почувствовал облегчение. Все, даже самые обыденные операции с более-менее крупными суммами давались Владимиру Васильевичу трудно, требовали физического напряжения всего организма, вызывали тревожное, нервное томление, а порою и сыпь на шее и груди. Поэтому любой поворот ситуации, ведущий к скорейшему отделению себя от денег, Владимир Васильевич встречал с радостью. Даже потеряв недавно в душной магазинной толчее бумажник с аккуратно отложенными на восхитительную безделицу банкнотами, Владимир Васильевич совершенно не расстроился, только в первый момент обмер с раскрытым ртом и вывернутыми карманами перед ювелирной барышней за прилавком. Он вынашивал план Дашиного подарка несколько месяцев, дважды назначал и откладывал день похода, копил деньги, но теперь, виновато улыбаясь бархатной раковине с недостижимым ошейником, почти радовался, что все уже кончено, можно ничего не говорить, не считать, не трогать захватанные бумажки вслед за тысячами пальцев, не сомневаться в выборе, рациональности, смысле... а попросту отправиться домой, забыв все треволнения, будто прочитанные.

То же и с роялем: отдав деньги приятелю сразу, почти с порога, Владимир Васильевич совершенно не заметил очевидных странностей

инструмента, даже не подумал заглянуть внутрь и чуть не приступил к продавцу обниматься, на что тот обиделся и стал хамить, готовый, видимо, к возне, упрекам, торгу, но уж никак не к подобному слабоумию...

С тех пор прошло шесть лет.

Часто, очень часто представлял себя Владимир Васильевич бледным, высоким, узким брюнетом в длинных прядях блестящих волос, рассыпанных по плечам безупречного фрака, нервно теребящим локон перед концертом в одиночестве готической ниши. «Его глубоко запавшие черные глаза мерцали фанатическим блеском виртуоза, продавшего душу ради тайны абсолютной гармонии». Ничего выше в духовном мире Владимира Васильевича воображение не создавало, поэтому к любому музыканту он относился словно к некоему жрецу, награжденному волшебною способностью. Он не мог видеть пианиста, механически выполняющего свою работу (тапера в кинематографе, например, или концертного аккомпаниатора), чтобы не подозревать в нем гения, за безразличием хранящего в сердце горькую усмешку...

Говоря по правде, Владимир Васильевич был бы неприятно удивлен и, наверное, сильно разочарован, если бы действительно, каким-нибудь чудом, выучился играть. В глубине души он был уверен, что заурядный человек не в состоянии постичь даже элементарных начал; что бессмысленно и пытаться; что, в любом случае, достичь воображенных вершин смертному невозможно, следовательно — мечтать надежнее, честнее, правильнее...

Единственное, что он сделал, — это реанимировал сам инструмент. Более того, неотъемлемою частью календарного лета Владимира Васильевича стала настройка рояля, для которой он старался приглашать одного и того же умельца — Палыча, маленького ученого старичка, «в душистых седирах» под аккуратным беретом, настоящего петербургского мастера.

Для чего нужна эта процедура, повторяющаяся из года в год с бессмысленным постоянством, — Владимир Васильевич не мог бы, наверное, сформулировать, но иногда ему приходила в голову нелепая мысль, что он ухаживает за неким священным животным, что именно в этом высокий и единственный смысл его существования. «Надо же, чего только в голову не придет», — усмехался себе Владимир Васильевич, однако уникальным предметом в квартире, с которого он собственноручно и тщательно вытирал пыль, оставался рояль.

7

Владимир Васильевич поднял телефонную трубку и, пока нес ее к уху, вспомнил, где он видел раньше черные глаза ангела. Вспомнил сразу, внезапно, словно включил свет в каком-то чулане воспоминаний, где не был десятилетия, с детства...

Это случилось на песчаном берегу недружелюбного, холодного моря, похожего на гордую старуху, позабывшую все, кроме своей родословной; моря, лишь летними месяцами снисходящего к людям, позволяя солнцу немного прогреть полосу прибоя. Надменно взирало море на суету тысяч жалких фигурок, толпящихся у белых оборок его свинцо-

вого платья, с забавною жадностью пьющих цвет короткого северного лета. Иногда морю надоедала возня людей у своего подола, оно заслоняло бледное солнце облаками и сильно взмахивало волною, отряхивая с себя последние упрямые фигурки. Но море по-долгу не злилось: состоящее из привычек, оно за сто последних лет усвоило себе еще одну, и без людей на пляже, наверное, уже тосковало.

Этого сердитого моря Вовка побаивался. Двенадцатилетний, спустя две жаркие недели с выгоревшими волосами, бровями и зубами на темно-коричневом лице, напоминающий фотографический негатив, он не думал, конечно, ни о каком страхе словами, но купался редко и коротко, уклоняясь от лихих заплывов с отцом или сверстниками. У него и без этого было чем заняться: он подружился с пожилою, задумчивою собакою, тайно копал ход из хозяйского сада к соседям, исползал, избегал, избородил весь доступный пляж, выучил всех ежедневных его посетителей. С некоторыми из них завел отношения, других игнорировал, а самых достойных пытался заинтриговать своею персоною с помощью особых ухищрений: впадал в глубокую задумчивость на глазах объекта или небрежно взбрыкивал нечто отдаленно-гимнастическое, обозначая тем самым разносторонность натуры. Этой самой обыкновенной мальчишеской осаде подвергались две голенастые крепости. Одна аборигенного происхождения, довольно дерзкая с виду, рыжая и густо крапленая веснушками, чего, по авторитетному мнению Вовки, следовало хоть немного стесняться; другая же вселилась с родителями в летний домик по соседству, таинственно скрывала глаза под взрослыми солнечными очками, напрочь не замечала Вовку и непременно оборачивалась гибкою дорожкой золотистых позвончков, когда он лучшею своею походкою (с трагическою, чуть заметною хромотою) фланировал неподалеку.

Утром Вовка переделал все важные дела и к полудню, пообедав с отцом на веранде, занял жаркую, но очень удобную позицию возле круга взрослых, загорелых, крепких людей, с ожесточенными лицами бросающих друг другу мяч. Сквозь мельтешение, уханье и крики он вел наблюдение за девочкою в солнечных очках, которая вот-вот, по его расчетам, должна взвыть от скуки рядом с полною, неповоротливою мамою и сбежать, например, купаться. Тут-то Вовка и собирался что-нибудь предпринять, полагаясь на случай и вдохновение. Солнце пекло так, что Вовка, лежащий животом на горячем песке, временами впадал в некий ступор, не в силах повернуть головы или шевельнуть пальцем; глаза закрывались сами собою, а на сетчатке в желтом мареве плавала проворная, точно живая, неприятная нитка, неуловимая для прямого взгляда.

Чтобы хоть чем-то заняться в ожидании, Вовка затеял с собою игру, состоящую в осторожном откапывании ладошки, глубоко утопленной в сырой и прохладной подкладке песка. Главное и трудное состояло в том, чтобы ни в коем случае не коснуться цели другою, действующей рукою. Сопя, Вовка уже прокопал с двух сторон необходимые рвы, в которые славно осыпался верхний слой чистого горячего песка, но рушащийся холмик еще не обнажил затаенного. Конечно, Вовка сильно усложнил себе задачу, растопырив все пальцы на ископаемой цели,

но иначе игра была бы уж совсем несерьезною... В этот самый момент на него упала тень и чья-то маленькая, узкая, очень бледная, с белесыми прозрачными ногтями рука легкими взмахами принялась Вовке помогать. Подняв глаза, он увидел лишь черный силуэт, поскольку незнакомец уселся прямо между Вовкою и нестерпимо белым солнцем.

— Уйди, — довольно грубо сказал Вовка, оценив детское сложение непрошеного помощника.

Тот отдернул руку и улегся рядом на песке, подперев голову, внимательно наблюдая за игрою. Вовка покосился на бесцеремонную тень, начиная злиться:

— Делать нечего? Иди к маме. — Никакого результата. Если бы не жаркая истома, вяжущая мышцы и мысли, Вовка обязательно бы вспыл. Но теперь он лишь хотел, чтобы его оставили в покое; к тому же девочка напротив уже встала на колени и, широко расставив локти, поправляла на затылке тугую ленту, намереваясь, видимо, купаться. Пора было сосредоточиться, а для этого в первую очередь удалить назойливого зрителя. Вовка резко повернулся и обмер...

Ему никогда не доводилось видеть подобные глаза. И дело даже не в том, что они были черны, как тот вечерний, самый любимый Вовкин миг, когда папа, мягко отобрав книгу и поцеловав в макушку, гасил в комнате свет. Гораздо сильнее поразило Вовку выражение этих глаз: столько в них было любовного внимания к каждому его движению, точно весь смысл существования этого незнакомого мальчика заключался в его, Вовкиной, возне с песком. Похожий взгляд вспомнился сразу: совсем еще маленьким, высунув язык, он вел кисточкою в синей акварели по белоснежному листу и, косясь на замершего сбоку отца, вдруг увидел во взрослых глазах непонятную слезу, и тут же от испуга и неожиданности разревелся сам... Но то все-таки был отец, а здесь — совершенно посторонняя малявка будто помножила тот отцовский взгляд на тысячу... «Моложе, пожалуй, непоправимо, года на два, так что и показывать-то его серьезным людям не очень удобно. Хотя можно было бы выдавать, например, за младшего брата», — думал Вовка какую-то ерунду, зачарованно всматриваясь в незнакомца...

Мяч, неудачно пущенный сильною рукою, упруго стукнул Вовку в затылок, вызвав внутри легкий звон, и быстро покатился по песку, подскакивая на бугорках. Вовка вскочил, догнал его и яростно пнул в сторону от круга игравших. Донеслись ругательства, Вовка в ответ показал язык и бегом вернулся на прежнее место, к новому другу, но... его не было.

Растерявшись, чуть не плача, Вовка принялся крутиться во все стороны, крикнул «Эй!», но кругом все другое, глупое, ненужное, желтое, синее, ярко-голубое, а на песке («Ну вот же, вот!») оттиск и во рту соленый вкус потери чего-то очень важного, важнее новых спортивных туфель и шапки-невидимки, без которой, казалось до этого, совсем не жизнь... Он сел, подтянул к подбородку коленки и неожиданно настоящему заплакал, стиснув зубы, хватая и бросая от себя пригоршни песка. Гордая девочка в темных очках, почти достроенный подземный ход, две почтовые марки с пандами и прекрасный велосипедный звонок ничего не значили в эту минуту для Вовки, он и думал-то

о них лишь чуточку, где-то совсем по краешку пронзительной обиды...

Конечно, Вовка искал *его* весь следующий день, обходя пляж, окрестные улочки, заглядывая в окна прибрежных кафетериев, подтягиваясь на заборы частных домов, слоняясь между деревьями городского парка. Спустя два дня он заговорил с рыженькою аборигенкою, которая оказалась непревзойденным знатоком малинников и яблонь в садах туземных жителей. Еще через неделю Вовка, засыпая, вдруг вспомнил, и ему отчаянно захотелось, чтобы тот мальчик вернулся, стал ему другом, и как хорошо бы они вместе совершали всякие подвиги, и как, наверное, погибли бы, защищая рыженькую от стаи кровожадных птеродактилей. Одновременно Вовка чувствовал, что «не о том этот мальчик», что с ним было бы здорово делить что-то совсем другое, гораздо более важное, но что именно — Вовка, как ни старался, так и не придумал. И еще раз, перед глубоким многолетним забвением, Вовка вспомнил о нем в поезде, в купе, когда возвращался от летнего моря домой. Вспомнил — и защемило сердечко, заныло так пронзительно, что Вовка скривил рот, сильно прижался к плечу отца щекою и тихонько заскулил. «Что ты, мой хороший, что?» — растерялся отец, но Вовка замотал головою, полез на верхнюю полку и замер, отражая влажными глазами мельтешение зелени за окном. Почти сразу подкатилась какая-то станция, на перроне которой играл духовой оркестр, потом заглянул разносчик мороженого, а после — шахматы с отцом, сон, вокзал в Петербурге, школа, книги, барышни, университет и прочее, прочее, прочее.

8

Женский голос, сносно изобразивший в телефон сострадание, Бельский запомнил навсегда. Отвечая с того дня на звонки, он почему-то со страхом и надеждою каждый раз ждал именно его, словно разговор не закончен, будто тот же голос, нервно похохатывая, мог извиниться за ошибку или дополнительно уточнить что-нибудь не менее страшное.

Он вначале толком ничего и не понял. То есть понял, конечно, но растерялся, не зная, как вместить такое огромное горе в свое съезженное сердце. Поэтому горе некоторое время давило как бы снаружи, словно в дверь каюты тонущего корабля, сочась сквозь щели, нагнетая отчаяние и безысходность. Наконец какая-то перепонка лопнула, и в сердце хлынула страшная боль, мгновенно затопила до самого горла и застыла невозмутимою на сторонний взгляд гладью, но под нею невидимо разрывалось на части человеческое сердце.

Что он узнал? Толком ничего. Самолет исчез над Атлантикой. Рассудок, в своей обычной манере, бубнил, что, может быть, им не было страшно, что, дай бог, все произошло мгновенно. Ночное небо в иллюминаторе, приглушенный свет в салоне для курящих; папа, наверное, читал газеты из стопки перед собою, спустив очки на самый кончик носа, улыбаясь время от времени каким-то своим мыслям и оглаживая скобкою из большого и указательного пальцев пышные седые усы. Мама смотрела на отца сбоку, откинув голову на спинку кресла, мягко

утопая в чуткую дрему, убаюканная мерным гулом моторов... Дальнейшее, как ни старался, представить Владимир Васильевич не мог. Самолет раз за разом просто исчезал над ночным океаном.

Странно он иногда себя чувствовал: будто стоящим через какую-то дымную пропасть от самого себя, внешнего, выкрикивая самые элементарные приказы, вроде «здоровайся», «ешь» или «улыбайся», без которых тот, внешний, — совершенно беспомощен. Откуда взялась эта пропасть, что могло находиться на дне ее — Бельскому было неизвестно, но иногда его посещала странная уверенность: однажды он обязательно встанет, содрогаясь, на край, зажмурит глаза и шагнет вниз. Что после этого станет с тем, другим, похожим на марионетку своею полною непригодностью к самостоятельной жизни, своими длинными неумелыми руками и тонкими ножками, слишком слабыми для тысяч предстоящих верст, — Владимир Васильевич тоже не знал. «Я позабочусь о тебе... — лукавя, кричал он через пропасть, — мы будем держаться вместе, старина!» И казалось, обоим становится легче...

В свое время он наотрез отказался переезжать в Петербург. Родители всю жизнь мечтали иметь соседом боготворимого Александра Сергеевича в пору его зрелости, и, когда непредсказуемое течение обстоятельств, наконец, вынесло к ним эту возможность, весело и благодарно засобирались. Володя только поступил в университет, сочинял фантастический роман о рептилиях и с тревогою наблюдал за родительскою суетою. Однажды за ужином он сказал, что хотел бы остаться. Отец нахмурился, но, принципиально держась либеральных взглядов на воспитание, кивнул. Мама покорно заплакала. Господи, как они его любили!

Владимир Васильевич дважды обшарил каждый ящик комода. Ни одной фотографии родителей в его квартире не оказалось. Сама квартира была, конечно, не «родовым гнездом», а подарком отца; старую, с белой родительскою спальней, канареечною детскою и дубовою гостиною, они, уезжая, отдали внаем. С чего долгое время и жил как бы финансово независимый сын. До сих пор Владимир Васильевич раз в полгода получал извещение о появлении на своем счету некоторой суммы. Жильцами он никогда не интересовался, как не задавался внешностью булочника или семейным положением почтальона. Впрочем, особенной сентиментальной привязанности к стенам он не испытывал, а его нынешняя квартира располагалась всего в квартале от прежней, родительской, поэтому, по внутреннему его ощущению, он словно никуда и не переезжал.

Ровно один час и пятнадцать минут — именно столько занимала у мамы дорога к сыну. Владимир Васильевич знал это с предельною точностью, потому что без телефонного предупреждения мама никогда не позволяла себе приехать, а между щелчком о рычаг трубки и знакомым звонком в дверь следовало успеть принять душ, иногда кого-нибудь выгнать, привести беспорядок в подобие творческого и, уже «на флажке», имитировать чаепитие или, в самых разрушенных декорациях, ремонт. Сам он бывал у родителей не чаще одного вечера в году. Всего, значит, по количеству лет, двенадцать раз. Отец не приезжал, боясь навязаться, смутить, оберегая сыновнюю самостоятель-

ность, но частенько приглашал Володю пообедать где-нибудь вдвоем, от чего сын никогда не отказывался. Обыкновенно бывал заказан кабинет в одном из небольших ресторанов, где отца хорошо знали, и к приезду Володи стол тесно зарастал разноцветною едою. Но всегда первым делом, смущенно улыбаясь, отец доставал из пузатого портфеля какие-то судки и свертки с самым вкусным, о котором в целом мире никто, кроме мамы, не знал.

Владимир Васильевич стал просыпаться ночью с мокрым лицом, с ущемленным сердцем. Сирота — он и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят лет сирота. Только с возрастом на этот факт особо никому не пожалуешься, да совесть не позволит списать совершенную подлость на издержки сиротского воспитания.

Не найдя родительских фотографий, Владимир Васильевич огляделся, провел пальцем по пыльному стеклу монитора, и вдруг, подчиняясь внезапному порыву, сорвал со стены портрет актрисы, разорвал его на куски, смял и швырнул за комод. Схватил плед и лег на диван, укрывшись с головою.

9

Даша Владимиру Васильевичу не нравилась. Даже когда он понял, что без нее невозможно, что в любую секунду готов за нее умереть, что рояль, книги и мечты не так важны, как ее существование, она продолжала ему не нравиться. Мучимый этим обстоятельством, Владимир Васильевич еще в самом начале попытался, подобно Пигмалиону, с любовью и терпением, отсекая все лишнее, изваять собственный идеал. Но с такою Галатеей это оказалось решительно невозможным. Тем более что, хотя порою и видел он сквозь обычную Дашу какой-то иной, неясный, удивительный образ (то ли возможная Даша, то ли грядущая, то ли долженствующая быть), однако рассмотреть отчетливо мешал некий изъян внутреннего зрения уже самого Владимира Васильевича. Вероятно, поэтому все его тактические затеи, вроде слабой, но мудрой, всепрощающей улыбки или строгих, аргументированных монологов, сразу разбивались о живую, игривую непосредственность: «Не делай такое лицо!» — говорила она, прыская заразительным смешком, или просто, с неприкрытою угрозою пресекала его нравоучения: «Отстань, солнце мое, прошу по-хорошему!»

И с течением времени Владимир Васильевич как-то успокоился. Он принял все точно некую данность, открыв для себя успокоительную формулу: любовь вовсе не обязательно должна сочетаться с симпатией. «Это, кажется, вообще термины разных миров», — решил Бельский, продолжая, конечно, мучиться, но более не мечтая кого-либо изменить.

Она стояла в дверях комнаты, двумя пальцами раскачивая за колечко ключ от квартиры. Смех, деликатно запертый в самые уголки глаз, рвался наружу, но, в общем, Даша выглядела вполне виновато:

- Можно, я войду?
- По-моему, ты уже здесь.
- Соскучилась страшно. Давай мириться?

Владимир Васильевич отвернулся. Он не играл, он действительно не знал, как с ней теперь себя вести. Даша заглянула ему в лицо:

— Что у нас с глазками?
— Лучше спроси, «что у нас с носиком».
— Что с носиком, я и сама знаю. А вот глаза у тебя какие-то больные. Ты дуешься?
— В точку. Где ты была?
— У мамы, ты же знаешь. Хочешь, сварю кофе?
— Не вздумай. Что-нибудь сломаешь.
— Осторожность — мое второе имя. Я вправду скучала без тебя. Хотя, если по-честному, ты тоже приличная свинья. Мог хотя бы позвонить.

Владимир Васильевич сдержался:

— Давай оставим.

Конечно, она красива: нужно только иначе на нее взглянуть — без Владимира Васильевича. Высокая двадцатипятилетняя женщина, отлично сложенная, сильная и уверенная в себе. Разрез карих глаз дерзкий и смешливый, хорошие волосы, ухоженные ногти, открытое летнее платье в крупных желтых цветах, высокие каблуки белых туфель, и даже чему-то училась, и, кажется, что-то прочла.

— О! Подружку нашу спрятал. Чего вдруг?

Владимир Васильевич покосился на светлое прямоугольное пятно, оставленное фотографией. На фоне смуглых от времени обоев пятно напоминало лишенный загара фрагмент человеческого тела. Откровенный и, кстати, довольно редкий снимок известной актрисы, даренный кем-то, Владимир Васильевич, будучи крепко навеселе, повесил несколько лет тому назад, сразу после оклейки стен. Глаза публичной женщины, следящие за каждым жестом, долгое время вынуждали Владимира Васильевича двигаться с кинематографическим изяществом даже наедине с собою. Он стеснялся ее перед гостями, он ненавидел ее, когда приезжала мама. Но попросту снять со стены фотографию не хватало решимости. Пришлось бы заменить актрису чем-то иным, и еще неизвестно какими глазами это новое рассматривало бы изодня в день Владимира Васильевича. Подобного риску он, естественно, допустить не мог.

Примерно представляя отношения Владимира Васильевича и фотографии, Даша, оценив блеклый и пустой прямоугольник, четкостью очертаний похожий на запасной выход, стала серьезною.

— Что все-таки случилось?

— Сядь. — Сам же принялся ходить взад-вперед по комнате. — Мои родители разбились. На самолете, — уточнил он.

— Ты серьезно?

— Нет, шучу.

— Странная шутка. Посмотри на меня. О, господи...

Даша растерялась. Какое-то мгновение она честно примеряла смерть матери к себе, но, не додумав, в ужасе затараторила:

— Ох, что же делать, Вовка? Мы ведь даже не успели познакомиться. Как это случилось? Да, я понимаю — какая разница... И что — ничего нельзя сделать? Тьфу, я дура, сама не знаю, что говорю. Иди ко

мне. — Ей действительно ничего не приходило в голову. Она чувствовала, что любые слова бессмысленны, более того, звучат пусто и неуместно, словно бы она принялась петь или танцевать, но молчать было еще страшнее:

— Ну, не хочешь ко мне, — может, я куплю чего-нибудь выпить? Такой стресс... Ой, надо же в церковь сходить, я знаю: у меня, когда бабушка умерла, дед из Софийского собора два дня не выходил. Они пятьдесят лет душа в душу прожили, да его и самого через год похоронили — не мог без нее, так привык... Хочешь, и я с тобою?

Если бы это предложил кто-то другой, Владимир Васильевич, возможно, просто оделся бы, не рассуждая, и спустя минуты оказался в храме. Но Даша — совсем другое дело. Поэтому Владимир Васильевич, шагавший, как механизм, перед сидящей на диване Дашей, резко остановился:

— А ты сама-то что думаешь?

— О чем?

— О Господе Боге, о Творце, о Создателе, что ты думаешь?

— Я как-то о Нем совсем не думаю... Есть Бог, конечно, есть, Он на небе, но это здесь при чем?

Владимир Васильевич изумился:

— Как это «при чем»?.. Ведь тогда все по-другому... Тогда все имеет смысл. И их смерть в том числе. А вся моя, наша жизнь — ложь и мерзость... И отвечать придется... Ты что, действительно не понимаешь?!

— Нет, я понимаю. У тебя горе. И, как многие люди, ты ищешь утешения. Конечно, нужно соблюсти традицию — поставить свечку, справить панихиду. От этого, говорят, и самому становится немного легче. Но, насколько я понимаю, твои папа с мамой не были религиозны...

— Хватит, я не хочу больше с тобою говорить о родителях. Я спрашиваю о тебе, о твоей жизни.

— Ну, перестань, пожалуйста. В любом случае, не преувеличивай: не стоит уходить от реальности, пусть даже такой страшной, в религию...

Владимир Васильевич застонал, мотая головой из стороны в сторону:

— Ммм... Даша, это же пошлость! Скажи мне, что между нами? Зачем я тебе? Даша, может, мы слишком холодны? Или больны?..

— Ах, так... Хорошо, давай поговорим о нас. Только не обижайся, — Даша разозлилась, она чувствовала, что делает глупость, что не ко времени то, о чем сейчас скажет, но сдерживать себя не умела: — Иди ко мне, — она властно похлопала рядом с собою по дивану, — вот так, молодец. Ну и морда... Когда несколько дней назад я, разодетая, как невеста, покупала сама себе ландыши за углом твоего дома; с розовыми щечками, как девочка, поднималась по лестнице и отпирала твою идиотскую дверь (помнишь, как договорились?), чтобы в нежности и полумраке отпраздновать три года нашего знакомства, мне казалось, что я тебя знаю. Нет, ты не кривись и не отворачивайся. Дослушай, это имеет самое прямое отношение и к тебе, и к Богу... Ты не представляешь, как легко мне было бы сказать тебе в тот вечер о своей

любви, согласиться на что угодно, даже, наверное, стать твоею женою... Не знаю, может быть, я все сама себе выдумала, перепутала все на свете, потому что никогда раньше ничего подобного не чувствовала и, совершенно точно, никогда у меня на душе, как в тот вечер, не будет... Так вот, я отпираю дверь... — Даша вдруг громко и влажно потянула в себя носом, подбородок ее задрожал, а еле заметные морщинки от ноздрей к углам рта проступили с неожиданною резкостью, — поперек дивана лежит тело абсолютно пьяного мужчины, которого я мгновение назад представляла отцом своего ребенка. Он меня не узнает и, кажется, принимает за какого-то Палыча... Да, может быть, я тебя ударила слишком сильно. Наверное, даже зря. Но я сейчас говорю не об этом. В ту минуту я решила, что ты — посторонний. Что мне двадцать пять лет, и больше обмануть меня не удастся. Но главное, что Бог тебя оставил...

Владимир Васильевич никогда не видел, как плачет Даша. Неожиданно он сам слотнул что-то, размером с теннисный мяч, попытался ее обнять, но («Не трогай меня!») она толкнула двумя руками его в грудь и снова закрыла ладонями лицо, глухо причитая: «Как ты мог... Господи, как же ты мог!»

Сквозь острую, пронзительную жалость к Даше, сквозь душную, томительную муть мелкой подлости, странным образом заставшей в этот момент даже гибель родителей, сквозь гнет бессмысленности ничтожного разочарования, уже непоправимо застывшего, Владимира Васильевича вдруг осенило. словно боясь спугнуть, он глухо сказал, отвернувшись:

- Послушай, я хочу уехать.
- Скатертью дорожка.
- Я уеду. Навсегда.
- Куда? — Даша пощипала в сумочке, поймала вышитый платочек и два раза коротко в него хрюкнула. Она успокоилась.
- Все равно. Подальше. Вдруг еще не поздно, — Владимир Васильевич замотал головою. — Я хочу все поменять. Не могу больше. Не могу... Поедешь со мною?
- Нет.
- Я серьезно.
- Я тоже.
- Тогда — прощай, — он поднялся. — Мне нужно собираться.

10

За Дашей закрылась дверь, раздался телефонный звонок. Вместо нервного женского голоса Владимир Васильевич услышал Палыча.

— Приходите сегодня, если сможете. Нет, завтра я уеду. Надолго, — сказал в телефон Владимир Васильевич. И, положив трубку на рычаг, обрадовался, что вот-вот увидит славного ученого карлу, с его неизменным синим беретом; а после они, по заведенной традиции, станут пить чай, и несколько минут, возможно, все будет так, словно ничего не произошло. Еще Бельский как-то сбоку вспомнил, что сама ритуальная настройка инструмента всегда успокоительно действовала на его сердце и можно на время отложить мысли об отъезде...

Идеально выутюженные брюки открывали невозможные вязаные носки Палыча (так с первой встречи настройщик просил себя называть), когда, одновременно горбясь и балансируя на цыпочках, он тянулся к распахнутым внутренностям рояля. Владимир Васильевич с дивана наблюдал за работой. Весь какой-то чрезвычайно маленький, с миниатюрными ручками, ножками, глазками, в синем, обязательно, берете и кофте на пуговицах, с седыми прядями из-под берета на ушки, с аккуратным носиком в красных прожилках между синеватыми щечками, Палыч и без внешних причин всегда имел в лице немного удивленное выражение.

— Мои родители погибли, — внезапно сказал Владимир Васильевич. И добавил: — В авиакатастрофе.

— Простите?.. — Палыч обернулся, не разгибаясь. Его седые брови поползли вверх и скрылись под беретом.

— Самолет просто исчез, представляете? И больше ничего не известно. Я понять не могу... — Владимир Васильевич вдруг шумно, мокро, как-то кратко, но обильно разрыдался. За все эти годы они говорили совсем немного; по телефону, пожалуй, даже больше, чем в глаза. Во время чаепития обыкновенно молчали: Палыч деликатно кусал пряники, восхищался вкусом самого обыкновенного чая, жмурясь и качая головою после каждого глотка, а когда принимался отбивать детскими пальчиками легкую дробь, Владимир Васильевич предлагал ему рюмочку. О мире настройщика Владимир Васильевич не имел ни малейшего представления.

Палыч выпрямился, подошел к дивану, протирая ладошки крупным платком, и сел рядом с Владимиром Васильевичем.

— Возьмите платок.

— Спасибо. Уже все.

— Я своих во время войны потерял. Отец пропал без вести. На фронте. А мать в эвакуации померла. — Палыч помолчал немного и, кивнув на рояль, спросил: — Хотите, сыграю вам что-нибудь. Не бог весть как, но все же...

— Спасибо, не нужно.

Они продолжали сидеть рядышком, сложив руки на коленях, как два прилежных ученика за партой. Палыч спросил, не поворачиваясь:

— В каком храме отпоют?

— Не знаю, я об этом не думал. Да и вообще...

Палыч поднялся, хлопнув себя легонько по коленям:

— Не выпить ли нам, извините, по чашечке вашего замечательного чаю?

— Чаю. Да-да, разумеется...

Хлопоча у стола, Владимир Васильевич незаметно для себя самого дважды протер чистую столешницу, замер на секунды посреди кухни с чашками в руках и, в довершение, налил кипятку в сахарницу. Усевшись, наконец, против Палыча, он сразу забыл о чае и уперся пустым взглядом в мушиное пятно на стене, проведя несколько минут совершенно неподвижно. Затем вдруг спросил:

— А вы что же, простите за любопытство, в Бога веруете?

Палыч медленно поставил чашку на блюдце, утер платком губы и серьезно посмотрел в глаза Владимиру Васильевичу:

— Верую в Господа нашего Иисуса Христа. — Отрекомендовавшись таким образом, Палыч снова взялся за чашку. — Лет сорок уже. Чего и вам желаю. Хотя, знаете, мне до сих пор называться православным трудно. То есть, конечно, при случае отвечаю твердо и определенно, но как-то, знаете, самозванцем при этом себя чувствую, будто чужой подвиг на глазах присвоил, будто именную награду украл и ношу. В сущности, так оно, наверное, и есть: за этой идентификацией святые, мученики, тяжкий труд священства, страшная боль покаяния... а я кто? И робею каждый раз, представьте, словно могу быть немедленно уличен. А если вообще — как же не верить? Я этого никогда понять не мог. Вот же она, вера, вокруг нас разлита, ею все связано. А вы, молодой человек, не улыбайтесь, лучше послушайте. — Владимир Васильевич и не думал улыбаться. Просто следить за мыслью ему сейчас было трудно. Палыч, неожиданно увлекаясь, *crescendo*, продолжал: — Для меня вера, говоря научным языком, как объективный закон в мире действует. Вроде красивых и строгих формул физики или химии. Ведь очевидно, сами посудите: любое наше действие условием имеет веру. И не только наше, заметьте: инстинктивное поведение животных есть ничто иное, как доверие к определенному порядку вещей, оно подразумевает уверенность в невидимом или несуществующем на данный момент как в осуществленном... Простите, я что-то разошелся. Вам, вероятно, не таких разговоров сейчас надобно, — Палыч вздохнул, — опять я, старая коряга, невпопад...

— Палыч, вы с кем живете? Жена, дети? Внуки, может быть?

— Один я. А внучка есть, лапочка. Но в городе она, редко бывает: что ей со мною, грибом эдаким...

— Извините. Продолжайте, пожалуйста. Мне действительно интересно. — Владимир Васильевич под аккомпанемент тихой размеренной речи Палыча стал соскальзывать в состояние, близкое к тому, что обволакивало его во время работы, но образы, более тревожные, чем обычно, осторожно, словно испуганные животные, прокрадывались к его внутреннему зору. И столь же механически, как выстукивать пальцами по клавиатуре, Владимиру Васильевичу удавалось слышать Палыча. И так же безошибочно, как выходил текст из-под его рук, он различал услышанное.

Палыч же, сначала неуверенно, но после снова с нарастающим восторгом, продолжал:

— Что ж, если интересно... так вот, значит, инстинкты животные... Понимаете, поглощение пищи, например, обусловлено уверенностью — ничем логически не обоснованной — в утолении этим действием чувства голода, а, простите, соитие следует за убежденностью — с чего бы, казалось? — в избавлении данным процессом от полового томления. Кормление потомства, кстати, дополнительно осложняется необходимостью верить тому, что в нем, потомстве, вообще наличествует чувство голода... Без веры в то, что за определенным действием последует некий результат, человек никогда не возжиг бы огня, не стал бы сеять, не вступил в лодку, не собрал бы ни одного механизма. Уверю вас! Это касается материальной стороны бытия, но что же это, как не прообраз необходимой для нашей духовной жизни веры в Бога? Что это, скажите мне, если не та самая «мертвая вера», недостаточная, по

слову апостола, человеку? Потому она и мертва, что бессознательна, потому и недостаточна, что пристала только животным! — Палыч торжествующе откинулся на спинку стула и пробежался пальчиками по краю стола. Владимир Васильевич поднялся и снял с полки бутылку, чем несколько смутил Палыча:

— Да что это вы? Я же машинально... Впрочем, если только помянуть...

Они выпили. Палыч спросил:

— Хотите, я уйду?

— Вы, кажется, не закончили. Было бы жаль.

Польщенный вниманием, Палыч ловко повернул к Бельскому:

— В вашем печальном случае следует сказать о надежде. Вера — условие для жизни необходимое, но недостаточное. Надежда же есть своего рода желание, желание достижения или обретения предмета веры. Например, примитивные надежды животного мира сводятся к тому, чтобы пища не оказалась слишком сильна или агрессивна и позволила себя съесть, а особа противоположного пола пребывала в подходящем настроении. Нам же, как существам высшим, и надежда дана высшая: не кончается все смертью, но только начнется... — Палыч помолчал, глядя поверх головы Владимира Васильевича. — Даже таким мутным, нечистым рассудком, как наш, человеческий, можно кое-что проникать, а проникнув хоть самую малость, — восхититься и вознадеяться. Бог даст, вы еще с папой и мамой свидитесь... Я, например, в своей встрече уверен, — Палыч снова помолчал, и, вздохнув, закончил: — Вот только с любовью не так просто. Мы как-нибудь с вами о ней особо поговорим. Более сложный закон, к сожалению, всегда менее очевиден. И все-таки простите, что я вас тут своими доморощенными рассуждениями занимаю. Знаете, вам необходимо идти в церковь. Для русского человека в вашем положении другого пути нет. Я же... Что я могу? Помолюсь за упокой. И за вас, конечно. Держитесь, мой друг. Теперь мне действительно пора. Куда, простите, отъезжать изволите, если, конечно, не секрет?

— Пока не знаю. Хочу все поменять.

— Гм... Не вариант, как мне кажется. Впрочем, вам виднее. Держитесь. И все-таки зайдите к доктору — у вас ужасное лицо.

Бельский, пока терпеливо ожидал Палыча, тщательно поправлявшего у зеркала в прихожей берет, пока жал ему руку, похожую на шуструю холодную ящерицу, пока стоял, прислонившись лбом к шершавой обивке входной двери, думал только об отъезде.

11

«Вот оно, решение, — уехать! Там, где меня никто не знает, я начну сначала. Они меня освободили, — Владимир Васильевич выдохнул, — они забрали с собою прошлое, свое и мое, ценою своей жизни избавили меня от этой причинно-следственной удавки. Я должен вернуться в тот день, когда мое будущее не росло из прошлого, потому что прошлого еще не существовало. Ведь не случайно у *ангела* глаза того ребенка... Я же помню, тогда, в детстве, он смотрел на меня, словно я *его* единственная надежда, даже не надежда, нет, а скорее радость,

которая вот-вот случится, не может не случиться, которую с трепетом (крыльев?) ждешь, и любишь верными приметам ее приближения. Но что-то пошло не так. Мне чего-то не объяснили или я чего-то не услышал. Сейчас не буду разбираться, не время, да и запутаюсь наверняка. Но ведь и *ангел* нарушил какие-то правила, — Владимир Васильевич подумал об *ангеле* с нежностью, — кажется, *они* не должны являться вот так, непосредственно, значит, рисковал чем-то тамошним, важным. Дважды. Ради меня... Теперь главное — вернуться к тому исходному времени, когда все у нас с *ним* только начиналось. А для этого — уехать... — Владимир Васильевич замычал, будто от зубной боли: он никогда из своего города не выбирался — Петербург и детские поездки с отцом, естественно, были не в счет, — или, может быть, все же остаться, и попробовать здесь?»

Бельский вдруг вспомнил профессионального вора, ладного альбиноса с татуированною кистью и наглыми прозрачными глазами, которого кто-то на Рождество привел к нему с улицы, словно замерзшую собачонку. Потрясенный присутствием рояля, он пил исключительно стоя, при этом молодежовато держал на отлете локоть, говорил девушкам вкрадчивые пошлости, а позже, вследствие каких-то невнятных, туманных, уже нетрезвых рокировок, оказался вдвоем с Владимиром Васильевичем в кухне, перед пузатою бутылкою бренди, и тихим голосом стал рассказывать об особой топографии городов, где бывал, гоняясь за своим быстрым, одноразовым, изменчивым счастьем. Его города напоминали исхоженные вдоль и поперек охотничьи угодья: на лугу — зайцы, в чаще — лоси, под деревьями норы лисиц и барсуков, у ручья убил ондатру, а за рогаткою кривой березы легавые подняли кабана.

Родной город Владимира Васильевича совершенно так же, навязчиво и непристойно, приставал к нему всю жизнь, подобно назойливому кредитору, с напоминаниями о поступках, поступочках и поступицах. И теперь он гнусно совал в глаза стоящему у окна Владимиру Васильевичу то старую школу (по вечернему, без гарнира из хохота, бантов и ранцев), то балкон какого-то приятеля, по слухам быстро и надежно сошедшего с ума, то сквер полузабытых обьятий, от которых ни лица, ни имени, только искусанные губы да мягкая ангорская шерсть под ладонью.

«Прекратить... это все нужно немедленно прекратить. Еду. — Он заметался по комнате. — Но куда?!»

Электричество нельзя было включать ни в коем случае, несмотря на быстро темнеющее небо, свет мог привлечь с улицы кого угодно, а Владимир Васильевич отчего-то был твердо уверен: если хоть с кем-то сейчас заговорит — разобьется, разлетится на мелкие, невозстановимые кусочки хрупкое, хрустально-ясное понимание чего-то невыразимого. Он вдруг присел на диван, почувствовав слабость от одной этой мысли.

И только тогда, в сумерках, рояль налился до краев гневом и тяжекою, избыточною, медвежьей силою, раздулся, словно гигантская жаба, заполнив собою угол до самого потолка, набычился и выгнул толстые лапы, готовясь к атаке. Он наслаждался видом неподвижной жертвы, ее гипнотическим ужасом, и никуда не спешил. Владимир Васильевич,

сжавшись, сидел против него, обхватив колени, не моргая и почти не дыша. Серая мгла текла в комнату из раскрытого окна, ступая слишком быстро, словно дым. Комод, старый слуга, грузный, простоватый оруженосец, вероятно, предатель, и замрет, отвернувшись, когда, наконец, метнется огромное, отвратительно ловкое чудовище, чтобы, ломая кости, вырывая куски плоти, упиваясь воплями и брызгая на стены кровью, с урчанием пожрать хозяина. Они получают свою долю еще теплого, капающего мяса — и комод, и портрет музыканта, длинные пальцы которого уже шевелятся в полутьме, и старый диван, пропитанный похотью нескольких поколений, и даже стулья (по небольшому кусочку), а после, почтительно склоняясь, торжественно проводят лоснящееся, сытое, надменное чудовище к сверкающим воротам в преисподнюю, что уже начинают разгораться на стене страшным прямоугольником.

Владимир Васильевич не выдержал. Он осторожно поднялся, двигаясь исключительно на цыпочках, и сдернул со стула пиджак. Затем бесшумно скользнул в коридор, все время готовый к чему-то напряженной, соблазнительно-беззащитной спиной; схватил, не глядя себе в лицо, с полки перед зеркалом бумажник, на секунду замешкался, борясь с острым желанием поджечь на вешалке свое осеннее пальто; оказался, наконец, на лестнице, по которой сначала неудобно семенил, часто-часто работая коленями, но после приноровился толкать ее изо всех сил подошвами, словно прыгая в длину, и, замирая, перелетал ступени, не думая ни о чем, лишь озираясь, как новосел, в светлой, просторной, оставленной страхами душе.

Извергнутый подъездом, плохо бегущий по удивленному медленному вечернему тротуару, хрипящий и потный Владимир Васильевич останавливался у столбов, сгибаясь и хватаясь за них руками, сухо кашляя наждачным горлом, а потом бежал снова. Однако внутри он не переставал улыбаться. «Не важно куда, — пульсировало в мозгу, — лишь бы отсюда. Какое хорошее слово — билет. Лишь бы отсюда. Безразлично куда».

12

Из серого, даже, скорее, мышинового здания городского вокзала на небольшую круглую площадь, без багажа, в солнечных очках, почти скрывающих изуродованное лицо, в мятом пиджаке неопределенного цвета вышел высокий мужчина лет тридцати.

Раннее воскресное утро, дожидаясь заспавшихся по случаю выходного дня детей, милиционеров, торговков семечками, разносчиков газет, мороженщиков и проституток, лениво баловалось солнечными бликами на кровле вокзала, отражалось в огромной сверкающей голубой луже, словно нарисованной у автобусной остановки; зажигало маковку церкви, степенно глядящей из парка на часы остроконечной башенки вокзального флигеля. Бородатый дворник в огромном рыжем переднике великанскою кистью что-то увлеченно тушевал на асфальте. Пес с мокрым бахромчатым брюхом и такою же мордою звонко ругал невозмутимую кошку на другом берегу блистающей лужи. Изредка площадь пересекали неторопливые автомобили, а слева от Бельского, в двух

таксомоторах, одинаково запрокинув головы и разинув рты, смотрели чудесный сон два пожилых шофера. Где-то за спиною печально свистнул локомотив, дернул, примеряясь, и без энтузиазма утащил за собою зеленый хвост. Редкие пассажиры, высыпавшие на площадь вслед за Владимиром Васильевичем, деловито засеменили к автобусу, мягко осадившему в луже перед остановкою.

В этом городе Бельский положил себе никого не знать.

Он глубоко затянулся прохладным сырým воздухом, поежился и, тесно всунув руки в карманы пиджака, подошел к дворнику.

— Здравствуйте.

— Угу, — ответил дворник, размахисто и ритмично шоркая метлою.

— Где бы мне в это время позавтракать?

Бородач поднял на Владимира Васильевича ярко-голубые, слишком ясные глаза, какие бывают только у горьких пьяниц или сумасшедших.

— При буфете пирожки у Танюхи — раз. Прямо по улице третий дом, всегда — два. Но там водки нету. Три — только на автобусе. — Подумав, он добавил: — И четыре, но тогда плюс две остановки.

Владимир Васильевич поблагодарил и, выбрав второй вариант, быстро зашагал по улице, обрета сносную вещественную цель.

Сев за легкий пластмассовый столик у самого окна, механически жуя что-то хрустящее, как показалось, из того же целлулоида, что и вся белая глянцева́я мебель, прихлебывая («Благодарю, больше ничего не нужно») долгожданный кофе, оказавшийся замечательно горячим, Владимир Васильевич неотрывно глядел на улицу. Никакого облегчения он не чувствовал. Только растерянность. Прошлого более не существовало: Владимир Васильевич прибыл в этот город прямо из детства, из того летнего путешествия с отцом. И совсем как потерявшийся ребенок, уставший от страха, расспросов и бессмысленных метаний, ни о чем не думая, надолго прилипая тусклым взглядом к чугунной вязи напротив, за которою слоновья нога огромного дуба и желтый угол особняка, вяло отмечая спесь вороны на краю тротуара или хромую поступь милицейского коня, порою чуть не засыпая, Бельский просидел несколько часов. Бюсты прохожих теперь проплывали мимо окна почти без пробелов. Там, у них, было яркое, густое, ослепительное солнце, здесь, за спиною Владимира Васильевича, полумрак. Праздные, неторопливые, довольные собою; с воздушными шарами, мороженым, цветами. Каждый норовил мельком улыбнуться странному лицу в темных очках...

Почувствовав себя неловко, словно нарочно выставленным в витрину, Владимир Васильевич разбудил официантку, дремавшую на локтях за стойкою в глубине зала, расплатился и вышел. Под уличным солнцем он сразу будто тяжело охмелел, остановился, зачем-то погладил теплую голову серьезного мальчика, сопящего над трапецией поверженного велосипеда; шагнул с тротуара, рассеянно сторонясь потного толстяка с ребенком на загривке, и взвился от дикого вопля пронесшегося автомобиля...

И таким удачным показался ему этот упущенный финал, столь красивым и логичным выглядел выпад промахнувшейся смерти, что

немного позднее, на укромной лавочке в старом школьном сквере, куда Владимир Васильевич забрел, бесцельно слоняясь по городу, он размышлял, глядя в одну точку и не утирая тихие слезы: «Как же хорошо вот так, что-то поняв, все вроде бы начиная сначала, исчезнуть из этого мира и предстать *там*, разводя руками: извините, я просто ничего не успел»... Но думал Владимир Васильевич как всегда неряшливо, не давая себе труда удерживать мысль в едином русле, подчиняясь ее случайному течению. Поэтому далее он зачем-то в подробностях представил себя лежащим посреди улицы, с нелепым вывертом ноги и головою в алой кляксе; хищных, веселых санитаров в склепе морга; муниципальные похороны неопознанного бродяги, похожие со стороны на укладку водопроводных труб, и вечную, вечную тайну его исчезновения — неизлечимую оскомину Даши. Решетка ограды, едва сдерживающая в этом заброшенном углу напор грузной, тяжелой листвы, напоминает кладбище, визг пестрой грозди на гигантских качелях не музыкален, а исчезнувшие тени, кажется, обещают дождь...

13

День заканчивался. Сутулясь под частым дождем, Бельский остановился перед ярко освещенными в витрине муляжами еды. Он мялся у крыльца, не решаясь войти; его дважды толкали хмурые бесформенные домохозяйки, хлопком расправляя перепончатые зонты; у него, наконец, громко потребовал деньги грязный ребенок в новенькой спортивной шапочке.

Нет, Бельский не хотел есть — его мутило от одного взгляда на витринные имитации колбас, сыров и печатных пряников, — он просто сильно устал от ходьбы, влажности, несвежести белья и мыслей; его крупно знобило, на нем вымокло все, даже деньги в бумажнике, и нужно было срочно думать о ночлеге. Собраться с мыслями, не уняв мерзкую дрожь, не согревшись, не протерев, в конце концов, эти дурацкие солнечные очки, безобразные под вечерним дождем, не выходило... И все же предстать перед чистыми, порядочными людьми под ярким люминесцентным светом в образе нищего слепца Владимир Васильевич так и не решился. Он махнул рукою, не замечая, что бормочет вслух, огляделся и перешел улицу. Мокрый асфальт красиво мерцал под ногами, отражая, видимо, что-то совершенно свое.

Выбрав из строя одинаковых пятиэтажных коробок одну, расплывчатую сквозь крупные капли на стеклах очков, но в точности такую, как рисуют аккуратные дети собственный дом, крытый двускатною крышею, Владимир Васильевич уверенно шагал, одолевая лихорадочную, бессвязную, какую-то изощренную муть: ровные балкончики дома, например, напомнили ему выдвижные ящики комода, а блестящие ряды окон с точками невыносимой яркости — негатив простенькой партитуры.

Подъезд нечист и бледен. На площадках между этажами устроены высокие окна, вдоль поделенные надвое, с широкими подоконниками, с мутными стеклами, в которых, спеша куда-то, замелькал, согнувшись, призрачный силуэт. Серые лестничные пролеты на бегу теряли при-

вычную геометрию, скручиваясь в спираль. На последнем перегоне, боком в оконной нише, обхватив колени, сидела женщина. Владимир Васильевич машинально отметил этот факт, достал из кармана ключ и, задыхаясь, сдерживаясь, скаля зубы, осторожно вставил в прорезь.

— Тебя видел Банчик, из машины, но ты куда-то скрылся. Мы все тебя ищем.

— Простите? — он не обернулся, только поднял плечи.

— Не надейся. Я так и думала, что ты никуда не уедешь.

Владимир Васильевич повернул ключ, распахнул дверь и, словно убедившись в чем-то, бережно прикрыл. Затем, сочась водою со слипшихся волос по черному, бесформенному лицу, двумя руками сняв очки, он страшно и торжественно произнес, глядя в пол перед собою:

— А знаете что... давайте знакомиться. Меня зовут Владимир Васильевич Бельский.

ЧАСТЬ II

1

Тридцать с лишним лет отслужив своей «Вечерке», не без азарта преодолев расстояние от внештатного корреспондента до главного редактора, Евгений Петрович Варов никогда не жалел собственной печени ради отношений с оперативными службами. Практически каждый высокопоставленный чин хотя бы раз за свою петербургскую карьеру пил с Варовым водку. Попад на прицел, уклониться было немыслимо. Еще будучи простым репортером, Варов разработал собственную уникальную теорию «принудительной мелиорации информационных полей». И следовал ей неукоснительно. При коммунистах он мог возникнуть ниоткуда на узком совещании партийных бонз с подносом, полным звякающих граненых стаканов и шатких башен «Столичной». Руководители телевидения в последнюю пятницу месяца, обреченно вздыхая, запирались с Евгением Петровичем в кабинете. На него почему-то никогда не обижались, возможно, из-за наивной рыжей улыбки, олицетворявшей бескорыстные намерения энтузиаста. Легендой стала атака на одного милицейского генерала. Из его кабинета Варов был выставлен, когда генерал, готовый к статистической мимикрии в рутинном интервью, вдруг обнаружил перед собою, между письменным прибором из зеленого малахита и аппаратом правительственной связи, запотевшую до слезы бутылку водки. Почти без повреждений молодой Евгений Петрович был выведен из кабинета. Водку ему не вернули. Вечером генерал неожиданно увидел Варова на пути от подъезда управления к казенному автомобилю. Вызывающе рыжий журналист с безопасного расстояния помахивал новенькою бутылкою и ласково мигал генералу двумя хитрыми глазами. Кругом были люди, генерала слегка передернуло, но в полумраке автомобиля он усмехнулся. А зря. Теперь ежедневно по пути на служ-

бу и обратно генерал наблюдал вышеописанные и вполне доброжелательные телодвижения Варова. На третий день крупные ребята в недорогих штатских костюмах отволокли Евгения Петровича к ближайшему садику и аккуратно, без следов отлупили. Назавтра Варов снова заступил на пост, но улыбался генералу с еле заметной укоризною. По управлению поползли анекдоты, а компрометирующие слухи генералу доносили в гипертрофированном виде. На пятый день противостояния, в субботу, Варов выпил с генералом в «Метрополе» полтора литра водки на двоих, расплатился казенными деньгами и, совершенно счастливый, поместил эпическую статью о петербургской милиции...

Благодаря столь самоотверженно отточенным связям, Варов первый узнавал обо всех мировых событиях, хоть каким-то краешком касавшихся его городка. И гибель Бельских не стала исключением.

Нельзя сказать, что Евгений Петрович Варов совсем не имел принципов. Однако в список самоограничений, добровольно усвоенных Евгением Петровичем, шантаж не входил. Как не входили мошенничество и мздоимство. Впрочем, рамки безопасной пристойности, принятые в наше время среди господ подобного сорта, Варов соблюдал неукоснительно. Другими словами, он довольствовался разумными гонорарами, никогда не претендуя на жизненно важную часть состояния объекта. Это свойство он почитал за принцип и втайне им гордился. На глазах Варова слишком многие поплатились за жадность всем, что имели, а в последние годы — и голову.

Жители городка не подозревали, что большинство из них, по крайней мере, все хоть сколько-нибудь заметные в социальном или финансовом отношении, имеют свое резюме в архивчике Евгения Петровича. Некоторые главы почтенных семейств уже расплатились с Варовым за ошибки в амурных или придворных интригах наличными деньгами, дважды Варов заработал на уголовных проделках детей заметных горожан. Но случай Бельского-младшего оказался ему особенным подарком судьбы, как бы финансовою наградою, кодою труженика, позволяющей в перспективе на какое-то время отойти, наконец, от суеты стяжания и, вырвав из рук надменной невестки любимого рыжего внука, отправиться с ним в романтическое, давно и тщательно продуманное путешествие по самым знаменитым игорным притонам двух полушарий. Варов знал о странной неприязни Бельского к деньгам. И это знание подкрепляло его уверенность в благополучном исходе не вполне еще ясного, но постепенно проступающего предприятия.

В отношениях с Василием Васильевичем Бельским, отцом Володи, он всегда чувствовал некую вертикаль, в основании которой сам и находился. Василий Васильевич, профессор Петербургского университета, изредка появляясь в местном свете, обращался с ним неизменно приветливо и учтиво, но Варов при этом чувствовал себя школяром, слегка лебезил и угодничал. В молодости их пути пересекались редко, поскольку Бельские жили довольно замкнуто: супруга Бельского, Ольга Николаевна, слыла малообщительною москвичкою, а сам Василий Васильевич не переносил водки органически и почти все свое время проводил в Петербурге.

Когда-то старший Банчик, Самуил Яковлевич, отец Семы, владец и единственный сотрудник городского фотоателье, дружески поделился с Варовым довольно ярким событием из своих черно-белых фотографических будней. К нему обратился Бельский, тогда еще перспективный кандидат наук, с приватным постановочным заказом: запечатлеть супругу, Ольгу Николаевну, как бы на сносях. Что и исполнил Самуил Яковлевич за плату, соответствовавшую трем свадебным портретам, поскольку дополнительно Бельский оговорил строгую конфиденциальность заказа. Заинтригованный Варов по своим протяженным каналам навел справки и выяснил, что Вова Бельский, которому на тот момент исполнилось три годика, не родной сын Василия Васильевича и Ольги Николаевны, но спасен ими в младенчестве из приюта. Интуитивно копнув рядом и немного глубже, Варов обнаружил, что и сам Василий Васильевич, и жена его также происхождения темного, приютского, из нежного племени благородных предвоенных сирот. В ходе изысканий всплыла некая закорючка, запятая, *nota bene*, которую Варов аккуратно отметил в архивной папочке Бельских и отложил до надобности. Суть этой запятой заключалась в следующем: в силу неясных обстоятельств, возможно, не придав значения, Бельские не оформили должным образом усыновления и с точки зрения права приходились Володе лишь опекунами.

Теперь же папочка явилась на свет и распахнула содержимое перед Евгением Петровичем, задумчиво растиравшим пигментные пятна на крупном бритом подбородке.

2

Совершенно неожиданно Владимир Васильевич оказался центром пересечения разнообразных интересов. Одни человекообразные охотились на него с насущными целями: сделать репортаж о несчастном человеке, потерявшем в авиакатастрофе семью и — хорошо бы — находящемся в последней степени отчаяния, затем продать материал газете или телевизионному каналу, а на заработанные деньги купить что-нибудь нужное и забыть о Бельском навсегда. Их мотивы были ясны и потому не вызывали особого раздражения. Пикантность его фигуре придавала не совсем зажившая физиономия. Самым странным показался сюжет одного серьезного периодического издания, где Владимир Васильевич выступил в роли хронического алкоголика, влачащего растительное существование, всю жизнь тянувшего из почтенных родителей деньги на выпивку и оставшегося в результате трагедии без средств к удовлетворению своей страсти. Был слышен тонкий скепсис, местами переходящий в обличение общественных язв. Фотография Бельского прилагалась и выглядела более чем убедительно.

Другая, не менее активная, категория изо всех сил пыталась втянуть Владимира Васильевича в разбор бюрократического хаоса, образовавшегося по вине его не ко времени погибших родителей в нескольких государственных учреждениях. Их интонации Бельский выносил с трудом. Он никак не мог почувствовать себя мерзавцем, обременяющим занятых людей, хотя ему постоянно на это намекали. К этому подвуду Владимир Васильевич отнес и чиновника, весело сообщившего

о крупной страховой сумме, ожидающей Бельского, и похожего клерка, с явным высокомерием пригласившим его разобраться в «цифре материальных претензий» к авиационной компании, словно недоумок Владимир Васильевич выиграл в лотерею, танцует от счастья и следует его слегка уговорить.

Объявились томные незнакомые голоса, с неясными целями, но чрезвычайно настойчиво выражавшие соболезнования. Бельский подозревал в них мошенников, однако, равно как и с остальными, говорил в телефон вежливо и отстраненно.

Никто из вышеперечисленных людей так и не смог договориться с Бельским о встрече. В каком-то смысле выручил Варов, предложивший сыграть роль «атташе», как он выразился, и с этого момента Владимир Васильевич просто диктовал всем телефон редакции, после чего голоса исчезали навсегда.

На фоне всей этой подлости достойно повел себя университет. Прекрасно поставленным голосом, с великолепно подобранными интонациями он испросил разрешения провести сначала символические похороны, с помощью которых могли бы засвидетельствовать скорбь соратники и ученики, а затем поминки, неизбежно следующие за похоронами, как разложение за смертью. В заключение теплый баритон с деликатною лаконичностью предложил Бельскому назначить дату.

Бельский долго откладывал мучительную поездку в петербургскую квартиру родителей. Собственно, она не представлялась строго обязательною, но университетские коллеги отца предполагали накрыть поминальный стол именно там, и Владимир Николаевич счел, что следует осмотреть квартиру до нашествия скорбящих. Однажды утром он решительным голосом заказал по телефону такси.

Консьерж в парадном подъезде дома на Мойке был близорук, но стеснялся носить очки. Судя по физиономии, он принадлежал к отставным военным и, не исключено, кого-нибудь убил. Подавая ключ Бельскому, которого все же признал, консьерж задержал руку Владимира Васильевича, молча ее стиснув. «Очевидно, это выражение суровой мужской солидарности», — почему-то злясь, подумал Бельский, но вежливо вздохнул.

Он не любил эту квартиру. Четыре роскошные светлые комнаты, прекрасно обставленные, выдержанные в академическом стиле дореволюционной петербургской профессуры, казались Бельскому безликими декорациями, за которыми полностью скрывались настоящие лица отца с матерью. Родители словно сознательно играли серьезную, респектабельную чету, посмеиваясь и отдыхая где-то за кулисами. Только библиотека в кабинете отца трогала Бельского. Книжные шкафы загоразживали все стены и простенки между окнами, но собственно прикладная, профессиональная литература занимала лишь несколько полок, ближайших к массивному письменному столу. Тысячи других книг являлись великолепным собранием русской беллетристики. Глядя ладонью хребты осиротевших томов, Владимиру Васильевичу вдруг захотелось их все перебрать по буквам, пробежать пальцами по каждой строке, перевести в движение быстрых рук образы, идеи и вдохновения, и, может быть, думал Бельский, тогда я пойму что-то важное об отце, о маме, которые, похоже, свою настоящую жизнь, ту

самую, за кулисами, прятали от посторонних глаз и проживали потихоньку на этих страницах. Нет, он абсолютно не желал знакомиться с содержанием книг в обычном, рассудочном смысле. Некоторые он когда-то, в юности, прочел, о других слышал, имена третьих ничего ему не говорили, но он вообще с некоторых пор воспринимал текст иначе: пропуская символы через свои руки и избавив сознание от погони по уготовленным тропам, он словно читал географическую карту, наполняя собственными образами ее условные обозначения. В то же время из этих разрозненных карт, подобно мозаичному панно, складывались моря и континенты фантастического мира, причудливо меняющего очертания с добавлением каждого нового фрагмента. Бельскому на мгновение показалось возможным даже открытие terra incognita самих родителей.

Они всю жизнь читали вслух друг другу вечерами. Уже самые ранние воспоминания доносили к Бельскому родные декламирующие голоса: он ползал под их аккомпанемент между колоннами гигантского стола в старой гостиной, замирая с поднятою на полушаге коленкою в особо эмоциональных местах. Позднее, подростком, он тихо входил на середине, знакомился с сегодняшним репертуаром и, порою, когда давалось на его вкус что-нибудь скучное, зевнув, также бесшумно отправлялся в постель. Чаще, впрочем, он оставался, пока не прогоняли спать. Лучше, чище, читала мама. Она не взглядывала восхищенно между абзацами, не прерывалась на обмен впечатлениями, не актерствовала; она лишь скупое оттеняла интонацией необходимое, словно мастерски воспроизводя простым карандашом сюжеты виденных полотен, оставляя воображению прорву сладостной работы. Отец, читая, кричал, размахивал руками, хохотал. Он мог в соответствующем месте повествования пнуть стул, застонать или угрожающе надвинуться. Иногда он попадал в нужный тон, и тогда его лицедейство действительно завораживало, но чаще он все-таки полностью присваивал внимание себе, и собственно содержание книги становилось второстепенным. Маму это нисколько не смущало, она, наверное, наслаждалась не только книгой, но подросток Бельский раздражался, в особенности, если что-то его действительно заняло. Однако его мнение как бы не очень принималось в расчет: как читали они друг другу до его появления, так, вероятно, и теперь на небесах читают. Ни усталость отца, ни мигрень матери, ни даже болезнь сына — ничто не могло нарушить ритуального вечернего чтения, кроме физического отсутствия одного из родителей. В этих, довольно редких, случаях даже Бельский-младший испытывал некую неясную тревогу, точно сам позабыл сделать что-то важное; как трудно переносили разлуку родители, можно только предположить.

Он знал, что чтения происходили здесь, в кабинете: однажды он задержался в новой квартире родителей допоздна и, как когда-то, неотрывно слушал маму, аккуратно расплетающую в тот вечер трогательные лесковские кружева. Теперь же, оглядевшись, он заметил на подлокотнике кресла книгу с закладкою: сомнений быть не могло — именно ее читали родители накануне отлета.

Забрав из кабинета вместе с книгой тяжелый фотоальбом в сафьяновом камзоле, так и не зайдя в другие комнаты, Бельский бесшумно

прошел через коридор на лестницу, запер двери квартиры и, предупредив консьержа о предстоящих поминках, на том же таксомоторе вернулся домой.

Он щелкнул выключателем, отчего вспыхнула электрическая лампочка, свисавшая на шнуре с потолка, осветившая голые бледные стены, матрас на паркете, кухонную табуретку, присевшую под монитором компьютера, металлический ящик и легкую пластмассовую панель с грязноватыми клавишами. Возле матраса, словно привязанное к стене животное, заверещал телефон. Более в комнате не было ничего, кроме бесформенного кома одежды. Бельский лег животом на матрас и, не обращая внимания на протяжные крики телефонного звонка, раскрыл альбом.

3

В назначенный день за Владимиром Васильевичем приехал на редакционном автомобиле Сема Банчик.

Средневысокий, худой, чернявый, с тонкими оттопыренными ушами, нежные лепестки которых в школе не давали покоя штатным забиякам, внешне Сема Банчик никогда не поспевал за временем. Он не только казался сначала младше своих лет, а затем моложе, но как-то безнадежно отстал внутри, и с годами разрыв увеличился настолько, что стал заметен самому Семе. Этот разрыв приходилось скрывать. И дело не в чрезмерной детской ранимости, которая, впрочем, тоже регулярно доставляла ему страдания, ведь взрослый мир подразумевает некую легкость, небрежность отношений даже среди близких людей. Неисполненные обещания, например, едкое острословие или мимолетная жадность да мало ли у нас странных и непростительных в приличном детском обществе штук? Но с этими «мелочами» еще кое-как, стиснув зубы, удавалось мириться, по крайней мере, внешне, однако самое мучительное состояло в ежедневном разочаровании, которое Сема испытывал от жизни. Ведь он до сих пор ждал кого-то волшебного: друга, например, или возлюбленную, желал отчаянного подвига во имя людей, вдохновлялся любой мало-мальски связною мистической белибердой и страшно боялся о себе нехороших мнений. Если бы Сема не занимал столь малозначительного положения в обществе, его страстью к защите слабых, его пылкой готовностью даже не отобедав бросаться в огонь под знаменем справедливости обязательно воспользовались бы злодеи в корыстных целях. Шишки, набитые Семою в продолжение жизни о выступы человеческого несовершенства, нисколько его не заботили, он забывал о них моментально, так же скоро, как о собственных подлостях, совершенных походя, искренне, по-детски жестоко.

Ему очень нравился Варов. Он даже хотел когда-нибудь, в старости, стать на него похожим. И вскоре после устройства на должность фотокорреспондента сделался для Евгения Петровича незаменимым адъютантом, вполне доверенною рожицей с карими печальными глазами. Не зарабатывал он при этом почти ничего, старался из чистого энтузиазма, поскольку Варов в его случае справедливо полагал, что «верных можно не кормить». Бельский Семе тоже нравился. Банчик

только не решался с ним покороче сойтись — все не случалось повода. Теперь же, хотя Семе было до слез жаль погибших, он, зная из поручений Варова о деньгах и славе Бельского, стал ему немного завидовать. И конечно, он всегда помнил о Даше, в которую был влюблен с выпускного школьного вечера. Первая красавица Даша тогда из своих неведомых, упрямых соображений вдруг выбрала смешного Сему Банчика на вальс и, кружась, дышала на него какими-то нежными цветами. Позже, теплым летним вечером Сема выпил портвейну в одиночестве на лавочке сквера и, роняя слезы, долго вальсировал с закрытыми глазами. Он никогда не думал открыться, но установил с Дашей приятельский тон, позволявший ему иногда с нею видаться, а после, ночами, перебирать и трогать ее слова, словно бриллианты.

Все это не мешало ни симпатии, ни искреннему сочувствию. Сейчас, по указанию Варова, он должен был отвезти Бельского на кладбище, но чувствовал себя не очень удобно, поскольку Даша, пользуясь его безотказностью, напросилась в машину и теперь, вся в черном, молча сидела за ним.

— Ты не боишься, что он сейчас выйдет совершенно пьяным? — спросил Сема Банчик, выстукивая марш пальцами на руле.

Даша не ответила. Семе не молчалось:

— Жаль его, правда? — Даши словно не существовало в машине. Банчик даже повернулся удостовериться: — Ты не разговариваешь со мною?

Она смотрела в окошко. Сема вздохнул и тут увидел спешащего к ним Бельского, помятого, но трезвого и улыбающегося.

Владимир Васильевич приветливо поздоровался, сел рядом с Семой и всю дорогу к кладбищу молчал. Молчал и Сема, не решаясь заговорить. Молчала Даша, отрешенно глядя на мелькающую за окном зелень. Но улыбался из них один Бельский, изумляя Банчика. Даша уже ничему не удивлялась: Владимир Васильевич, инсценировав с нею знакомство на лестнице, теперь говорил ей «вы», решительно не допуская в свою жизнь.

Сема остановил машину у центральных ворот. Бельский сразу различил интеллигентных, строго одетых людей, художественно разбитых на группы с белыми и красными букетами цветов. Двое помоложе, но сходного академического вида держали на весу большой венок с траурною лентой, стесняясь, видимо, поставить ношу на землю. Среди коллег отца неторопливо прохаживался Варов, роняя сентенции о смерти. У часовни, справа от ворот, сбилась стайка совсем юных девушек, их лица выражали крайне серьезное отношение к происходящему и время от времени прятались в букеты гвоздик. Меж девушек Бельский заметил двух молодых людей. Один из них, ярко-рыжий, державшийся особенно независимо, склонился, что-то шепча, к барышне с гладкою прическою и милыми чертами, которым так часто к лицу искренняя печаль. Она гневно вскинулась, дернув плечом, и довольно громко, с вызовом, отчеканила:

— Варов, придержи свои остроты для более подходящего случая!..

Бельский вдруг испугался чопорных профессоров, мелодраматического Евгения Петровича, печальных студентов, особенно Варова-

младшего с хорошенькою барышней, поклонился всем издали, умоляюще стиснув грудь, и быстро прошел в ворота.

В этот момент поплыли гробы, несомые, по-видимому, лучшими сослуживцами. Все потянулись следом. Бельский шагал поодаль, лавируя между могильных оград, в ярости, с багровым лицом, думая о собственном уродстве, родящем в такие минуты какие-то совсем посторонние мысли: о ранних прошлогодних заморозках, о пепельном облаке, до странности похожем на гоголевский профиль, о карленастройшике... словом, о чем угодно, кроме папы с мамой. Бельский готов был себя избить, когда процессия остановилась, и он отвлекся.

Он занял позицию недалеко, за деревьями, из-за которых некоторое время смотрел, как сквозь пальцы прижатых к лицу ладоней. И внезапно почувствовал скуку. Он как-то отчетливо понял, что все происходящее — инсценировка, чуть не фарс, что в гробах нет родителей, что пришедшие люди, конечно, по-своему дорожили умершими, но теперь не вполне понимают, для чего, собственно, собрались, подобно провожающим, опоздавшим к отходу поезда и бессмысленно толпящимся на перроне. Священника не было. Целью церемонии оказывалась лишь память живых, а самим погибшим живые помочь не умели.

Кто-то взял его под руку. Обернувшись, Бельский увидел Дашу. Она смотрела влажными, широко распахнутыми глазами на людей, окруживших две фальшивые могилы, и сильно кусала губы. Бельский осторожно попробовал освободить локоть, но Даша лишь крепче за него ухватилась и стала клонить голову ему на плечо, что было для нее из-за разницы в росте не совсем удобно. Владимир Васильевич мягко, но решительно отстранился, пробормотал неразборчивые извинения и зашагал к воротам. Его нагнал Варов:

— Я понимаю, это трудно выдержать... Посидите пока в машине, а после Банчик отвезет нас в Питер. Помянем ваших, там уже все готово. Университетские просто молодцы — все устроили солидно, благопристойно... как вам показалось?

— Я еду домой. Прямо сейчас.

Варов поднял брови:

— Боюсь, это не очень красиво по отношению к коллегам и друзьям... К тому же стол накрыт в петербургской квартире, и на вас, как на хозяине, лежат некоторые обязанности. Прошу, вас, Володя, да что там — настаиваю: отложите хотя бы на сегодня свои странности!

— Повторяю, я еду домой. И если вам не трудно, извинитесь за меня перед гостями. Впрочем, как хотите, это не имеет значения.

Глядя ему вслед, Евгений Петрович покачал головою и решил, что далее откладывать нельзя.

4

Спустя два дня, чуть не силком усадив в автомобиль, ничего не объясняя, отшучиваясь прогулкой, Варов вывез Бельского из города. Через полчаса ухабистых проселочных дорог они въехали в небольшую деревню, окруженную тоскливыми, черно-зелеными, геометрически расчерченными полями.

Медленно двигаясь, оставляя за собою серые штакетники крижистых серых домишек, редкие больные деревья и сонных старух, пыльный автомобиль Варова вывернул на дальнюю околицу. Евгений Петрович остановил машину у последнего столба, нагруженного скрутками проводов, старыми объявлениями и жестяным почтовым ящиком, на котором белою краскою был помечен номер дома, а ниже небрежно значилось: «Бельские». Последние буквы фамилии сжимались, словно уходя в перспективу, и загибались книзу. Владимир Васильевич посмотрел на Варова, но тот невозмутимо выключил зажигание, крикнул, перегнувшись за портфелем к заднему сиденью, и выбрался из машины. Владимир Васильевич последовал его примеру. Сразу за столбом оказалась калитка.

Сквозь низкую изгородь можно было рассмотреть весь небольшой прямоугольный двор. В центре грустно чего-то ожидала немолодая по виду коза. С одной стороны от нее расположился сарай с приставленной к слуховому оконцу грубою лестницей, с другой — летняя кухня с поленицей дров и каким-то хламом внутри. За козою, через двор, виделось крыльцо с навесом, прилепленное к остекленной веранде.

Варова здесь, похоже, знали. Занавеска на веранде дважды дрогнула, и через двор к калитке, скатившись кубарем с крыльца, обгоняя друг дружку, понеслись двое босых загорелых мальчишек, лет десяти-одиннадцати, в черных длинных трусах и белых майках. Следом за ними на крыльце появилась молодая женщина с загнутыми рукавами платья. Улыбаясь, она тыльной стороною ладони убрала со лба прядь. И то ли мальчишки были так хороши, то ли жест хозяйки выглядел так книжно, чисто и естественно, но Бельский успокоился.

Мальчики тем временем выбежали за калитку, повисли на руках Варова и увлекли на двор. Евгений Петрович, смеясь, игриво упираясь и пожимая плечами, оборачивался к Бельскому, хохотал и приглашал его за собою. Аккуратно обойдя козу, Варов, а следом за ним и Бельский, поднялись в дом.

— Здравствуйте, — приветливо сказала женщина, заметно робея подать руку, — я — Люба.

Миловидное лицо с непривычкою к сложной мимике и, подобно большинству простых лиц, владеющее лишь тремя положениями: сосредоточенность, радость, печаль. Серые внимательные глаза и грубые руки, припухлые и красноватые от работы.

Дом изнутри оказался самым обыкновенным пятистенком с пристроенною верандою, которая служила также прихожей. Солдатский порядок чистоплотной нищеты бросился в глаза Бельскому. Каждая тряпочка отстирана и расправлена; несколько поленьев на веранде уложены в карликовый штабель; крепко побитая обувь выстроена строгою шеренгою.

Из прихожей Бельский попал в безукоризненно чистую кухню, размером с ванную комнату Владимира Васильевича, и, сделав еще шаг, оказался в единственной комнате.

Русская печь направо от двери, за нею ширма, разгораживающая комнату на две неравные части, напротив печи — окно, под которым старый раздвижной диван. Пестрые половички, сырой кисловатый запах. Стены в желто-зеленых обоях, на одной из них портрет улыб-

чивого белозубого юноши в армейской рубашке, с черною лентою наискось по углу фотографии. В центре комнаты — стол, покрытый чистою скатертью, на которой легким парком исходил стакан чаю в блестящем подстаканнике. За столом сидел пожилой человек в душегрейке, с развернутою газетою в руках. Он оглядел вошедших поверх очков, нахмурился и вернулся к чтению.

Владимир Васильевич замер, неприлично вытаращив глаза на человека с газетою. Тот как две капли воды походил на его отца и, видимо, не придавал этому факту никакого значения. Лишь присмотревшись, Бельский заметил различие — скрытый недуг или какая-то страшная усталость болезненно искривили уголки знакомого рта.

Варов взгромоздил на скатерть портфель, раскрыл его и, балагурия, принялся выкладывать из него последовательно: два одинаковых заводных паровоза, перевязанную ленточкою коробку с пирожными, бутылку водки и банку маринованных огурцов:

— Так, это кое-кому прямиком от братьев Райт, — мальчики, в терпении приплясывавшие по обе стороны от Варова, схватили паровозы и, крикнув на бегу «Спасибочки, дядя», умчались, — а все остальное положительно нам, взрослым и пошлым людям, украсить, так сказать, праздничек. Хозяюшке нашей, сладенького... И вот еще, купил грешным делом, а то во мне от здешней самогонки странные мысли просыпаются, хе-хе, о вездесущих ядах сионизма. Огурчики, знаете...

Старик вдруг строго спросил, не отрываясь от газеты:

— Что за праздник-то?

Варов всплеснул руками:

— От я, голова! — и приосанился, лукаво и довольно шуруя: — Позвольте вам, Федор Васильевич, представить, гм... в некотором роде племянничка, тоже, представьте, Бельского, Владимира, если позволите, Васильевича.

Люба, уже шелестевшая в кухне, вошла в комнату, прислушиваясь. Федор Васильевич бережно сложил газету, прижал к столу ладонью и спросил:

— Как это понимать?

— Братца помните своего, Василия Васильевича? — Варов навис над столом.

— И что же?

— Ничего! — Евгений Петрович слегка обиделся. — Попробуйте догадаться самостоятельно.

Старик посмотрел на Бельского. А Бельский так недвижимым, словно в ступоре, и оставался.

Федор Васильевич хмуро пожевал губами, но не сдался:

— Не знаю я никаких племянников, и знать не желаю. А ты бы, — он сурово посмотрел на Любу, — очень-то не суетилась. Сегодня гад твой с полсмены вернется, я давеча слышал, и вряд ли тверезый. Нечего вам тут рассиживаться. Ступайте с богом, от греха.

Люба во все глаза смотрела на Бельского. Но, услышав про «полсмены», поменялась в лице, быстро глянула на стенные часы с маятником и явно растерялась.

Евгений Петрович принялся выяснять:

— Гад, как вы выразились, это Любин муж, смею предположить?

— Папа с Гришей не очень ладят, — заговорила Люба, — но, я думаю, вам и вправду лучше уйти. Извините, — она чуть не плакала, — просто у Гриши тяжелый характер, ревнивый очень... — и неожиданно осеклась.

В дверях стоял крупный простоволосый мужик и долгим, тяжелым взглядом рассматривал Варова, потом Бельского, но последнего гораздо пристальнее. Черты Гриши были бы правильны и даже по-своему хороши, если бы не пьяная, тяжкая тупость общего выражения. Люба, суетясь, потянула его за руку:

— Гости, Гриша, у нас гости. Садись же к столу, я сейчас покушать соберу...

Гриша, не глядя, не сжимая кулака, ткнул ее в лицо. Варов вскрикнул: «Вы с ума сошли!» и бросился к Любе. Она испуганно отпрянула:

— Не трогайте меня! Это ничего, хорошо даже... — Капелька крови, оставляя за собою след, потянулась из ее носа к верхней губе.

Гриша, усмехнувшись, глухо передразнил:

— «Не трогайте!» Смотри ты... — с этими словами уселся за стол, свернул пробку водочной бутылки и выплеснул на пол чай из стакана Федора Васильевича. Старик брезгливо поморщился и развернул газету, спрятавшись за нею совершенно. Бельский шагнул к Грише, нагнулся и, схватив за шиворот, касаясь губами чужого холодного уха, зашептал:

— На секундочку. Пожалуйста. На одну секундочку. Я прошу, я очень прошу...

Гриша локтем сбил с себя руку Бельского и снова усмехнулся:

— Ну, пойдём... — он выпил водки, шумно глотая, отставил стакан и, грузно поднявшись, пошел из комнаты. Бельский, в голове которого, словно пульс, колотилось: «Чем-нибудь... чем-нибудь... да чем же?.. хоть чем... чем-нибудь...», вдруг наступил Грише на задник и машинально извинился. Не останавливаясь, даже как-то ласково, Гриша пробормотал: «Пойдем, пойдём» и оказался в дверях веранды. Тут Бельский облегченно выдохнул, схватил из штабелька полено, сильно толкнул Гришу в спину с крыльца и, когда тот, ухмыляясь, неторопливо повернулся, изо всех сил ударил его сверху вниз, немного наискосок куда-то в ухо. Полено упруго сыграло в сторону, Гриша схватился за голову, раскачиваясь и скуля. Бельский внезапно услышал в доме за спиною голоса, выронил полено, бросился через двор к калитке, вышиб ее грудью и побежал по улице. Шагов через сто он увидел велосипед, прислоненный к забору, метнулся к нему, не задумываясь, толкнул, разбегаясь, и запрыгнул в седло...

5

...правее, где в картофельном небе отражался город, над черною бахромою леса виднелась полоса-каемка, след уходящего дня. В другой части небосвода, уже совсем ночной, чистой, иссиня-черной, хорошо помаргивали звезды, одна из которых, если присмотреться, неторопливо летела куда-то с севера на юг. Со всех сторон темнел лес, накрест рассеченный железнодорожным полотном и асфальтовой дорогою.

Перед неподвижным колесом велосипеда в воздухе висела по-лосатая поперечина шлагбаума; сзади, подсвечивая желтым пере-езду, тихонько урчал невидимый автомобиль. Владимир Васильевич стоял рядом с велосипедом, крепко сжимая его гладкие рога. Приятное чувство в ладонях (будто ловко, хлопнув, поймал сразу два яблока) от-зывалось тихой мелодией полузабытых мальчишеских ощущений. За-пахи, безмянные для человека городского и, вероятно, оттого необъ-яснимо сладкие, обволакивали Владимира Васильевича; слабый, но свежий ветерок охлаждал немного влажную спину, и даже изжога по-зорного бегства отпустила, забылась, исчезла на время. До первых го-родских кварталов оставалось, по мимолетной мысли Владимира Ва-сильевича, с полчаса неспешного вращения педалей.

Предвешая, земля легко затрепетала под ногами, а спустя несколь-ко мгновение и сам электропоезд слепящим, оглушительным чудищем вырвался из леса. Было как-то странно, что такая страшная грохочущая сила без разрушений одолевает маленький переезд. Близость тяжелой, многотонной, стремительно несущейся стали, бьющей в щеку горячим ветром, отзывалась легкой, инстинктивной, почти приятною тревогою. Яркие окна цепляли взгляд и слишком быстро перебрасывали его друг другу. В одном окне Владимир Васильевич успел разглядеть обшивку стен, в другом — мужской профиль в очках перед газетою, в тре-тьем...

Владимир Васильевич на мгновение остолбенел и, когда последний вагон мелькнул мимо, страшно, всем животом вскрикнул, оттолкнул от себя велосипед и бросился в темноту, к рельсам. Он бежал по гра-вию, по шпалам, по каким-то ямам, дико голося вслед поезду и раз-махивая руками, пока не рухнул, запнувшись, на колени, но тотчас вскочил, обернулся к переезду, словно собираясь звать на помощь, раздумал, в последний раз коротко крикнул на совсем уже слабые красные огоньки и, прихрамывая, быстро пошел обратно. Рывком по-ставив перед собою велосипед, он, замычав от боли в колене, влез в седло и стал разгоняться, вначале несколько раз мелко подпрыгнув на дурно утопленных в асфальт рельсах. Набрав какую-то немыслимую скорость, в монолитном окружении леса, словно в норе, он мчался по совершенно невидимой дороге. Внезапно впереди на обочине из мра-ка выступили очертания патрульной машины, подсвеченной изнутри, с поднятою крышкою двигателя. Владимир Васильевич загодя при-тормозил, слез, кривясь, с велосипеда, уронил его набок и заглянул в кабину. Два офицера на заднем диване пили что-то горячее из пластиковых стаканов. Один из них, помоложе, увидев внезапно появившееся из темноты лицо Владимира Васильевича, испуганно вскрикнул:

— Ай! — и плеснул из стакана себе на колени. Тихо ругаясь, он искал, куда бы поставить, но плоскости перед ним не было. — Что ты, сдурел, так людей пугать?!

Владимир Васильевич заговорил, обращаясь к другому офицеру, седому, молчаливому, суровому с виду, стараясь успокоиться и четко формулировать мысли:

— В скором поезде, кажется, убивают женщину. Возможно, уже убили. — Фоном ко всем последующим переменам изображений,

будто театральный задник, стояло увиденное, похожее на черно-желтую, очень контрастную фотографию в рамке вагонного окна. Женское лицо, щекою притиснутое к стеклу, с дырою кричащего рта; за нею фигура мужчины, в темном пиджаке и светлой рубашке, с занесенною для удара рукою. Единственным, в чем до конца не был уверен Владимир Васильевич, был нож в руке мужчины. Пораженное воображение могло дорисовать все, что угодно, но это не казалось Владимиру Васильевичу столь важным — ошибиться в лучшую сторону было не страшно.

Молодой и веснушчатый заинтересовался:

— Откуда информация?

— Я видел.

Старший, отнимая инициативу, подался вперед и положил руку на плечо напарника:

— Вы с поезда?

— Нет. Я стоял на переезде и видел через окно.

Милиционеры переглянулись.

— А кто, собственно, сами будете?

— Гм... Допустим, обыкновенный велосипедист. Дачник.

— Выпимши? — вздохнув, спросил молодой почему-то не Владимира Васильевича, а своего товарища. Тот, добросовестно осмотрев Владимира Васильевича, его красное, потное лицо, прилипшую мокрую рубашку и, наконец, светлые летние брюки с черными пятнами на коленях, спокойно произнес:

— Не исключено.

Предположение показалось Владимиру Васильевичу особенно оскорбительным оттого, что ему в самом деле страстно захотелось чего-нибудь выпить.

— Прекратите свои штуки. То, что я говорю, — правда. Я абсолютно трезвый и вменяемый в данную минуту человек. Очевидец преступления. Делайте, что положено в таких случаях, или я буду вынужден обратиться к вашему начальству.

— Оп-па! — молодой даже обрадовался вызову, но его товарищ нахмурился:

— Хорошо, в отделе разберемся. — Он выбрался из машины и, обойдя ее по окружности, подошел к Владимиру Васильевичу, включив ручную фонарь:

— Положите руки на крышу машины.

Владимир Васильевич резко толкнул его в грудь, перепрыгнул невидимый кювет и, в крошечной темноте, из последних сил пробежал по лесу шагов двадцать, нещадно стегаемый по лицу ветками. Затем сбился на шаг, отдуваясь и хромя; остановился на мгновение, прислушиваясь, и с трудом побрел дальше. Никакой погони, естественно, не было. Сменив направление, он, наконец, выбрался на то же самое шоссе, но значительно ближе к городу, и зашагал вдоль него, углубляясь в лес при приближении редких машин и возвращаясь к дороге по их отдалению. Спустя какое-то время Владимир Васильевич осторожно прошел мимо милицейского поста на въезде в город, пересек какой-то жутковатый спящий квартал, в котором никогда раньше не был и, заметив скользящее такси, облегченно прибавил шагу. Но, когда Бель-

ский уже тянулся к блестящей застежке на желтой дверице, металлическая конструкция, словно в кошмарном сне, вдруг медленно тронулась с места и плавно, почти беззвучно удалилась, издевательски мигнув напоследок двумя задними фонарями.

Это было слишком. Владимир Васильевич сел на бетонный бортик тротуара и помял в ладонях лицо. В свете уличного электричества, а также всего происходящего, жизнь казалась невыносимо жестокой и, в сущности, совершенно бессмысленной.

6

Утром Евгений Петрович бился о дверь снаружи, словно был заперт. Бельскому пришлось его впустить. Варов прошелся по голой комнате, кривясь и озираясь, затем бережно прислонил портфель к стене и, присев боком на подоконник, заговорил, осторожно подбирая слова:

— Послушайте, Володя, вы начинаете меня пугать. Нет, с первой частью вашего вчерашнего выступления я совершенно согласен и, будь помоложе, сам проучил бы это животное. Представьте, в юности я недурно боксировал... Но вы сбежали, уж позвольте мне называть вещи своими именами, бросив двух стариков, женщину и детей на растерзание непредсказуемому чудовищу! Это, по меньшей мере, странно, согласитесь.

Небритый Владимир Васильевич, в майке и трусах, сел на матрас, обнял бледные колени, опершись о них подбородком и, почти не разжимая губ, произнес:

— Мне стыдно.

— Очень мило... — Варов сдержался. Он посмотрел на Бельского, хмурясь, и вдруг оттолкнулся от окна, шагнул к матрасу и, расстегнув пиджак, кряхтя, уселся рядом. — Я стараюсь вас понять, Володя. Горе, конечно, многое объясняет, но меня по-настоящему тревожит ваше душевное состояние. Что прикажете думать, если вначале человек проводит ночь неизвестно где, затем, точно издеваясь, вежливо со мною знакомится, будто мы не дружили десяток лет, а в довершение отказывается присутствовать на поминках собственных родителей... Простите, это ваше дело, конечно... Но добавьте сюда безответственное поведение у родственников! И это все на фоне превращения комнаты в какую-то тюремную камеру. Что мне думать, по-вашему?

— Как вы считаете, — тихо спросил Бельский, — Люба меня простит? Я когда-нибудь смогу еще раз к ним приехать?

— Затрудняюсь сказать. Хотя, в общем-то, все закончилось благополучно: мы, конечно, приготовились к последнему бою, но этот мерзавец ушел к фельдшерице. Он, кстати, никакой не муж, а... гм... фаворит, настоящий же супруг Любы погиб на какой-то небольшой и крайне важной для России войне. Но вернемся к вашему состоянию, — Варов про себя усмехнулся неожиданному каламбуру, — уж простите за прозу, но мне необходимо объясниться с вами о весьма серьезных практических предметах. Вы вообще в силах адекватно воспринимать действительность? Хотя, что я спрашиваю...

— Я вас слушаю.

— Хорошо. — Варов в три приема поднялся, заложил руки в карманы брюк и принялся ходить по комнате перед неподвижным Бельским. — Со смертью родителей вы унаследовали значительные средства. Это — две квартиры: одна на набережной Мойки, другая здесь, в нашем городе; это две серьезные страховые выплаты плюс предсказуемая сатисфакция авиакомпании. Все это, по моим прикидкам, составит около полумиллиона североамериканских долларов. — Евгений Петрович не знал, что было известно Бельскому о собственном происхождении, но с уверенностью старого игрока полагался на импровизацию: — Теперь самое неприятное. Вы не родной сын Бельских. С точки зрения закона — даже не сын вовсе. Объект опеки. Вас во младенчестве взяли из приюта на воспитание, известно ли вам об этом? — Лицо Владимира Васильевича будто замерзло, оно не выражало ничего. Присев на корточки, Варов достал из портфеля бумаги и протянул Бельскому: — Возьмите, это исключит любые сомнения. — Владимир Васильевич не пошевелился. Варов положил документы рядом с Бельским на матрас. — Впрочем, это не к спеху. Но мне хотелось бы, чтобы вы, скорбя и размышляя, держали также в уме практическую сторону вопроса. Как вы должны были понять из нашего вчерашнего визита, у вас существует дядюшка, Федор Васильевич. Его родственная связь с Василием Васильевичем Бельским установлена документально. С учетом ваших обстоятельств он имеет право на половину наследства. Вам пока все ясно?

Бельский наклонил голову. Варов с некоторым сомнением потер загривок:

— Допустим. Итак, будучи вашим преданным другом, в житейском смысле заменяя вам отца, исходя, наконец, из ваших интересов, считаю необходимым предложить некое компромиссное решение, лучшее, я уверен, для вас, и приемлемое для вашей неожиданной родни.

Евгений Петрович остановился. Бельский спокойно, как-то слишком спокойно, будто о чем-то прошедшем, незначимом, произнес:

— Говорите, я слушаю.

— Я считаю, что следует по-доброму предложить Любе и Федору Васильевичу обе страховки вместе с деньгами владельцев самолета. Это приличная сумма, для деревенских просто огромная, вы, таким образом, сохраните фамильную недвижимость, стоимость которой составляет три четверти наследного капитала. Я же сделаю все, чтобы до окончательного раздела возле наших милых родственников не объявился ни один пархатый адвокат. Итак?

Бельский вдруг мягко улыбнулся:

— Я ценю вашу заботу, Евгений Петрович. Знаете, у меня есть другое решение. И давайте сразу договоримся: оно не обсуждается. Люба получит все, то есть буквально все, и квартиры и страховки. Кроме денег от авиакомпании. Они — ваши. Назовем это ничтожною благодарностью от моей семьи за все хлопоты. Прошу вас, не нужно, — он остановил оцепеневшего Варова поднятою рукою. — Смею ли я просить вас заняться необходимыми формальностями? — Евгений Петрович нервно кивнул. — Вот и прекрасно. Вопрос закрыт. Раз и навсегда. А теперь скажите: нет ли случайно в вашем волшебном портфеле какой-нибудь завалящей бутылочки?.. Как кстати! — Бельский

легко поднялся и взял под руку Варова. — А пойдете-ка с нею в кухню, прошу вас, там гораздо уютнее.

Ошеломленный Варов не сопротивлялся:

— Что вы, я, так сказать, с радостью...

7

Незаметно хмелеющий, расчувствовавшийся отчего-то Варов говорил о себе. Слова будто лились из него, ровно и неспешно:

— Видите ли, Володя, жизнь провинциального русского газетчика научила меня разбираться в орфографии, алкоголе и евреях. Я могу безошибочно распознать флексию, кальвадос и ашкенази, — одною из причин его откровений могли быть, например, необычные, внимательные, ласковые глаза Бельского, словно боявшиеся пропустить что-то важное, — но в людях так ничего и не понял. Хоть убейте.

Евгений Петрович поднял рюмку, приглашая. Они выпили. Поморщившись, Варов продолжал:

— Вероятно, в отместку люди не понимают меня. Представьте, на днях одна петербургская газетенка снова вопила о моем антисемитизме. И никто не догадывается, что я, в сущности, безобиден, что я просто из породы тех бестолковых русских, что своим ворчаньем, конечно, потакают крайностям, зато после, в погромы, самоотверженно прячут еврейские семьи. Заметьте, я вполне осознаю безответственность своего поведения, но, извините, ничего с собою поделать не могу. А уж их инсинуации на тему моего национализма попросту смешны. Ну какой из меня националист?! Любая русофильская идея без православной основы похожа на уху без рыбы, так что ее и ухую-то как-то странно называть. А я человек неверующий, нерелигиозный...

— Что, совсем? — спросил Бельский.

Евгений Петрович усмехнулся:

— С точки зрения либеральной морали у меня вполне христианские пороки: я действительно подозреваю жидов, люблю выпить и считаю свое мировосприятие единственно верным. С другой стороны, как всякому русскому, мне тоже порою хочется рухнуть на колени и сладко разрыдаться... Но, если говорить серьезно, я все же придерживаюсь того мнения, что мы здесь — существа случайные, а после смерти лишь удобряем землю для потомков... Вы мне нравитесь, Володя, в вас есть что-то, — Варов щелкнул пальцами, — беззащитное, что ли. Но мне бы не хотелось, чтобы мой загадочный рыжий внук стал на вас похожим. Чувствительность, рефлексия, обстоятельное самокопание — товар в наше время неликвидный, даже опасный, уж простите за купеческую терминологию. Хотя я тоже был таков — поэт, студент, мечтатель, однако совершенно не представляю ваше будущее. Другие времена и нравы... Разумеется, я помогу вам, пока в силах, но сколько мне осталось — кто знает? Что будет с вами потом? — Варов вздохнул, покачал головою и поднялся. — О таких, как вы, Володя, необходимо заботиться, иначе бессовестное племя просто вытопчет вас, закатает асфальтом и станет носиться взад-вперед на толстой шипованой резине... Я, пожалуй, пойду. Водку мы допили, мне еще предстоят кое-какие дела, а вам следует выспаться и поразмышлять. Возможно, завтра ваши

планы насчет наследства... — Варов показал ладони, — молчу, молчу.

Открытая дверь неожиданно обнаружила на лестничной площадке Палыча с занесенною над звонком рукою.

— Ох, напугали! А я только собрался... так, собственно, проходя мимо, — Палыч смутился незнакомого, пьяного, респектабельного Варова. Евгений Петрович, заметив это, важно обернулся к Бельскому:

— Кто это? Кто вы, любезный? Не имею чести.

— Владимир Васильевич, родненький, — Палыч, совсем растерявшись, решил быстрее покончить, вовсе не обращая внимания на Варова, — вот, возьмите, а мне бежать нужно, — он протянул мимо Евгения Петровича сверток, похожий на обернутую книгу. Варов перехватил его довольно бесцеремонно и разодрал газету. Бельский увидел в его руках икону Божьей Матери. Палыч застыл на лестнице, прикрыв ладошкою рот. Варов глубокомысленно кивнул:

— Ах, вот оно что... Что ж... — он протянул икону Бельскому, — возможно...

Палыч, испуганно и как бы заворуженно глядевший в руки Варову, облегченно выдохнул, точно сбросив тяжесть:

— Пфу... — и отбарабанил горошком: — это вам от нас с внучкою, Владимир Васильевич, авось прибегните... Простите, еще раз, коль что не так! — кричал Палыч уже с нижнего этажа.

Евгений Петрович произнес задумчиво: «Однако... персонаж»; затем, насивистывая, спустился к машине, поглядел на крошечную фигурку в берете, бежавшую со двора, и, покачав головою, сел за руль, а спустя полчаса с тою же мелодией на губах открыл калитку во двор Любы и Федора Васильевича.

Усаженный к столу, обласканный Любой, дрыгающий коленкою под попою одного из мальчишек, Евгений Петрович бросал будто бы игривые вопросы:

— Люба-Любушка! Любаня, я бы сказал! Скажите нам, старикам, — Федор Васильевич, резавший что-то из деревяшки здесь же за столом, спустив очки на самый кончик носа, не обращал на Варова никакого внимания, — что вам нужно в этой жизни? Представьте, что я добрый волшебник, что я исполню сейчас любую вашу прихоть. Но лишь крупную, умоляю вас, самую крупную.

Люба, разливавшая чай, смущенно улыбнулась:

— Да ну вас, все надо мною шутите. Ничего нам не нужно. Приезжайте разве почаще, детки-то вон как вас полюбили. — Один из деток изо всех сил скакал на колене Варова, уже причиняя тому нешуточную боль, другой же проползал в это время под стулом Евгения Петровича, стараясь укунить его за икру. — А мечтания нам без надобности.

Варов, наконец, стряхнул с себя наездника, поймал за вихор зубастого ползуна и, хлопнув обоих по задкам, не без сопротивления отправил на двор.

— И все же, милая моя, — отдуваясь, продолжал Евгений Петрович, хлебнув чаю из каких-то душистых листьев, — попробуйте серьезно отнестись к вопросу. У меня для этого есть некоторые основания.

Огласите, так сказать, ваше самое заветное желание. Удивите золотую рыбку.

— Не знаю даже. — Люба, вытирая руки, присела на краешек стула, задумалась и вдруг твердо сказала: — Корову. — Но тут же смутилась и посмотрела на отца: — Корову, папа?

Федор Васильевич невозмутимо продолжал ковырять деревяшку.

Бельский возмущился:

— Вы смеетесь надо мною, что ли? Корову! Люба, почему не стадо? С пастухами, ветеринарами и коровником. Федор Васильевич, будьте хоть вы благоразумны...

Старик, продолжая работу, неторопливо спросил:

— Правда, что Васька на самолете разбился? Я в газете читал.

Варов вздохнул:

— Не хотел вас расстраивать...

— Бросьте, мы с детдома не видались. Жаль их с женой, конечно. В постели помереть — куда спокойней. Я так понимаю, что вы эти вопросы к наследству Васькиному ведете.

— Узнаю старую гвардию! — восхищенно откликнулся Варов. — Да, нас в самую суть глядеть учили. Так и есть, пронизательный Федор Васильевич, о том и разговор.

Старик отложил деревяшку с ножом, сцепил пальцы в замок и, глядя на Варова поверх очков, строго спросил:

— Тогда какого рожна ты нас пытаешь? Вынь да положь, что причитается, а мы как-нибудь сами разберемся, чего нам надобно. Так по правде должно быть или еще как?

Варов нисколько не смутился. Насмешливо встретив и немного обломав суровый взгляд Федора Васильевича, он зло усмехнулся и жестко, без оглядки на Любу, спросил:

— По правде, может, и так. Только когда ты, старик, правду последний раз видел? Я тебе так скажу: будет у вас с Любой что-то от наследства или нет — это мне решать. Так легло. Хочешь разговор продолжать — говори, чего вам от жизни надо, а если не надо ничего, то прощайте, и пес с вами. — Заметив растерянность в глазах Федора Васильевича, Варов чуть смягчил интонации: — Я за ваше могу побороться. Это моя добрая воля — и только. Племянш твой мне не посторонний, да и вы мне в душу запали, сам не знаю почему. Но, помни, старик, я тебе ничего не должен, хочешь — ступай сам в город права качать.

Федор Васильевич схватил обратно нож с деревяшкой и яростно принялся ее строгать. Варов усмехнулся, вот-вот. А то — «вынь да положь»!.. Он понял, что выиграл:

— Так что, Люба, может быть, вы хотите отсюда уехать? Или купить вам всю эту занюханную деревню?

Конечно, Бельский знал. Он хорошо помнил тот обед с отцом, один из первых в его самостоятельной жизни. Василий Васильевич тогда придвинул свой стул вплотную к сыну, обнял за плечи, которые сразу напряглись и замерли, ведь прикосновения между ними были не в ходу,

и, попросив не выдавать маме, заговорил совсем тихо, словно не желая быть подслушанным. Восемнадцатилетний Бельский беспечно пожал плечами: «И что это меняет?» Отец неловко притянул его к себе, кольнул усами щеку и придержал, шепча: «Ничего, сын. Конечно, ничего». Молча, тесно прижавшись друг к другу, они просидели ровно столько, сколько сохнут тугие слезы на глазах седого мужчины.

«Случается, любовь рождает ложь, и тогда правда не враждует с нею, но тихо и терпеливо ждет в сторонке своего часа», — вспомнил Владимир Васильевич слова отца. Почему-то он не стал расспрашивать о фотографии подробнее, хотя знал ее с детства. В альбоме карточка «с Вовкою в мамином животике» располагалась между снимком молодых загорелых, смеющихся родителей в пляжных костюмах на черноморском побережье и личным портретом в полный рост трехлетнего Бельского, изумленно распахнувшего глаза в камеру. В связи с этим портретом, где он балансировал на припухлых ножках в совершенном неглиже, Бельский мельком подумал, что внешне почти не изменился, лишь пропорционально увеличился. Словно не выросл и не мужал. Те же округлые формы плеч и рук, та же плавная детская неопределенность торса... А над фотографией будто бы беременной мамы Бельский замер и вдруг ясно, словно воочию, увидел родителей, еще совсем нестарых, глядящих на его смешное топотанье по ковру, и внезапно потрясенных единою мыслью: «Узнает?..» И такую болью потемнели глаза Ольги Николаевны, что Бельский-старший должен был, просто обязан, немедленно что-нибудь сделать. Молча, погладив ее по щеке, он оделся и вышел, а спустя полчаса вернулся за женою и сыном. Привел их к дверям фотоателье. Крепко поцеловал Ольгу Николаевну в щеку и неловко улыбнулся, подняв плечи. Она решительно толкнула стеклянную дверь. И пока в соседнем дворе Василий Васильевич гонялся взапуски с маленьким неуклюжим Вовкою, Самуил Яковлевич Банчик, деликатно молчаливый, фотографировал красную от стыда Ольгу Николаевну с диванною подушкою под платьем...

Ему вдруг очень сильно захотелось, чтобы в альбоме оказались снимки Федора Васильевича с Любою. Именно для этого как можно скорее требуется ехать в деревню; Бельский снял телефонную трубку, прочел записанный на обоях телефонный номер редакции... и все же заколебался: посвящать Банчика в свои планы не хотелось. Но другого быстрого пути не придумывалось, поэтому отмахнулся и позвонил. Сема с такою пылкою готовностью предложил немедленно привезти Бельскому фотографический аппарат прямо домой, точно Бельский просил о лекарстве, без которого с минуты на минуту скончается в страшных муках. Впрочем, энтузиазм Банчика казался добрым предзнаменованием. Единственным препятствием оставался топографический идиотизм самого Бельского, исключающий возможность запоминать приметы пройденной дороги и, следовательно, возвращаться к известному месту. Он ни за что не нашел бы деревни без помощи Варова. Пришлось снова звонить, уточнять какие-то названия, глупые ориентиры, мяться, отвечая на тревожные вопросы Евгения Петровича, выслушивать странные, ни на что не похожие советы, из которых Бельский ничего не понял... Облегченно вздохнув, Бельский положил телефонную

трубку, оделся, осмотрел себя в зеркале и потрогал почти прежний нос.

Оказалось, Сема располагает временем, чтобы «с удовольствием», по его выражению, отвезти Бельского в деревню, более того, у него имеются какие-то редакционные дела в соседнем поселке, так что спустя пару часов он даже готов забрать Бельского «из гостей» и доставить обратно. Никаких одолжений, стечение обстоятельств.

А Евгений Петрович, проинструктировав Банчика, размышлял. Тот побег Бельского из деревни случился очень кстати и предполагал прекращение сношений Владимира Васильевича с обретенною роднею. Но Бельского, страдающего одиночеством, по-видимому, сильно тянет к брату отца, столь похожему на покойного. Допускать этих свиданий ни в коем случае нельзя, поскольку иначе Бельский озвучит передаваемое в пользу дяди наследство и Варов не получит ничего, кроме отказанного самим Бельским. Это крохи, в сравнении с тою суммою, на которую можно рассчитывать, удовлетворив какое-нибудь незамысловатое желание Любы или старика и напрочь исключив отношения между ними и Владимиром Васильевичем.

Можно было бы, конечно, отыскать Гришу, но Варов с юности брезговал «мужичьем», к тому же не был уверен в совершенной управляемости деревенского пьяницы. Вздохнув и шутовски разведя руками, точно извиняясь перед кем-то, Евгений Петрович набрал номер Даши и суровым, не терпящим возражений голосом пригласил ее немедленно отобедать. Да, разговор очень серьезный и касается Бельского. Нет, отложить нельзя. В вечернем наряде нет никакой необходимости. Через пятнадцать минут в «Ладье», и не позднее, красавица!

9

Сема второй час кружил проселками. Поначалу он находил нужным чертыхаться, приносить извинения и, остановив автомобиль, вслух читать засаленную, рваную на изгибах карту, близко поднося ее к лицу. Но это лишь пока Бельский слабо вскрикивал, смутно припоминая веренищу эйфелевых набросков по правую руку или тенистый хвойный тоннель за железнодорожным переездом. Когда же Бельский замкнулся, услышав что-то фальшивое в голосе Семы, обнаружив его нервный интерес к наручным часам, его старательное искажение каждой путевой идеи, и потерял интерес к бессмысленному блужданию лодки с сумасшедшим капитаном, Сема тоже насупился, побагровел, склонился к рулю и молча ехал пыльными, тряскими проселками без какой-либо маски. «Почему они не растят хлеб, — думал Бельский, глядя в окошко на ровные, унылые строки приземистой ботвы, уходящие за горизонт, — может, от этого здесь такая тоска?..» Он как-то перестал думать о цели поездки, уже не чувствовал удивления, гнева или обиды. В третий раз минуя памятный переезд, он даже прикрыл глаза, чтобы как-нибудь не смутить Банчика. Ему не было интересно, чем закончится это путешествие, какие планы на этот счет у Семы или у кого там еще; Люба и Федор Васильевич представились ему вдруг выдуманными жителями сказочной страны, никогда не существовавшими на самом деле. Тогда он попросил Сему:

— Отвези меня, пожалуйста, домой.

— Нет уж, — Сема посмотрел на часы, — мы вот-вот приедем.

Бельский взглянул на красный, горбоносый, с пульсирующим кадыком профиль Банчика:

— Куда?

— В деревню.

— Ты уверен?

Сема промолчал. Но внутри поклялся, что больше никогда не возьмется за столь унижительное поручение. «Катай его, где хочешь, но не меньше двух часов», разве это нормально? Конечно, следить за домом Любы и Федора Васильевича не менее унижительно, но подобные приказы случались и раньше, и обыкновенно с собою Сема мирился почти не ссорясь; здесь же — вот он, Бельский, сидит рядом, обоснованно думает гадости, и со стыда хочется взять и все ему рассказать. Ведь, в конце концов, именно ради Владимира Васильевича Семе приходится подличать, кривляться и краснеть. Иначе коварное деревенское семейство, готовое на все ради наследства Бельских, использует доверчивость, рассеянность, самое горе Владимира Васильевича, и пустит его по миру. И естественно, не даст заработать Варову с Семой. «Но это вторично, вы же понимаете, Владимир Васильевич? и, в сущности, просто удачное стечение обстоятельств, как, представьте, почти всегда случается у нас с Варовым: добрые, справедливые предприятия счастливым образом приносят прибыль...» — Сему несло...

Примерно то же самое, лишь чуть-чуть смещая фокус, рассказывал сам Евгений Петрович Даше в «Ладье»:

— ...но им нужно все, Даша! О, моя дорогая, это те еще пейзажи! Вы вдумайтесь: наша сельская королева решила воспользоваться случаем и поправить свою женскую, так сказать, неустроенность, одновременно заполучив наследство Бельских. Мне лично кажется, что она слишком глупа для подобных озарений, скорее всего, это придумал старик, очень, кстати, похожий на своего покойного брата. Однако должен признать, она недурно играет наивную родину-мать в некра-совском вкусе, и добилась на этом поприще очевидных успехов: наш тишайший, добрейший Владимир Васильевич избил ее очередного ухажера! Можете себе это представить?

Даша с горящими щеками глядела куда попало, только не в лицо Варову. Ей было невыносимо стыдно. Не потому, что ее, по словам Евгения Петровича, отшвырнули, обменяли, словно вещь, хотя это случилось впервые в ее жизни, а совсем, совсем по-другому: Даше было мучительно слушать именно эту старую рыжую сволочь. Не смысл произносимого, но какое-то оскорбительное сочетание незаметных и неважных по отдельности оттенков интонации, мимики и жестов, плюс что-то еще, совсем уж неопределенное, но крайне паскудное во взгляде, делали Варова в глазах Даши невыносимо гадким и липким. Когда он говорил о ее отношениях, о Бельском, даже просто упоминал ее имя, то будто омерзительно прикасался, и ей хотелось вскрикнуть. Они были представлены довольно давно, но, встречаясь у общих знакомых, никогда не разговаривали; Даша не имела о нем даже отдель-

ного мнения. Теперь же, с первых его фраз, она испытала пронзительное отвращение, ясно чувствуя, что должна бы не краснеть, как виноватая, а плеснуть в морщинистую физиономию минеральной водой из стакана, если не смазать наотмашь по щеке, и уйти, громко фыркнув и высоко задрав подбородок. От стыда у нее горели не только щеки, но, казалось, вся голова, и словно грелись волосы. Почему так — она не понимала, не смогла бы объяснить, она просто кипела.... Но неожиданно для себя самой выронила:

— Я хочу ее видеть.

— Видеть недостаточно. Повторяю, нужно Володьку спасать, действовать. Я знаю, Даша, как он вам дорог, знаю ваш решительный характер и, черт возьми, верю, что никакая ложная гордость не сможет помешать вам спасти друга из лап этих лицемеров, этих пройдох, этих циничных авантюристов! — Евгений Петрович вдруг сделал брови домиком, отчего вся его физиономия приобрела жалостное выражение, накрыл пальцы Даши своею ладонью и заговорил, как ему представлялось, мягко, проникновенно:

— Я понимаю, как вам больно. Она не годится вам даже в прислуги. Вынужден сказать пошлость: за любовь надо бороться... А если даже, не дай бог, у вас с Володей что-то не сложится — все равно, помочь человеку в беде наша с вами святая обязанность. Я ведь вас вижу, Даша, моя Даша, — вы себе не простите...

Даша отдернула руку и встала:

— Хватит. Я все поняла. Что вы хотите? — она смотрела на него сверху вниз.

Варов со звоном бросил вилку на стол (он еще как-то ловко, почти незаметно, умудрился пообедать), быстро вытер губы салфеткою, поднялся и, уронив на стол несколько купюр, подхватил Дашу под локоть:

— Вы не Даша, вы — Диана... едем!

10

Слушая грязные инсинуации, которыми Сема сыпал с лихорадочным воодушевлением, Бельский вдруг почувствовал, что на самом деле уже не хочет видеть Любу с Федором Васильевичем. Разумеется, он не верил Семе ни на грош, но самый образ этих людей уже тускнел и стыл в его сердце. Сема, жестикулируя и ежеминутно поворачиваясь, доказывал моральное право Варова на добродетельную интригу, а Бельскому казалось, что сходство Федора Васильевича с отцом обесценено, непоправимо испачкано; что несчастной Любе, готовой любимой сестре с двумя отличными племянниками в придачу, присвоили какой-то маленький шахматный статус, и все его теплое, нежное к ней чувство теперь куда-то исчезло. К тому же, став благодетелем, он все равно в каком-то смысле их теряет, навсегда примиряясь с подленьким сомнением в их искренности... Но самое важное ему постепенно открывалось в другом: снова и снова все происходило вопреки его воле, без его участия, словно нарочито демонстрируя Бельскому ничтожность его сил, бессмысленность планов, неуправляемость событий; он стал находить в своем странном, каком-то противоестественном бессилии

некую последовательную настойчивость, отчетливую интонацию, продуманность намека...

Тем временем автомобиль вполз в деревню, и Сема, точно опомнившись, испугался:

— Владимир Васильевич, только, прошу вас, сделайте вид, будто я вам ничего не рассказывал. Меня Варов съест, ну, буквально съест, понимаете? Он же мне благодетель, вместо отца... я ведь только ради вас, хотя он и сам виноват, что меня такие глупости... Но что же вы молчите? Дайте слово не выдавать! Я требую, дайте же мне слово! — Сема даже попытался строго крикнуть, но Бельский, вздрогнув, едва не расхохотался. Сема в ужасе на него вытаращился, чуть не ударил машину о столб, резко ее остановил, стукнул кулаками в руль и неожиданно всхлипнул:

— Да что вы это?.. будто смеетесь... Я же... ради вас... на предательство, а вы... ржать... Это, знаете ли... непорядочно... он меня прикончит...

Бельский обнял его за плечи:

— Брось, Семка, конечно, я тебя не выдам. Но, если честно, ты такое цельное говно — аж завидно...

Здесь Сема, благодарно всхлипывая на груди Бельского, рассказал бы еще о том, для чего, собственно, он целых два с лишним часа катал Владимира Васильевича вокруг деревни. Но не знал сам. На что не преминул пожаловаться, мол, не доверяют, не посвящают — и прочее в жалостливом, сопливо-мальчишеском тоне. В это мгновение Бельский увидел, как мимо них скользит автомобиль Варова с Дашею на переднем сиденье. Евгений Петрович также успел рассмотреть трогательную сцену утешения Семы, но, не понимая ее смысла, в гневе на Банчика, который с полчаса как должен был выгрузить Бельского у дома Любы, даже не остановился. Он не мог сообразить, что же ему делать дальше: планируя с помощью разъяренной Даши поставить скандальную точку в отношениях Бельского с деревенскими родственниками, он никак не мог предугадать, что его подведет Сема Банчик. Увидев своими глазами Бельского рядом с Любой, Даша, предварительно взведенная, должна была выстрелить, а так — каша какая-то, нелепица, не знакомить же ее, в самом деле, отдельно с Любой или, остановив машину, как полному идиоту, пояснять Бельскому, зачем он, Варов, притащил Дашу сюда?..

Даша, несколько раз обернувшись, спросила:

— Почему вы не остановились? Это же Банчик с Володей?

— И что дальше? — хладнокровно ответил Варов: он пытался что-нибудь придумать, не предполагая, что все и так складывается к его полному удовольствию. — У нас с вами, Даша, есть цель, миссия, так сказать. И мы должны ее выполнить. Вот, кстати, та самая обитель зла.

Варов съехал с дороги и заглушил машину довольно далеко от дома, на изгороди которого висели какие-то лоскутные одеяла, а калитка была распахнута. Дорогою Даша постепенно поддавалась Варову, она словно приножалась к смраду, ее брезгливое ощущение притупилось, а «подлая сущность» Бельского, наоборот, все более впечатляла ее под непрерывным потоком варовского словоизвержения. Несмотря на

упомянутый Евгением Петровичем «некрасовский вкус», она нарисовала Любе опростившееся, оцуганенное лицо с той самой, изорванной, фотографии, черные блестящие глаза, полные красные губы и долгую гриву распущенных волос. Фигура Любы виделась ей непременно полной, почему-то обязательно в широкой юбке с маками и белой мужской рубашке, сильно открытой на груди и стянутой на талии в узел. Смешная, плакатная чувственность образа не смущала Дашу, как не смущал воображаемый Бельский, прижимающий к сердцу подобное существо. Даша, горько усмехаясь, думала, что уже достаточно полагалась на здравый смысл, сочтя оскорбительную индифферентность Бельского следствием трагических переживаний, психологическою травмою, возможно, временным помешательством, а на самом деле (ох, какая же дура!) — все до невозможности пошло (его, его словечко!): «смена партнера под влиянием стресса» или как еще там у них, гадов, где уж нам, холодным-бездуховным, понять такое... Она стукнула дверцею, сладко потянулась, поправила волосы и, неожиданно для Евгения Петровича, сама неторопливо зашагала к калитке. Варов что-то крикнул ей вслед из окошка, но она не слышала, небрежно отмахнулась и, сплетя руки на груди, подошла к изгороди. Люба, стоя к ней спиною, стыдила своих мальчишек, сидящих перед ней на крылечке, обнявши коленки и опустив глаза так низко, что их крупные оттопыренные уши смотрели в землю. Тем не менее один сразу как-то исподлобья заметил Дашу, толкнул другого локтем и показал ей язык. Люба легонько хлопнула его по затылку и обернулась.

— Здравствуйте! — улыбнулась. — Вы к нам? Заходите.

Даша неожиданно покраснела, она точно проснулась и, замотав головою, нет-нет... извините, я ошиблась, почти бегом бросилась прочь. Мальчишки рванулись следом, не обращая внимания на грозные окрики Любы. Они, конечно, догнали бы смеющуюся сквозь слезы Дашу, свистали бы, может, кружась у ее ног, толкаясь и весело хватаясь, как щенки, но, завидев в стороне машину Варова, опешили, синхронно развернулись и, прыгая от избытка чувств по-кенгурячьи, бросились к ней...

Бельский уже отчаялся уговорить Сему ехать обратно, категорически не желая никого видеть: ни Любу с Федором Васильевичем, ни Варова, ни тем более Дашу. Почему «тем более» он не успел додумать, когда сама Даша уверенно и крепко бухнулась в кабину, хлопнув Банчика по спине: домой, Сема, едем быстрее домой. Сема, жалобно, но упорно твердивший перед этим Бельскому, что просто обязан «на секундочку» переговорить с Варовым, а после готов за Бельского умереть, хотел что-то возразить и Даше, но, взглянув ей в лицо, только вздохнул, послушно заводя двигатель. Автомобиль сдал от столба задом, подняв густое облако пыли, напугал двух самостоятельных гусей и исчез из деревни.

11

— Останови здесь, — приказала Даша за площадью. Выйдя из машины, она, не оглядываясь, зашагала по тротуару своею уверенною

походкою... но что-то выдавало: может быть, поворот головы или не по-Дашиному опущенные плечи, — Бельский словно видел отражение собственного, тусклого, безысходного отчаянья...

Автомобиль, набирая скорость, обгонял отвернувшуюся Дашу. Бельский неотрывно смотрел на нее, изгибаясь назад все сильнее.

— Стой! — крикнул он Семе, когда Даша стала неразличима среди прохожих. — Да остановись же! — выпрыгнул из машины и быстро пошел против течения, огибая встречных людей на тротуаре. Увидев Бельского, Даша резко встала, кто-то налетел на нее сзади, она попыталась сбежать, но Бельский успел схватить ее за локоть.

— Что... что тебе еще от меня нужно? — она закричала, не обращая внимания на любопытных прохожих. — Паясничать не с кем? Давай, скажи мне: перестаньте, Дарья, на нас смотрят! Отстань от меня, понял? — она рыдала с совершенно сухими глазами; только Бельский знал, видел, чувствовал, что она рыдает. Он с силой тянул ее к себе, пробуя обнять, но она отбила его руки и отвернулась, схватив лицо в ладони. Однако уйти уже не пыталась.

— Здравствуйте, — услышал вдруг взъерошенный Бельский. Рядом стоял Палыч. Его держала под руку хорошенькая барышня, где-то виденная раньше. Она с серьезным интересом, словно диких животных, разглядывала Бельского и Дашу. В особенности яркую, красивую Дашу.

Палыч, обращаясь к Бельскому, ласково смотрел на свою спутницу:

— Позвольте вам представить, Владимир Васильевич, внученьку мою ненаглядную, Оленьку.

Бельский с удивлением отметил, что морщинки на личике Палыча сложены совсем другим узором против обычного, что он жмурится, переминается, даже оглядывается кругом, словно говоря: да посмотрите же, что же вы не смотрите, бестолковые, какая удивительная, какая невероятная у меня внучка!.. Берет его сегодня как-то художественно, по-парижски, отрицал симметрию, а на согнутой для Оленьки ручке элегантно торчал в сторону крошечный мизинец.

— А я вас знаю, — выпалила вдруг Оленька, покраснев, и было заметно, что это еще не весь багрянец, на который она способна, что это еще она сдерживается, — я вас на кладбище видела. Вы — Бельский.

— И я вас... видел, — пробормотал Владимир Васильевич, сразу вспомнив гневную оппозицию юному Варову.

Спасая внучку от окончательного пожара и откровенно любуясь ею, Палыч заговорил сам, весело, но неторопливо, как бы с удовольствием сдерживаясь:

— А мы вот, знаете ли, в храм Божий направляемся, — он почтиительно кивнул на золотую маковку с тонким высоким крестом, словно указующим в причудливое белоснежное облако, единственное в глубоком голубом небе. — Так уж повелось: Оленька ко мне, а я с нею — к Богу.

Бельский, не глядя, довольно бесцеремонно потянул Дашу, стоявшую к ним спиной, за плащ. Она чуть не оступилась от неожиданности, засемила каблуками вперед и ухватилась за Бельского, чтобы не

упасть. Владимир Васильевич крепко взял ее за талию, развернул и спросил Палыча:

— Нас возьмете с собою?

Оленька чуть не подпрыгнула, даже ладошки для хлопка дрогнули, но рассердилась на себя и дернула за рукав дедушку. Палыч, вероятно, от неожиданности, сначала как-то неуверенно покачал головою, словно рассуждая сам с собою: не баловство ли... Но встряхнулся:

— Да что это я, в самом деле! Конечно, идемте, милые вы мои! — он обернулся к внучке: Оленька степенно и очень решительно кивнула. — Вот, и внученька понимает... все вместе... как хорошо...

Они свернули с тротуара в парк и неторопливо зашагали по кленовой аллее, одной из нескольких, лучами сходящихся к храму. Люди текли к вечерне, их было немного. «Немного потому, наверное, что церковка невелика; а еще потому, может, что вообще мало нас, православных», — сказал тихонько Палыч, и это нас так неожиданно похорошему кольнуло Бельского, что он улыбнулся. Они с Палычем шли позади Оленьки и Даши, разговаривая, вернее, журчал старик, не особенно претендуя на внимание. Фасад красного кирпича с широким крыльцом и арочными дверьми-воротами, украшенными восьми-конечными крестами открылся внезапно, точно выступил навстречу. Бельский увидел, как впереди подобралась и посерьезнела Оленька, а за нею Даша. Сам же он все сильнее чувствовал растущую необъяснимую тревогу, какое-то нервное томление, тупой поджелудочный страх...

Оленька на ходу достала из сумочки сложенный шелковый платок, встряхнула его за угол, расправляя, и покрыла голову, аккуратно подоткнув непослушные прядки. Даша растерянно и жалобно оглянулась к Бельскому, словно ее коварно бросили одну, однако Оленька, смотревшаяся в платке, как куколка, заметила Дашин взгляд и уверенно ее успокоила:

— Это ничего, не волнуйтесь... Не самое это важное... Ну, хотите, я тоже так, — она быстрым движением стянула платок и сунула обратно в сумочку, — вот! — Оленька словно сделала для Даши все, что могла, решительно отвернулась и перекрестилась на образ над воротами. Даша, косясь на нее, как маленькая, повторила все в точности.

— Помните, мы о любви тогда не договорили? — прошептал Палыч Бельскому. — Вот и посмотрите, какие они, наши-то... — Они стояли перед дверьми в храм Божий: хрупкая, небольшая, ладная Оленька, совсем юная, почти ребенок, и Даша, рослая, сильная молодая женщина. — Господи Милостивый, — крестясь, шептал Палыч, — сохрани их... и детушек их... и всю Россию нашу...

Палыч шагнул к паперти. Бельский придержал его за руку:

— Извините... Я ненадолго... Мне, знаете, надобно... — он уже пятился, удалялся. Палыч прижал обе руки к груди, вытянул шею и даже привстал на цыпочки:

— Да что вы, я понимаю... не волнуйтесь... Может быть, не так сразу...

Бельский уже не слышал, он быстрым шагом пересекал парк. Он пропетлял по городу, будто замечая следы, и вернулся домой. В двери

квартиры торчала гневная записка одного из постоянных заказчиков, и Владимир Васильевич, комкая ее на лестнице, с тоскою вспомнил, как давно не работал.

12

Бельский остановился на пороге комнаты.

Богородица глядела на него с подоконника, чуть откинувшись к стеклу. Бельский решил, что ей неудобно, и взялся поправить. Он рассматривал некоторое время лик на вытянутых руках и вдруг понял, что дальше так продолжаться не может. Бунт рояля, безумная ночь, проведенная в полубреду на вокзале, утопия с формальным возвратом к началу взрослого существования, обретение новой родни, побег, страхи, наваждения, словом, все, происшедшее с ним после смерти родителей, неожиданно слепилось в горький комок безысходной уверенности в том, что каждое действие неверно, любое решение сомнительно, что он одновременно центр, часть и цель каких-то вражеских манипуляций, а помощи ждать неоткуда, потому что враг прячется внутри и действует оттуда жестоко и безнаказанно. Прислушиваясь, он ясно различал его в себе, хамоватого, привычного, суетливого, не умолкавшего во всю жизнь ни на минуту, а теперь и вовсе отбросившего приличия, будто взбесившегося, готового нести любую безумную, бессвязную чепуху, лишь бы не допустить Бельского к тишине.

И как только Бельский сдался, пришла помощь.

Отдаваясь неожиданному порыву, Владимир Васильевич поднес obraz к губам и, едва касаясь, тихо поцеловал. Затем вернул на подоконник, отступил на шаг и со стуком опустился на колени. Сложился вперед, уперся лбом в паркетную доску и распластал перед собою руки. «Надо же, — подумал, — как хорошо!» В это мгновение внутри все стихло, и Бельский внезапно, впервые в жизни открыл в себе бесконечный величественный простор, вмещающий тысячи вселенных и переполненный болью всего лишь одного человека, не здесь берущий начало и простирающийся в какое-то иное бытие; он захлебнулся, осливая бескрайнюю перспективу, представшую взору на месте дымной пропасти... «Вот же она, — восхищенно подумал Бельский, — моя душа»...

Но будто упала, встала на место заслонка — внутри стало громче, снова вцепились миниатюрные тисочки, хищно терзавшие в груди какой-то трепетный орган; он слотнул и неумело попытался вернуться в тихое, удивленное, торжественное мгновение. Из всех сил вглядываясь в потемнелый лик Божьей Матери, он исступленно забормотал, скрипя зубами:

— Помоги же мне, Пресвятая Богородица... помоги... пожалуйста... Роденькая... — добавил он, срываясь в стон... и испугался своей дерзости. Вероятно, от этого испуга шум внутри еще усилился, достиг обычного уровня, совсем заглушив все прочее. Бельский поднялся с колен и смущенно отошел.

Он включил компьютер и, пока разгорался экран, задумчиво хрустел пальцами. Затем, пошарив за матрасом, вытянул из-под каких-то тряпок книжицу, привезенную из родительской квартиры, вытер (или

погладил) переплет и неторопливо раскрыл на закладке. Уселся на матрасе, вытянул ноги и положил клавиатуру на колени. Прислонил распахнутую книжку к монитору и тронул клавиши, примеряясь.

Первые страницы Бельский пробежал как обычно, с некоторым дополнительным усилием, всегда исчезавшим после подключения каких-то внутренних механизмов, автоматически выполняющих все необходимые действия. Однако глава мелькала за главою, но привычного освобождения не наступало; Бельский хмурился и ждал. Чем дальше, тем заковыристее становилась работа, уже приходилось концентрировать внимание на каждом слове, изматывали ежестрочные опечатки, ради которых приходилось все время останавливаться и возвращаться. Бельский упрямо проделывал все операции, но одновременно начинал понимать, что кончено и с этим, что он превратился в обыкновенного наборщика, не имеющего доступа через свое ремесло в мир нежных единорогов, лунных пейзажей и музыки сфер...

Он остановился, прислушался к себе — и вдруг закричал, закричал страшно, как тогда, на переезде; отбросил с себя клавиши, сбил монитор на пол и, лежа, дважды лягнул его ногою. Перевернулся на живот, уткнулся лицом в матрас, закусил ворот и закрыл голову руками. Он попытался составить хоть какую-нибудь последовательность из хаоса броуновски скачущих мыслей. Но внутри будто били в колокол, грудь нестерпимо дрожала, стиснутые челюсти ныли от непрерывного «м-м-м»...

Он поднялся, взял под мышки монитор, железный ящичек с клавиатурой и спустился во двор. Подозвав знакомого мальчишку из соседнего подъезда, Бельский молча кивнул на свою ношу. Мальчик понятливо угукнул, неразборчиво поблагодарил и, балансируя подарком на вытянутых руках, побрел напрямки, по газону, домой.

Бельский, не оглядываясь, решительно зашагал к магазину.

13

Он запил. Запил страшно; так бывает, когда пьют до смерти. Все, что происходило с ним в эти дни, Бельский видел лишь фрагментами, да и сами эти фрагменты были мутны и смазаны, словно Бельский глядел сквозь некую зыбь или марево. В первые дни он пил в одиночестве, но вскоре появились тени, грязные и горбатые, которые деловито пили водку рядом с Бельским и валялись здесь же на пол. Очнувшись, они избегали фамильярностей, держались смирно, не смотря на очевидные муки, и никогда первыми не заводили разговор о деньгах. Бельский со звериною хитростью прятал мелкие бумажные купюры то в расщелинах паркета, то за плинтусами, то за лоскутами обоев; сквозь больное, ватное и беспомощное состояние, которое заменяло сон, он иногда чувствовал на себе быстрые пальцы гостей, обыскивавших его с проворностью опытных любовниц. Иногда их вышвыривала Даша, но после ее ухода они сползались по одному, как призраки, и молча рассаживались вдоль стен. Возможно, некоторые из них, самые фантастичные, в самом деле были плодом его

воспаленного мозга, но определенно лишь некоторые: иначе кто бы носил ему водку...

От них-то, от этих подозрительных теней, Бельский с самого начала и решил спасти Богородицу. Однако подходящего укромного места в квартире не отыскалось: все на поверку оказывалось ненадежным или неподобающим. Тогда Бельский нашел в кухне бечевочку, перетянул икону так, как увязывают подарочную книгу, и выпустил длинную петлю. Снял через голову рубаху и пролез в петельку — лик Богородицы прилег к его голой груди. Бельский заглянул в него сверху, любовно погладил торцы ладонями, влез обратно в рубаху и застегнул пуговицы до самого горла. Рубаха натянулась, углы иконы едва не раздирали ткань, выглядело это дико. Впрочем, гости Бельского давно изжили в себе удивление как свойство, а самому Бельскому внешнее стало безразлично. Справедливости ради нужно сказать, что проделал он все это воспаленно, с бормотанием, уже путаясь в сильном внутреннем чаду.

Сквозь этот грязный туман, стремительно сгушавшийся, однажды проступила Оленька, смотревшая горестно и влажно, но, когда расстроженный Бельский попытался шалить, не смогла удержать брезгливой гримасы и исчезла. Поискав ее вокруг и не найдя, Бельский шумно и протяжно разрыдался, качаясь из стороны в сторону, как огромная кукла-неваляшка. В другой раз он обнаружил Сему, который в майке и зимней шапке с ушами, кривляясь и, грассируя, пел «Где вы теперь, кто вам целует пальцы», аккомпанируя себе табуретом, а после молча в окошко, шепча на идиш что-то пламенное и вдохновенное. В какую-то минуту Бельского кормил с ложки Палыч, придерживая за шею, утирая губы и безостановочно приговаривая ласковые складные глупости. Лез с бумагами Варов; Бельский чиркал в них наотмашь, не читая, хватал Варова за руки и тянул к себе целоваться. Острая, пронзительная резь в груди то непереносимо рвалась к апогею, то стихала, становясь еле слышною, как шепот совести.

Даша пыталась его эвакуировать, но Бельский оказался ей сильным, как взыправдашний сумасшедший, к тому же всерьез хватался за нож. Одна из теней погаже толкнула Палыча так, что старик, упав, сломал руку и физически не мог больше Бельскому помогать. Участковый милиционер осторожно заглянул в квартиру, пожал плечами и, глядя на Дашину грудь, поинтересовался «собственником данной недвижимости». Она уже боялась заходить внутрь, поэтому, приезжая, безнадежно звала Бельского с лестницы через растерзанную дверь, а после плакала на лавочке у подъезда...

...В один из дней Бельский, лежа на полу лицом к стене, жадно, но коротко дыша широко раскрытым ртом, вдруг услышал в комнате шаги. Некто дважды назвал его имя, затем подошел вплотную и не сильно толкнул в спину чем-то твердым. Бельский оцепенел и даже перестал дышать в каком-то животном ужасе. У своей щеки, скосив глаза, он увидел носок лакированной туфли, который зацепил плечо и перевернул тело Бельского на спину. На дуге Владимир Васильевич успел почувствовать, как в груди, под самую Божью Матерью, что-то лопнуло с нежным упругим звуком, словно большой кровавый пузырь; он раскинул руки и вытаращил глаза, но для этого мира кончился. По

инерции он еще бил тихонько пульсом где-то глубоко внутри, но больше не мог различать того, что видел перед собою, поскольку рассудок его затянулся последнею, окончательною поволокою, предсмертною плевою, за которою стал верный *ангел*, встречая отлетающую душу, готовый к спору с целым адом высвобождающейся лжи...

Варов с холодным интересом анатома рассматривал бледные испитые черты, свалывшиеся волосы, надорванную на груди, грязную рубаху, из-под которой виднелись бечевка и краешек Заступницы, а выше, словно отдельно над всем этим, яркие, безумные глаза утасяющего существа. Он понял, что Бельский уже не может этими глазами его увидеть. В сущности, Варов не желал зла Бельскому, однако помогать ему считал бы странною и даже вредною идеею, если бы эта идея каким-нибудь противоестественным образом оказалась в его голове. Он ведь, собственно, и зашел, чтобы попрощаться. К вежливости этот визит не имел, конечно, ни малейшего отношения: «Контроль, — любил повторять Варов, — контроль и еще раз контроль. Когда речь идет о деньгах, мелочей не бывает». Постояв над телом Бельского, Варов доброжелательно, без всякой иронии произнес:

— Я на днях отплываю, мой сумасшедший друг. Жаль, что вы не разделите со мною эту радость... и не придете проводить... М-да... это стало бы для меня наивысшим пилотажем, изящнейшею концовкою, автографом большого мастера... Впрочем, грех на вас жаловаться, благодарю за все. — Он старомодно кивнул, щелкнув каблуками, повернулся спиною к Бельскому и добавил: — А ведь молодец, будь я проклят! По-нашему кончается, по-русски... — но тут же сморщился, — однако в комнате уже воняет черт знает чем...

Высоко поднимая ноги, точно шел по болотцу, Варов из квартиры неторопливо удалился.

ЭПИЛОГ

Осенний день гладил людей на пристани солнечною лапою. Варов жмурился под ее теплыми прикосновениями, держа шляпу у груди и подставив физиономию небу. Огромный грязновато-белый борт теплохода возвышался за его спиною, словно незыблемая стена, и было странно думать, что эта громада через час отсюда исчезнет. Сема приволок последний чемодан и уселся на него верхом, отдуваясь. Кругом сновали, казалось Семе, сплошные румяные путешественники, возбужденные предстоящим плаваньем, заботою о багаже и терпкими ароматами женских духов вперемешку с запахом причала.

— Встань с чемодана, идиот, там же стекло, — сказал Варов, не открывая глаз, — если бы я хотел *их* разбить, я бы взял носильщика... Ох, не надеюсь я на эти корабельные кабаки.

Сема поспешно встал и сунул руки в карманы. Бесцельно потоптавшись, он кивнул головою на отчаянно-рыжего юношу в новеньком элегантном костюме, независимо стоящего в стороне и с напускным

равнодушием неотрывно глядящего на подъезжающие к пристани автомобили:

— Ждет кого-то?

— Понятия не имею. Он, видите ли, думает, что вырос, и уверен, что теперь любые планы в отношении него необходимо с ним же заблаговременно согласовывать. С ума можно сойти. Когда я ему безапелляционно объявил о кризисе, он посмотрел на меня, как на штурмбанфюрера СС, и демонстративно перестал разговаривать... Понятно, что в море оттаает, но каков характер!

— Смотрите...

Юноша вздрогнул, густо покраснел и бросился вперед грудью. Ему навстречу бежала девушка, неловко размахивая руками.

— Красивая девочка, — с удовольствием заметил Варов, — я ее где-то видел.

— На похоронах Бельских. Сокурсница.

Оленька (а это была именно она), подбежав к младшему Варову, замешкалась на мгновение, но юноша так решительно сжал ее в объятиях, что она немедленно ответила ему поцелуем. Сема задумчиво, словно бы с трудом, вспомнил:

— Кажется, и к Владимиру Васильевичу, покойному, зааживала.

— Да? — насторожился Варов. — Чего ради?

— Его многие любили. Возможно, и она. В общечеловеческом смысле, конечно, — уточнил Сема, заметив поползшие кверху брови Варова. Брови вернулись на место, Варов успокоился.

— М-да... Ушел, как говорится, во цвете лет... Жаль его до слез. Зря ты ему столько водки возил. Видишь, что вышло.

Сема вытаращил глаза:

— Так это же вы... сами приказали... «До зеленых чертей, помните? — чтоб не кончалась» — ваши же слова!.. Как же это вы теперь?!

— Ничего такого я не помню. И ты, мерзавец, забудь... на-ка, помняи лучше, — Варов протянул Банчику серебристую фляжку, — все-таки, согласиись, он какой-то особенный был: иногда, я видел, будто переливался весь, как... хрустальная рюмка или вот, знаешь, кристалл... — Варов говорил равнодушно, даже лениво, разглядывая внука с девушкой, — впрочем, тебе все равно не понять. Однако твои акции теперь должны пойти в гору, — он вдруг игриво ткнул Сему пальцем в ребра, — или уже пошли, а?

— В каком смысле? — спросил Сема, вздрогнув от неожиданности и отстраняясь.

— Не придуривайся, в самом романтическом. Наша цареvна Дарья, погруженная в благочестивый траур, нуждается в поддержке и утешении. Рыцарская преданность даже такого микроба, как ты, в конце концов, тронет чувствительное сердце прекрасной дамы. Ее рыдания стихнут, она посмотрит на тебя сверху вниз своими влажными королевскими глазами и да-да, Семен, не сомневайся — прильнет к твоему похотливому тельцу.

— Вы думаете?

Варов торжественно возложил руку на плечо Банчика — его накрывало легкомысленное настроение: до отплытия оставалось около получаса.

— Я не думаю, ничтожный, я — прорицаю! — и тут же, не выдержав, расхохотался: — Какое, однако, у тебя глупое лицо! Добрая половина сентиментальных романов сплетена из подобных сюжетов... И все же: кто эта девица? — снова спросил Варов, слегка затеняясь. Оленька и юный Варов стояли как-то по-братски обнявшись, уложив подбородки на плечи друг другу, похожие этим на молодых печальных лошадок, нежных, пугливых и очень влюбленных. — Составь-ка справочку, мой милый, пока нас не будет. Надобно в точности знать, какое поле нам преподносит ягоды...

*Дача Долгорукова
Ноябрь 2006 г.*

Елена Александрова

РОЛЬ РУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КЛАССИКИ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ

В настоящее время в публицистических и научных работах по истории музыкального искусства недостаточно освещается проблема исполнения оперной, балетной, симфонической и камерной музыки в ведущих оперных театрах, филармониях и концертных залах России, а также вопросы модификации классических произведений русского искусства в современных условиях. Целью данной статьи является статистический и содержательный анализ репертуара музыкально-театральных и концертных заведений на предмет исполнения классических сочинений русской музыки в XXI веке.

«Погружение» в художественную среду русской музыкальной классики имеет важное значение для воспитания молодого поколения, ознакомления с историей русского искусства, снятия отрицательных эмоций и релаксации у среднего и старшего поколения, формирования интеллектуального потенциала слушателей. В процессе освоения шедевров русской музыкальной классики и ее интонационного языка формируется положительная эмоциональная и психологическая установка и осуществляется адаптация к негативным влияниям современной действительности.

Понятие «русская музыкальная классика» (далее — РМК) можно рассматривать в широком, узком и стилистическом аспекте. В стилистическом аспекте к русской музыкальной классике можно отнести только подлинно «классические» сочинения, то

есть относящиеся к стилю классицизма. Такими в истории русской музыки в основном считаются творения М. И. Глинки и отчасти А. С. Даргомыжского. В узком смысле к «классике» можно отнести только подлинно выдающиеся сочинения, то есть «лучшие в своем роде, являющиеся образцовыми». Поэтому в современной художественной действительности к классике можно отнести и творчество композиторов, выходящих за временные и стилистические рамки классицизма, таких как члены «Могучей кучки» (М. Балакирев, А. Бородин, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков) и П. Чайковский. В широком смысле к русскому классическому наследию можно отнести и творчество композиторов более раннего периода (церковные хоры и православные песнопения, музыку XVII—XVIII веков) и позднего времени, вплоть до 1917 года, таких как А. Глазунов, А. Лядов, С. Рахманинов, А. Скрябин, Н. Мяковский, И. Стравинский и др. В настоящей статье в статистическое исследование включено также творчество русских (советских) композиторов XX века, открывших новые пути развития музыкального искусства и создавших замечательные образцы современной музыкальной «классики» (С. Прокофьев, Д. Шостакович, представители более позднего поколения Б. Тищенко, С. Слонимский, Р. Щедрин, Э. Денисов, А. Шнитке и др.).

В ходе исследования было установлено, что произведения русской музы-

кальной классики, к сожалению, уже не являются структурной основой формирования репертуара главных музыкальных театров и филармоний. На первый взгляд может показаться, что произведений русской музыкальной классики просто недостаточно в количественном отношении, чтобы заполнить репертуар концертных организаций. Однако краткий экскурс в историю русской музыки показывает, что русские композиторы-классики создали достаточное количество сочинений, чтобы дать возможность сформировать концертные программы. При самом приблизительном подсчете выдающимися русскими композиторами XIX века написаны 38 опер, 53 симфонии и симфонические поэмы, более 400 романсов и огромное количество камерных сочинений.

Для выявления роли русской музыкальной классики в современной социокультурной ситуации был изучен репертуар основных оперных театров и концертных организаций Москвы и Санкт-Петербурга за определенный репрезентативный период времени. Результаты такого статистического исследования оказались неутешительными. В целом технический анализ показал, что в репертуаре ведущих филармонических и оперных заведений очень мало произведений собственно русской музыкальной классики. Даже при поверхностном рассмотрении заметно, что примерно три четверти вышеперечисленных творений русского классического наследия давно не звучали на сцене.

Анализ репертуара Московского музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бергмана показывает, что в театре с января по июль 2010 года исполняется только одно произведение русской оперной классики — опера «Пиковая дама» П. И. Чайковского (а также гала-концерт «Неизвестный Чайковский») и три произведения русской оперной классики XX века — «Леди Макбет Мценского

уезда» Д. Д. Шостаковича, «Мавра» И. Стравинского, «Любовь к трем апельсинам» С. С. Прокофьева. Из 54 спектаклей только 15 исполнений приходится на РМК в широком смысле («Леди Макбет» — 1, «Мавра» — 3, «Любовь к трем апельсинам» — 7, «Пиковая дама» — 4). Таким образом, следует констатировать минимальное присутствие РМК в репертуаре данного театра.

К сожалению, такая же печальная картина наблюдается и в Большом театре — главном музыкальном коллективе России, что, возможно, объясняется длительной реконструкцией основной сцены. В репертуаре за февраль-март 2010 года исполнялось 18 опер и балетов и состоялся 41 спектакль, среди которых к РМК можно отнести оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» (1 из 18, 2 из 41) и «Иоланта» (1 из 18, 1 из 41), «Пиковая дама» — балет Ролана Пети на музыку П. Чайковского (1 из 18, 2 из 41), опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1 из 18, 2 из 41) и балет Б. В. Асафьева «Пламя Парижа» (1 из 18, 3 из 41). Возможно, такое малое присутствие русского классического наследия объясняется коммерческими причинами, поскольку оперетта И. Штрауса «Летучая мышь» исполнялась 5 раз и из 41 спектакля более половины (23) являются балетами.

В репертуаре Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского 5 произведений русской музыкальной классики: опера А. Рубинштейна «Демон» (по поэме М. Лермонтова), оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», Н. А. Римского-Корсакова «Майская ночь, или Утопленница» и «Сказка о царе Салтане». Кроме того, в театре исполняется одно произведение русской музыкальной классики XX века — опера С. Прокофьева «Обручение в монастыре». К сожалению, из 22 произведений репертуара только 6 отно-

сятся к произведениям русского классического искусства, 16 сочинений представляют собой зарубежные оперы и оперетты XIX–XX веков (Штраус, Пуччини, Бизе, Доницетти, Дебюсси, Россини, Моцарт, Верди).

Более «лояльным» к русским музыкальным традициям оказался Михайловский театр (Санкт-Петербург), в репертуаре которого 6 спектаклей из 19 посвящены шедеврам РМК, таким как оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин», «Пиковая дама» (постановка С. Гаудасинского) и «Иоланта» (постановка С. Шепелева), А. Бородин «Князь Игорь» (постановка С. Гаудасинского), Н. А. Римского-Корсакова «Царская невеста» (постановка С. Гаудасинского), опера Б. В. Асафьева «Золушка» (постановка О. Мухоморовой).

Михайловский музыкальный театр в 1926 году был переименован в Ленинградский академический Малый театр оперы и балета. В 1930-е годы театр становится «лабораторией по созданию советской оперы». На его сцене впервые были поставлены оперы «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича, опера С. Прокофьева «Война и мир», балеты современных ленинградских композиторов «Ярославна» Б. Тищенко и «Икар» С. Слонимского. Большую роль в театре сыграли выдающиеся дирижеры Борис Хайкин, Кирилл Кондрашин, Эдуард Грикуров, Юрий Темирканов, Курт Зандерлинг. В 2007 году театру было возвращено историческое имя «Михайловский».

Наиболее оптимистическую картину в отношении сочинений русской музыкальной классики можно наблюдать в репертуаре Мариинского театра оперы и балета (Санкт-Петербург). Может быть, это связано с историческими традициями императорского театра, где состоялись почти все премьеры опер и балетов выдающихся русских композиторов XIX века.

В репертуаре за февраль и март 2010 года (55 произведений и 90 спектаклей, концертные программы не учитывались) наиболее распространенными являются произведения П. И. Чайковского (в скобках указано количество спектаклей): балеты «Спящая красавица» (2), «Лебединое озеро» (5), «Щелкунчик» (6), оперы «Пиковая дама» (2), «Мазепа». Далее по количеству исполнений следуют оперы Н. А. Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством» (4), «Псковитянка», «Садко», балет на музыку симфонической поэмы «Шехеразада».

Мариинский театр является единственным театром, где исполняется подлинно классическая опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила» и народная драма М. Мусоргского «Борис Годунов». Значительное место занимают сочинения «классика» XX века И. Стравинского, такие как балеты «Петрушка» (4) и «Жар-птица» (2), оперы «Эдип» и «Соловей». Исполняются и произведения русской музыки XX века советского периода, например, опера С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», балет Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан», оперы Р. Щедрина «Мертвые души», «Очарованный странник» и балет «Конек-горбунок», что является продолжением давних традиций Мариинского театра в исполнении новых произведений российских композиторов XX века. Наряду с классикой в 20–30-е годы в репертуаре театра появляются современные сочинения: оперы «Любовь к трем апельсинам» С. Прокофьева, «Воццек» А. Берга, «Саломея» и «Кавалер роз» Р. Штрауса.

Из 90 спектаклей за февраль–март 2010 года в Мариинском театре было исполнено 25 сочинений русской музыкальной классики XIX века и 12 спектаклей музыкальной классики XX века (всего 37 постановок из 90, что составляет почти 41%). Однако если рассматривать не количественный аспект, а качественный (количество наимено-

ваний поставленных опер и балетов), то картина получается уже не такая благополучная. Из 55 поставленных спектаклей только 21 произведение относится к русской музыкальной классике в широком смысле, причем в это 21 сочинение входят и произведения XX века таких композиторов, как И. Стравинский, С. Прокофьев, Р. Шедрин. Если соблюдать чистоту эксперимента, то к музыке XIX века относятся только 11 сочинений из 55, что дает уже не такую радужную картину. Если рассмотреть соотношение опер и балетов русских композиторов в репертуаре, то получается, что из этих 11 сочинений — 5 балетов (всего соотношение опер и балетов в репертуаре (55) — 33 оперы и 22 балета). В целом наблюдается увеличение балетных представлений в общем количестве исполнений (42 балета из 90 спектаклей).

Обратимся к репертуару концертных филармонических организаций, в которых исполняются симфонические и камерные вокальные и инструментальные произведения РМК. В репертуаре Большого зала Филармонии им. Д. Д. Шостаковича (Санкт-Петербург) за март-апрель 2010 г. обозначено 30 концертов, включающих 4 концерта русской духовной музыки («Четыре века русской духовной музыки» (2), Мужской хор Данилова монастыря, Хор певчих Свято-Троицкой Сергиевой лавры), 9 концертов из произведений зарубежных композиторов (И. С. Бах, В. Моцарт, И. Брамс, Д. Россини, Р. Шуман, Д. Верди, Л. Делиб, Э. Лало, Э. Шоссон, Г. Малер, А. Дворжак, Д. Пуччини), 8 концертов смешанного репертуара (вечера русской и зарубежной камерной и хоровой музыки, основные авторы — С. Рахманинов, П. Чайковский), 2 органических концерта (зарубежная музыка), 4 развлекательных концерта.

К русской классической музыке можно отнести только 4 вечера духовной музыки и 2 концерта смешанно-

го репертуара, то есть 6 вечеров из 30 (около 20%). Из авторов в основном представлены только П. Чайковский и С. Рахманинов. Таким образом, получается, что в репертуаре одного из главных филармонических залов страны, где должны исполняться крупные симфонические, вокальные и инструментальные сочинения, фактически нет ни одного концерта, посвященного полностью музыке русских композиторов XIX века.

В Малом зале филармонии им. М. И. Глинки в репертуарном плане на март 2010 года заявлено 46 концертов, из них исполнению произведений зарубежной современной музыки посвящено 4 вечера, сочинений русской современной музыки — 4, зарубежной старинной музыки и классики — 16, русской классики — 5, концерты смешанного репертуара — 6, отчетные концерты детских музыкальных школ — 10 и 1 концерт с развлекательной программой.

К достижениям администрации Малого зала можно отнести значительное количество исполнений произведений русской современной музыки, в частности, во время проведения ежегодного фестиваля «От авангарда до наших дней» прозвучали сочинения А. Шнитке, Л. Десятникова, Д. Воробьева, И. Рогалева, Г. Уствольской, О. Петровой, И. Цеслюкевич, а также произведения зарубежной современной музыки Л. Яначека, А. Берга, Б. Бартока, П. Булеза, Д. Гершвина и др.

Наибольшее количество концертов (16 из 46) посвящено представлению произведений зарубежной старинной музыки и классики. Среди авторов наблюдается достаточное разнообразие: представители барокко (Д. Доуленд, Чимароза, А. Корелли, А. Вивальди, Ж. Рамо, Ф. Куперен, Г. Гендель, И. С. Бах), венского классицизма (В. Моцарт, Л. Бетховен), романтизма (Ф. Шуберт, Н. Паганини, Ф. Шопен,

Р. Шуман, Ф. Мендельсон, Ж. Бизе, Ж. Массне, К. Сен-Санс, И. Брамс, Э. Григ), постромантизма (О. Респиги, Г. Малер) и импрессионизма (М. Равель). Русская музыкальная классика (5 концертов из 46, из которых фактически 1 концерт полностью посвящен РМК) представлена концертами вокальной музыки (А. Варламов, А. Алябьев), лекцией-концертом о творчестве С. Рахманинова, своеобразным концертом о восточных и испанских темах в русском романсе, музыке Н. Меттнера, А. Гречанинова и вокальной лирике С. Рахманинова. Среди данных авторов фактически не наблюдается музыки русского классического периода.

Вечера, связанные со смешанным репертуаром (6 концертов из 46), были посвящены вокальной, фортепианной и камерной музыке, авторами которой являются С. Рахманинов (элегическое трио, виолончельная музыка) и С. Прокофьев.

Наибольшее количество исполнений русской музыкальной классики можно наблюдать в репертуаре Концертного зала им. П. И. Чайковского (Москва). Из 147 концертов, которые состоятся по 44 абонементам в 2010 году, в 56 (38%) должны быть исполнены произведения зарубежной классики, в 19 будет представлен смешанный репертуар (13%), где приблизительно пополам прозвучат зарубежные произведения и сочинения русских композиторов, в 29 концертах (20%) будут исполнены произведения русской музыкальной классики. Абонементы для детей и молодежи включают 4 концерта, основанных на русской музыке, и 8 вечеров будут посвящены западноевропейской музыке. В четырех сольных концертах (3%) выдающихся певцов и инструменталистов приблизительно пополам будет исполнена русская и зарубежная музыка. Кроме того, состоится 23 концерта популярной и джазовой музыки (15%) и 4 вечера (2,5%) будут посвя-

щены прочтению поэтических сочинений.

С большим отрывом «лидируют» произведения зарубежной классики, которые будут исполнены в 56 концертах, из них 3 концерта «Органисты парижских соборов», 3 концерта абонемента «Бах и романтизм в органном искусстве» и 4 концерта из цикла «По странам и континентам», включающих только зарубежную музыку. Преобладание сочинений зарубежных композиторов дополняется 4 концертами детского абонемента «Популярная музыкальная энциклопедия», целиком основанного на западноевропейской музыке. Интересный и содержательный абонемент (4 концерта) «Музыка и живопись», к сожалению, также целиком строится на музыке А. Вивальди, Б. Бриттена, Р. Вагнера, Ф. Мендельсона, Д. Верди.

В репертуаре из 29 концертов русской музыкальной классики только 9 концертов (6% из 147 и 31% от РМК) фактически принадлежат к русскому классическому репертуару. К сожалению, это только произведения П. Чайковского, которые прозвучали в рамках 7 абонементных концертов, посвященных 170-летию со дня рождения композитора. В двух остальных концертах исполнялись сочинения А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева, П. Чайковского (сюита из балета «Спящая красавица», концерт для скрипки, симфония № 5, музыка для виолончели), Н. А. Римского-Корсакова (сюита из музыки к опере «Сказка о царе Салтане») и С. Рахманинова («Симфонические танцы», концерт № 1 для фортепиано с оркестром).

В 4 концертах, посвященных 170-летию со дня рождения П. И. Чайковского, и в 3 концертах абонемента «Дирижирует Г. Рождественский», исполнялись симфонии № 4, 5, 6, «Манфред», симфонические поэмы («Франческа да Римини», «1812 год», «Гамлет», «Москва»), концерты для фортепиано с оркестром и скрипки с оркестром,

вариации для виолончели с оркестром, сюиты № 2 и 3, музыка к весенней сказке А. Островского «Снегурочка», музыка из балетов «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», «Воевода» (опера в концертном исполнении), литургия Св. Иоанна Златоуста, другие хоровые и оркестровые сочинения. Значительная часть концертных сочинений П. Чайковского представлена благодаря юбилею.

Данные 29 концертов РМК включают дополнительно и 3 авторских вечера) Г. Свиридова, М. Таривердиева, А. и Б. Чайковских), 5 концертов православных песнопений (среди них Международный фестиваль православной музыки, Песнопения Рождества, Епархиальные хоры) и 2 концерта Оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова (народные песни, частушки, наигрыши). Юбилею Г. Свиридова (95-летию со дня рождения) был посвящен концерт, где исполнялись сюита из музыки к кинофильму «Время, вперед», «Маленький триптих» для оркестра, музыка к повести Пушкина «Метель», оратория «Курские песни» (10 концертов). Таким образом, концерты РМК в общем контексте составляют 14,7% от общего количества.

Половину из русского классического репертуара в широком смысле, то есть 10 концертов из 29 (69%) и 14% от общего количества концертов, составили произведения композиторов советского периода, которых условно можно отнести к русской музыкальной классике, таких как М. Глиэр, С. Прокофьев, Д. Шостакович, Г. Свиридов, А. Шнитке и другие. Следует отметить еще 4 концерта солистов и лауреатов Международных конкурсов, в репертуаре которых содержатся как произведения русских, так и зарубежных композиторов.

Неблагоприятную репертуарную картину с исполнением произведений русской музыкальной классики «спасают» детские популярные абонемен-

ты: «Наша древняя столица», «Легенда о князе Игоре», «Все о Бабе-яге», «П. Ершов и его сказка “Конек-горбунок”», в которых прозвучат небольшие сочинения М. Глинки, М. Мусоргского, А. Бородина, А. Лядова, Н. Римского-Корсакова, русские народные песни.

23 концерта (15%) посвящены развлекательно-популярным программам.

В 19 смешанных концертах исполнение русской классики ограничивается именами М. Глинки (вальс-фантазия, большой секстет), П. Чайковского (симфония № 6, музыка из балета «Спящая красавица»), И. Стравинского (музыка из балетов «Петрушка» и «Жар-птица»), С. Рахманинова (Концерт № 3), А. Скрябина (симфония № 3, «Божественная»), С. Прокофьева (концерт № 3, оратория «Иван Грозный»), Д. Шостаковича (симфония № 10), С. Слонимского (симфония № 27) и др.

Если обобщить все вышесказанное, то концерты русской музыкальной классики в узком (1-я цифра) и в широком смысле (2-я цифра) составляют следующее количество процентов от всего репертуара:

Геликон-опера: 4% (16%)

Большой театр: 5% (27%)

Театр им. Станиславского: 22% (27%)

Михайловский театр 26% (31%)

Мариинский театр: 20% (38%)

Большой зал Филармонии: 6% (20%)

Малый зал им. М. И. Глинки: 2% (26%)

Концертный зал им. П. И. Чайковского: 8% (24%)

Говоря о «жизни» классической русской музыки в современных условиях, необходимо затронуть и проблему стилей исполнения. В оперно-драматическом жанре также наблюдаются тенденции к модернизации, что проявляется в новых сценических решениях, трактовке партий героев,

необычных режиссерских «находках», выражающихся в нестандартных декорациях (или их отсутствии), новых решениях мизансцен, костюмах, переосмысливании сюжетных линий и образов героев. Наиболее часто встречается перенесение действия в современную эпоху, что выражается в изменении декораций и костюмов, например, в спектакле театра «Геликон-опера» «Пиковая дама» П. Чайковского.

В целом сценические воплощения современных оперных спектаклей придерживаются классических и авторских норм трактовки. Постановки Ю. Темирканова опер П. Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» в Мариинском театре до сих пор остаются образцом следования лучшим исполнительским и режиссерским традициям. Пришедший ему на смену талантливый дирижер В. Гергиев про-

должил классическое направление в трактовке выдающихся балетных и оперных спектаклей, дополнив его собственным высокопрофессиональным и эмоционально выразительным видением великих творений русской музыкальной классики. Образцом постановки такого рода спектаклей стала опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о деде Февронии и граде Китеже», в которой В. Гергиеву удалось подчеркнуть мистические и философско-религиозные аспекты этого сложного сочинения. Данная постановка внушает надежду, что в будущем русской музыкальной классике на оперной сцене удастся избежать «ложносовременных» решений, и молодые дирижеры и режиссеры смогут донести до современного слушателя глубинные аспекты и интонационные богатства великого наследия русских композиторов.

Андрей Каратыгин

РУССКОМУ МАЛО РУССКОГО. РАЗМЫШЛЕНИЯ О МЕСТЕ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

С большим интересом прочитал статью Елены Александровой «Роль русской музыкальной классики в современной социокультурной ситуации».

Автор проделала весьма полезную работу по анализу текущей ситуации на концертных площадках России. Конечно, статья призывает сделать некие выводы из изложенного. И самый очевидный вывод — намеренное принижение роли русской музыки, ее места в классическом репертуаре, вклада русского искусства в копилку мирового, создание «Иванов, не помнящих родства». Так ли это? Попробуем порассуждать. Сначала о личном отношении к русской классической музыке: это — чудо! И потому чудо, что за крайне короткий временной отрезок русские проделали тысячелетний путь! Исследователи говорят, что «реформы Петра подготовили почву для новых, европейских форм музицирования», только подготовили! Императорская придворная певческая капелла создана в 1763 году — прошло только 13 лет, как умер И. С. Бах, а Г. Ф. Гендель был на пороге Вечности! Следует оговориться, что мы имеем в виду именно классику в том ее понимании, которого придерживается автор обсуждаемой статьи, то есть европейский оркестр, европейские музыкальные формы, упомянутые автором, — опера, балет, симфония, камерная музыка. Русскую народную и духовную музыку мы оставляем пока в стороне, коли и в упомянутой статье о них речи нет. Хотя и там есть чем гордиться! Так вот, за небывало короткий срок был создан памятник на века

(как это по-русски!) и не только для сугубо национальных нужд, а как выяснилось впоследствии, и для мировых! Представьте только себе, что русские композиторы просто не ставили другой задачи, как создать произведения, потребные на Родине, а они были трепетно и с благодарностью восприняты и мировой аудиторией, и не только европейской — в Китае сегодня весьма востребована русская классика. Теперь давайте вспомним экстатически восторженную встречу великого музыканта Ф. Листа В. Стасовым и композиторами «Могучей кучки» в нашем городе в середине XIX века. Конечно, это счастье, испытать такие чувства от соприкосновения с Великим искусством, но я упоминаю об этом случае лишь затем, чтобы дать понять, что наши творцы в те времена сами позиционировали себя лишь учениками, а не претендентами на равенство. То есть в середине XIX века мы были еще учениками! Но Бетховен умер в 1827 году, а мы только начали, это ли не чудо? А кто может назвать хоть одного великого итальянского симфониста тех времен, да и вообще итальянского? А ведь Италия — колыбель классической музыки! Один Никколо Паганини, а ни Россини (две ранние симфонии и концерт для фагота малоизвестны и не исполняются), ни Верди, ни Доницетти не создали ничего в жанре крупной симфонической формы кроме, безусловно, великих опер и духовных произведений (Россини, Верди). Поэтому вхождение русского искусства на мировую сцену очень на-

поминает увертюру из «Руслана и Людмилы» М. Глинки, которого П. Чайковский считал родоначальником русской музыки, вспомните ее! Искрометная радость и удивительная красота, гармония — одним словом! Кстати, эта тема гениально поддержана прокофьевским «Александром Невским», вспомним «Битву за Русь»! То есть вхождение было триумфальным и радостным, и никто не сможет поколебать положения русской классической музыки, да никто и не старается это сделать, как мне кажется.

Теперь об удельном весе русской музыки в репертуаре наших классических площадок.

Судя по цифрам, можно сказать, что не густо, но так ли это? На мой взгляд, подробности интересны именно в контексте, то есть русская музыка должна делить репертуар с мировой, частью которой она и является. Можно задать и такой вопрос: а русские квартеты Бетховена — это что, немецкая музыка? Послушайте русскую тему из квартета «Разумовский» оп. 59 Бетховена. Если не знать, что это Бетховен, то можно сказать, что это Чайковский или Бородин. Но как немец проник так далеко? То же можно сказать и об упомянутом «Александре Невском» С. Прокофьева — вспомним тевтонскую тему «*Peregrinus exheretici*» — казалось, надо бы врагов показать, как звероящеров каких, но не тут-то было! Великолепная минорная тема обреченных воинов, созданная великим мастером. Таких примеров немало, и я привожу их для того, чтобы подчеркнуть диалектическое единство самобытности русской музыки и ее встроенности, общности с европейской. А европейская просто обширней — это все равно, как сравнивать нашу планету с Солнечной системой — не мы без системы, ни она без нас не могут существовать. А в том, что мы начали поздно, есть и большая польза — только представьте, что в европей-

ской музыке уже был А. Брукнер, и он вел за собой Г. Малера с его углубленной философией, а у нас в это же самое время был П. Чайковский с его гиперчеловеческой эмоциональностью. Это ли не дар, получить такое разнообразие на пороге веков и больших потрясений! А когда европейский симфонизм после Малера стал оскудевать, кто «подхватил знамя»? Рахманинов, Прокофьев, Шостакович! А есть ли сейчас живой классик? Да, это русский композитор Р. Шедрин, живущий и творящий в наши дни. Так что с русской музыкой пока все хорошо.

Возвращаясь к репертуару, скажем, что было бы наивно полагать, что проблем нет, и проблема, на мой взгляд, не в недостаточном исполнении конкретно русской музыки, а в узости репертуара в целом. Много ли ставилось опер Д. Россини на нашей сцене? В лучшем случае это «Севильский цирюльник» или «Телль», а «Итальянка в Алжире», а «Сорока-воровка», а «Турок в Италии»? Советую интересующимся разыскать великолепную хьюстонскую постановку «Золушки» Россини с Чечилией Бартоли, Энцо Дара и Раулем Хименесом и не понадобится никаких комментариев для того, чтобы понять, чего мы лишены! Да, такие постановки требуют соответствующего экстраклассного состава солистов — в приведенном выше примере «Золушки» их надо семь! О барочной же опере мы знаем только благодаря компакт-дискам и европейским телевизионным каналам классической музыки. Ставятся ли у нас великолепные оперы Генделя или Вивальди? Нет! А в них что, нет нужды? Напротив, тот прием, который был оказан в нашем городе этой осенью великолепному французскому контр-тенору с говорящей фамилией Ph. Jaroussky, говорит об обратном — голод, да еще и какой! За удовлетворение этого голода огромное спасибо А. Решетину (замечательному барочному музыканту) и другим организаторам фестиваля старинной

музыки, подвижнически проводимого вот уже десять лет в Петербурге. На симфонических площадках та же картина — некий «средний» репертуар: мало Чайковского и Прокофьева, но еще меньше Малера и Брукнера, о барокко и говорить нечего — фрагментарное исполнение Баха и Генделя в основном. Но вряд ли кто-то согласится сократить Баха и исполнять больше Глазунова! И дело не в национальном подходе. Бах — наднационален! Великий испанец Пабло Казальс начинал каждый свой день с исполнения какого-либо произведения Баха для себя лично, иначе и не мыслил себя! Кстати, прожил 97 лет и сделал столько, что дай Бог десятерым! Упоминание испанца не случайно — много ли испанской классики в нашем репертуаре? За исключением растиражированного «Аранхуэзского концерта» Родриго говорить-то особо не о чем.

Теперь о самом неприятном. А нужна ли классика нынешнему российскому обществу, и сможет ли она выжить без меценатов? Ответ очевиден — нельзя отказываться от самого ценного, что сделали наши предки. Культура и есть то, что остается от нас на Земле. Бог с ней с нефтью и газом — пусть берут! Культуру не губите! Сейчас не самое лучшее время для классики, но, как и в блокадном Ленинграде, есть люди, не представляющие свою жизнь без нее, без хлеба — да, без Чайковского — нет! Опять судьба предлагает такой выбор нашим людям, и самое важное, что живы те, кто был на блокадных концертах и, несмотря ни на что, посещает их и сейчас — пример, достойный подражания! Коррупция — это не просто дача и прием неких денежных средств. Прямое значение этого слова — разложение или, проще говоря, гниение. В биологии есть термин «аутолиз», означающий самопереваривание клетки и в целом организма, причем все для этого есть в здоровом организме — это необходимый для биологической жизни механизм, и вклю-

чается он по особой команде, означающей, что жизнь этого организма заканчивается, то есть при наличии сигнала, означающего жизнь, ферменты гниения не активизируются. И проблема русского общества в том, что идея мамоны убога для нас. И не надо верить политологам, говорящим, что-де реформы маленько захромали и если бы делили получше, народ бы не роптал и все было бы хорошо. Не так это, и, может, это отчасти и благо, что такая версия капитализма дискредитировала сама себя. Хуже то, что включились механизмы аутолиза, и остановить их может идея, объединяющая нас, и хочется верить, что это будет идея созидания, та идея, которой служили наши русские незабвенные классики. Пусть же сигналом возрождения России будет подъем интереса к русской классике, я только «за»!

А сегодня надо делать уроки, и делать их без великих учителей — Баха, Бетховена, Шуберта, Малера, Верди, Россини — будет сложно, да и ни к чему!

Вместо эпилога приведу цитату из статьи Гленна Гулда (выдающийся канадский пианист 1932–1982) «Музыка в Советском Союзе»:

«Россия не только выдвинула несколько выдающихся композиторов, но и сумела преподнести множество примеров замечательного человеческого благородства, которое обнаруживается — без сомнения, еще более последовательно, хотя и более щемящим образом, чем в русской музыке, — в великой русской литературе, особенно в романах Достоевского. Достаточно вспомнить о таком сочинении, как Пятая симфония Прокофьева, чтобы понять, насколько велика мощь экспрессии, свойственной этому народу, способному преодолеть внешнюю угрозу, войну и разорение, террор и бюрократические интриги, но еще и создавать искусство, столь вдохновенное и светлое».

Реставратор — Андрей Павлов-Арбенин

* * *

КОГДА КРЕСТА НЕСТИ НЕТ МОЧИ,
КОГДА ТОСКИ НЕ ПОБОРОТЬ,
МЫ К НЕБЕСАМ ВОЗВОДИМ ОЧИ,
ТВОРЯ МОЛИТВУ ДНИ И НОЧИ,
ЧТОБЫ ПОМИЛОВАЛ ГОСПОДЬ.

К.Р.

Однажды серым осенним днем я оказался на станции Лигово, что под Петербургом. До отхода поезда на Стрельну оставалось полтора часа, и я решил походить по импровизированному рыночку, на котором свой нехитрый товар продавцы раскладывали прямо на асфальте. Здесь были какие-то винты, куски резины, арматуры, домашние туфли с безнадежно стоптанными задниками, старые часы с кукушкой, «давно откуковавшей свой век».

В соседней «секции» асфальт пестрел от тусклого цвета бывших кофт, стиранных не один десяток раз. Была даже муфта, изрядно изъеденная молю и безжалостным временем... Осмотрев этот «промышленный ассортимент», я пошел в «продовольственный ассортимент» рыночка. На прилавках гордо красовались куски солнцеликой тыквы, груды краснощеких яблок, схваченная первым морозом клюква.

Мое внимание привлек Человек, подбородок которого едва возвышался над прилавком. Что-то было в нем такое, что я пошел прямо к нему. Человек, одетый в немыслимого цвета кофту, подбитую ветром, смотрел перед собой безразлично невидящим взглядом. Перед ним лежали стебли сельдерея и несколько грибов.

Приблизившись к Человеку, я понял, что это мальчик лет девяти. Заметив, что кто-то стоит перед ним, перед его товаром, он молча глянул на меня.

Я спросил: «Сколько стоит твой сельдерей?» Подумав, он ответил: «Пучок — пятнадцать» и, помолчав, словно оправдываясь за такую цену, добавил: «Мамка меньше не разрешает» и кив-

ком головы указал на женщину, пригнувшуюся у железных прутьев ограды. В безвольно опущенных руках ее была початая бутылка с какой-то мутной жидкостью. Из груди женщины вырывался хриплый свистящий храп.

Взяв сельдерей и грибы, я протянул Человеку 100-рублевую купюру. Он заметил: «Сейчас разбужу мамку, надо взять у нее сдачу». Я остановил его: «Не надо... Не буди». В глазах Человека отразилось откровенное недоумение. Пospешив сказать: «Возьми...», я положил сельдерей и грибы в сумку и неожиданно услышал тихое: «Спасибо, дяденька. Век за тебя буду Бога молить». На меня устало глядели взрослые глаза девятилетнего Человека.

Повернувшись, чтобы скрыть непрошеную слезу, я медленно побрел к перрону.

Поезд уносил меня все дальше и дальше от Человеческой Трагедии, свидетелем которой я невольно стал. Мимо окон мелькали покосившиеся убогие домики, обитатели которых когда-то мечтали, надеялись...

Подумалось: где-то сейчас на громадной вилле, сидя в глубоком уютном белой кожи кресле, глядя на мирно потрескивающие в камине дрова, попивая дорогой коньяк, наслаждаясь неповторимым ароматом гаванской сигары, прикуренной от 100-долларовой банкноты, жируют те, кому никогда не будет понятна долгосрочная ситуация, в которой оказался девятилетний Человек со взрослыми глазами — ставшая для него жизнью на Голгофе. Они никогда не поймут, как можно простоять на станционном рыночке целый день под дождем и снегом, а если повезет — продать пучок

сельдерея и два гриба. А потом пойти в лавку «знакового» мясника и получить на вырученный гонорар «цапский обед»: обрезки мяса и несколько костей, предназначенных поначалу обезумевшим от голода и холода бродячим бездомным собакам.

Тяжко жить на этом свете девятилетнему Человеку со взрослыми глазами...

Господи! Спаси... Сохрани... Помилуй... Боже!

* * *

Как-то случайно выдался свободный день, и я поехал за город в район деревни Лиго-Ламби, где когда-то наша семья снимала дачу.

Войдя в лес, я ощутил неповторимую грустную красоту природы, которая уже готовилась к долгому зимнему сну. По обе стороны тропинки кое-где пламенели ярко-красные ягоды калины. Трава еще не обсохла от ночной росы, этого хрустального переливчатого многоцветья слез ночи.

Невдалеке зарделась рябина, щедро усыпанная большими сочными ягодами — завидным лакомством дроздов-рябинников. Где-то совсем рядом на вершине сосны пропел свою дробную песню дятел, ему ответило звонкоголосое эхо, растаявшее в голубой дали, прокуковала кукушка... Прокуковала несколько раз и смолкла.

Что ж так мало?..

Неожиданно на тропинку выбежал ежик. Посмотрел на меня подозрительно своими глазками-бусинками, недовольно фыркнул и побегал дальше. Шелест травы под его маленькими коготками постепенно затих, и снова воцарилась торжественная тишина умиротворенности, тишина, которой я уже давно не слышал, тишина, напоенная неповторимым ласковым запахом далекого детства, запахом разнотравья, шелестом листьев, тихо шуршащих под ногами...

Листья как будто говорили: «Не мешай нам, добрый человек. Скоро нас оденет снежное покрывало, над нами будет бушевать злая вьюга — верная посланница Борея. Сон наш будет

безмятежно глубоким, спокойным, и приснится нам журчание маленького ручейка, в котором сверкающими алмазами пробуждения Природы будут отражаться первые весенние лучи Солнца. Не мешай нам, добрый человек».

Я вышел к небольшой лесной речушке, бережно-скорбно несущей в своих объятьях опавшие листья. Подумалось: куда текут медленные неторопливые воды этой сказочной реки забвенья? Вдруг эту первозданную тишину сказки, в один миг ставшей Черной былью, напомним грубый рокот мотора, визг пилы, тяжкий глухой стон падающего зеленого великана.

Но нет... вокруг все также царила мирная безмятежность Тишины.

Медленно всходило Солнце.

Туман, плотной, белесой пеленой покрывавший реку, лес, поля, луга, словно борода сказочного Черномора, вдруг дрогнул и пополз куда-то, спасаясь от беспощадных лучей Ярилы — Солнца.

Где-то в лесной чаще неслемо пискнула какая-то маленькая пичуга, ей ответила другая, за ней — третья и вот уже звенел огромный птичий хор, возвещая: День настал!

Вспомнились слова поэта:

И во всей неизмеримости эфирной
Раздается благовест всемирный
Победных Солнечных Лучей!

В этих словах Ф. И. Тютчева и музыке С. И. Танеева неизменно слышится Гимн всепоглощающей Радости Бытия, Гимн красоты Мироздания, слышится мерность звучания больших колоколов, которым отвечают зазвонные, возвещающие светлый праздник Великого блага — Жизни во славу Бога нашего Господа Христа!

* * *

Мы сидим в маленьком классе на пятом этаже Ленинградской консерватории. Дневной свет пробивается через оконце и через форточку почти под самым потолком. Когда-то здесь, во время ленинградской блокады жил Александр Вячеславович Оссовский —

ученый, музыковед, композитор, автор многих замечательных работ по истории музыки. В это же время в бомбоубежище подвала Александринского театра при тускло мерцающем пламени свечи свои мысли о творчестве С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, Н. Я. Мясковского, А. И. Хачатуряна записывал Борис Владимирович Асафьев, о чем поведал в своих воспоминаниях его ученик Михаил Семенович Друскин.

А сейчас...

Из-под нависших густых бровей на меня внимательно, но по-доброму смотрят глубокие глаза...

Анатолий Никодимович Дмитриев... Человек необычайно широкого интеллекта, человек огромного кругозора, который невозможно было даже попытаться охватить... Когда он рассказывал о стихии ударных инструментов народов Африки, создавалось впечатление, что всю жизнь он провел среди аборигенов Занзибара, Кении, Мадагаскара. И здесь же примеры из классической музыки И. Ф. Стравинского, Г. Малера. Становилась ясной преемственность мышления поколений.

Когда Анатолий Никодимович рассказывал о народных музыкальных драмах Модеста Петровича Мусоргского, здесь же иллюстрируя рассказ фрагментами из опер, перед слушателями живыми страницами представал образ «всемогущего» князя Ивана Хованского, который в ответ на яростный клич стрельцов: «Веди нас в бой!» с болью произне: «Ныне не то. Страшен царь Петр. Идите в дома ваши и спокойно ждите судьбы решение. Прощайте, дети...» А в музыке уже звучало траурно-триумфально: и выход стрельцов с плахами на Красную площадь, и провидение Марфы — приговор князю Голицину: «Тебе угрожает опала и заточенье в дальнем краю». Все это было обобщено интонационно-образным раскрытием авторской партитуры...

«Борис Годунов»... Страстным рассказом о событиях, предшествующих 15 мая 1591 года (день убийства царевича Дмитрия), словно свидетеля

этого трагического события, звучал рассказ Анатолия Никодимовича. Особенно страшной параллелью раскрывался образ «венчания на царствие» и «звон, погребальный звон», стержнем чего стали слова исповеди царя Бориса: «Скорбит душа»...

Помню, как благодарно посмотрел на меня Анатолий Никодимович, когда я затронул «дело Клеедна» и современные исследования Скрынникова.

Здесь же зазвучало пименовское: «Еще одно последнее сказание», образ Иуды Библейского («...и в ужасе под топором...»). И вдруг «Как во городе было, во Казани» — Варламова песнь, «которую он распевает звероподобно, люто, словно последний осколок каннибальных народов».

Кто-то из нас рискнул упомянуть о «работе» Слетовских, посвященной Мусоргскому. Анатолий Никодимович застыл, как от удара, и тихо произнес: «Позорная работа, которую и работой назвать нельзя».

Словно желая стряхнуть с себя ощущение, вызванное памятью о слетовских «раскрытиях пьяной психологии Варлаама», Анатолий Никодимович стал рассказывать о музыкально-интонационно-образной драматургии оперы А. П. Бородин «Князь Игорь». Но сначала зазвучал насыщенный событиями из летописных сводов рассказ о древнем Путивле, о боярах, о мятежном своевольном князе Галицком, об изощренно хитрых в своей безграничной наглой подлости Скуле и Ярошке. Затем зазвучало приветливое, хоть и несколько настороженное слово Ярославны: «Добро пожаловать, бояре! Я рада видеть вас», а в ответ скорбно-сосредоточенное: «Мужайся, княгиня. Не добры вести несем мы тебе». И страшная вихревая стихия набата — страшная в своей несовместимости надвигающейся катастрофы...

А вот совершенно другие образы, порожденные стихией несокрушимой воли людей, впитавших в себя бескрайней степной простор. Зазвучали дикие в своей необузданной страсти «Половецкие пляски», когда-то так блистательно представленные в нача-

ле XX века в «дягилевских сезонах» Парижа в постановке М. М. Кокина.

Неожиданно аметистовым рассветом тихого утра зазвучало: «Светят росой медвяные косы твои» — «Садко» А. Н. Римского-Корсакова. Царевна Волхова... И здесь же — рассказ о Забеле Врубель, о художественных полотнах Левитана, Сурикова, Врубеля, Васнецова...

Из этого рассказа-сказки безжалостно вывел скрип открывшейся двери и официально-холодное: «Простите, ваше время истекло».

Анатолий Никодимович как-то сразу засуетился, торопливо произнес: «Конечно, конечно»!

Мы медленно шли по длинному коридору четвертого этажа и, как замороженные, слушали рассказ об архивно-рукописных материалах, давших пищу для ума и сердца: великие мыслители в музыке минувшего столетия — Чайковский, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Стасов, Асафьев и их верный ученик-последователь, наш современник Анатолий Никодимович Дмитриев.

*Евгений Мюллер***БЫТОВАЯ ОСТАНОВКА***(рассказ)*

По дороге из Пушкиногорья туристский автобус остановился на привокзальной площади Луги, вблизи платформы. На бытовую остановку выделили двадцать минут, и почти все вышли из автобуса —дохнуть свежего воздуха, размяться после долгого сидения в духоте. Потягиваясь, куря, бродили вокруг, высматривали, что бы еще, от нечего делать, купить в приткнутых один к другому киосках, забредали на платформу, кто как коротая эту неподвижную часть пути. Далеко и не отойдя от автобуса, стояла пара — еще молодые мужчина и женщина, она — зябко ежась в легкой куртке (действительно, против утра, как это и бывает в мае, под вечер вдруг посвежело), он — сложив руки на груди, но, похоже, не ощущая никакого дискомфорта, хоть и был в одной хлопковой рубаше с расстегнутыми двумя верхними пуговицами и закатанными рукавами. Да и взгляд его был неподвижен, устремленный куда-то за протянувшийся посреди площади уже вовсю зеленый газон; он не дрогнул и тогда, когда огромная фура, стрекоча мотором, медленно проехала мимо, стараясь не задеть не на месте вставший автобус. Мимо по тротуару, тоже с недовольством, только выражаемым не рокотом мотора и выхлопами сизого газа, а парой-другой нескрываемых матюгов, прошла, обходя их, группа мужчин и женщин, каких встретишь вблизи любого вокзала — словно с придуманными, вылепленными из грязного пластилина лицами. На компанию эту отреагировала больше жена, смерив по-женски взглядом фигуры прошедших женщин и, обернувшись, взглянувшая на стоящий невдалеке распивочный павильон, из которого вся ватага и вышла. Потом глянула в лицо мужа, взглядом этим безмолвно обсудив с ним этот маленький эпизод — как это удается только уже долго живущим вместе, в хорошем согласии парам.

— А я сейчас почему-то вспомнил эту нелепость в Михайловском, — сказал он.

— Это когда на тебя наорал смотритель за то, что ты фотографируешь? Ему вышибалой бы где-нибудь работать, вон хоть в этой пивной, а не в музее.

«Как мы, наверно, его злим — праздные, все хорошо и по-разному одетые, с фотоаппаратами на животах, неостановимой чередой вваливающиеся и вваливающиеся в такой на самом деле маленький музейный домик... Туда, где он за его жалкие музейные гроши целыми днями выстаивает в залах, сам уже ставший похожим на экспонат. Приклей бакенбарды, надень сюртук, посади на стул — и все будут наклоняться и всматриваться в восковую фигуру, такую похожую... Бедность, сжавшаяся, скрываемая от самого себя безнадежность...» И словно другой, чем до этого, слой воздуха прошел через него. И все

было уже другим. «Помнишь, как она сжимала в кулаке деньги, только и оставшиеся у нее на билет до Пскова, когда в последний день мы шли по этой площади, глядя на все, что было навалено на лотках рынка, кажется, тут, на этом газоне тогда и расположившегося? Точно так, как сжимала мне руку, мои пальцы в клубе, когда объявляли белый танец. “Не хочу, чтобы тебя кто-нибудь пригласил”. Сжимала и прятала вместе со своей рукой, стоя совсем вплотную, за свою ногу».

Его вдруг передернуло, как от холода, а это сдвигалось, уносясь, все, что было вокруг — площадь, постройки, кусты на газоне, торчащий сфетофор за киоском, и киоски, и люди, — все втекало в какую-то огромную, закручивающую, все, что было вокруг, воронку. И он кожей под рубашкой чувствовал это улетание всего. А может, это он сквозил всем собой через все это, уносясь куда-то. И в то же время глаза его начинали снова обшаривать площадь, останавливаясь то тут, то там. «Ах, вон тот фонтан, в тот день не работавший, сокрытый впритык подступившими зарослями жимолости, на холодной каменной чаше которого мы и сидели — было чище, чем на скамейках вокруг. Почему так тревожны, так беспокойны в пасмурный день кусты жимолости? Это сейчас они уж зеленые, а тогда — просто гущь еще голых веток окружала, укрывала их... в последний раз».

— Пойдем, — сказала жена, взяв его под руку и подталкивая плечом. — Похоже, ты придаешь всему этому слишком большое значение. Все равно — поездка была замечательной. А какая теплынь стояла! Фотки, наверно, получатся хорошие.

— Иди, я постою еще.

...Возле Мшинской, как только миновали переезд, повалил снег, непонятно откуда взявшийся. Еще утром, когда он шел с чемоданом по апрельской пыльно-солнечной улице с непривычной задачей попасть на автобусный вокзал, казалось, что этому плотному, чуть прохладному солнечному свету — и прохлада эта ничуть не противоречила уже высоко стоящему, больно вдавливающемуся в глаза огненному шару — нигде не может быть конца. И вдруг — снег, мокрый, липкий, не тающий, сразу облепивший ветки сосен и елей. Ехать электричкой было бы быстрее, но он специально решил — поедет на автобусе, чтобы казалось, что едет дальше, чем было на самом деле. И то, что плохо представлял, где это по карте — тоже нравилось. Были еще и другие странности. Привык, что пансионаты имели названия — с какого-то романтического потолка взятые: Зори, Буревестник, Восток... А этот, куда ехал, назывался «Пансионат им. ...», и дальше шла фамилия одного революционера, длинная, да еще с инициалами. Так что когда говорил, куда едет, произносить все это было лень. Так что ехал — просто в пансионат. Который был — где-то. Главное — что не тут. А «не тут» должно было находиться как можно дальше. Поэтому — автобус. И как хорошо на нем выезжали из города по солнечным окраинам! И вот автобус впустую булькал мотором на переезде, ожидая прохода поезда, и казалось, что он напрочь завяз в этом в один миг все завалившем снегу. Бежали по стеклу капли. Женщина у окна справа, вонзив зубы в яблоко, всасывала сок. И то, что автобус стоял, хоть мотор и работал, и шел снег — отбрасывало куда-то назад. И было уже действительно непо-

нятно — далеко ты или близко. И может, поэтому все, что было сразу потом — пересадка в Луге, медленный подъезд по лесной дороге (снег с задетых веток осыпался по оконному стеклу), так называемое размещение, обед, — ничего этого потом в подробностях было и не вспомнить. И ничего из этого он и не вспоминал. И не помнил. Только этот снег, ссыпавшийся по стеклам. А помнит, как дня через два после этого гулял в белом, солнечном лесу с той женщиной, что грызла в автобусе яблоко, и, доставая носовой платок, уронил ключ от номера в снег. И долго рыскал руками в колком, днем подтаивающем, а за ночь снова подмерзающем снегу, так что было больно ладоням.

Как многое может втиснуться в какие-нибудь три недели. Вот, например — ножик. Уже не было снега, иначе в такую даль, за железно-дорожную ветку, по сути уже в соседний поселок — не потащились бы. Нет, там есть какой-то магазин! Ну и что? А какая, собственно, разница. Время ведь все равно девать некуда. Лес, песчаные склоны, потом поле («Полей-то как много везде, полей!»), ветка-одноколейка, овраг, и вдруг сразу этот магазин. И купил ножик — маленький, складной, с шероховатой пластмассовой черной ручкой, с мелким оттиском на ней — «75 коп.». Еще думал — брать или не брать, лезвие как-то пошатывалось. Но и сейчас еще этот ножик лежит в его рабочем столе. И столов-то уже сколько сменил, и сколько разных вещей за это время пришли в негодность или просто стинули, а ножик этот — как заговоренный. И яблоко им разрежешь, и карандаш очинишь (вот, что сразу пропадает в письменном столе, так это точилки!), и как отверткой кончиком иной винт отвернешь.

Что еще не помнил почти совсем — так называемую планировку. Несколько корпусов как-то соединялись между собой, а как — прямо или как-нибудь под углом архитекторы там придумали — не помнил. Переходы были стеклянные и, кажется, по второму этажу. Что там было перед корпусами — клумбы, площадки — тоже во мраке. А вот сразу за корпусами был лес. Это он помнил. Лес — не придумаешь. Он и есть лес.

Переходы, переходы. Она сказала, что через пять минут будет ждать его внизу, только оденется. Он тоже побежал одеться, в свой корпус — хоть после танцев казалось, что так жарко, что... Но ведь вечер, и всюду еще лежал снег. Пробежал коридоры, пустую, холодную, в сравнении с коридорами, пустоту перехода — черные стекла, за которыми уже был мрак, отражали его одного в полной пустоте, да еще листья огромных фикусов... Потом снова коридоры, снова стеклянный переход и — дверь из перехода в его корпус была закрыта! И дверь-то — тоже стеклянная! Он дергал, толкал широкую железную ручку, смотрел на проем в стене коридора у двери в его номер, но нет, нет, нет! Бросился, побежал обратно, в промежуточном корпусе юркнул в какую-то лестницу, запах выдал близость столовой, тут он знал, где выход, выскочил на улицу, вдоль стены добежал до своего корпуса, опять лестница, коридор, дверь с размаху бабахнула в дверь санузда, схвачена куртка, потом обратная прокрутка всего и, наконец, — двери ее корпуса. Но ее — не было. Посмотрел на часы. Восемнадцать минут прошло. Может, ей самой не так быстро было собраться? Ждал. При каждом чем-то движении — к дверным стеклам. Войти в вестибюль — боялся. А вдруг, в ожидании, она пошла бродить по дорожкам? Снова туда,

снова сюда. И отчаянье от осознания, что не спросил, какой у нее номер. Так глупо — в самом начале!

Ужас той минуты он помнил. Он был так же ощущаем, как неичесающая шероховатость ручки того ножика. Вот отчаянные минуты жизни! Никто про них не знает. Можно пережить аварии, операции, смены мест жизни, обвалы на работе, что-то еще, еще, а помнить — закрытые стеклянные двери, свет фонаря, так ласково и мягко говорящего тебе, что ты здесь, милый, один.

На тех танцах, когда он впервые заметил ее, ему уже было все равно, что его подруга, сосавшая яблоко, танцевала уже с тем долговязым. Их переглядку он заметил на первых же танцах, но все сначала происходит как-то не так, и он болтал с этой Тоней, несколько раз танцевал, вспомнили, как приехали в снег, потом гуляли в лесу, так странно для апреля заваленном белым, пушистым снегом, который ссыпался с веток над головой, а когда искрение снежинок прекращалось, становилась видна свежая, пахучая, растопырившаяся в недавно уже бывшем тепле хвоя. Потом — вечный по тогдашним временам ритуал чаепития в номере: стол в светлых кружках от горячих, изливающих под себя клокочущий кипяток стаканов; вольнодумно изогнутый на столе, как ни скручивай, провод кипятильника, безобразный и без того скудный и тоже вечный натюрморт из разорванной пачки печенья, шоколадки да хорошо, если лимона. Чай выпит, и уже не по разу, горькая минута принятия кого-нибудь решения, вопрос — «Может, закроемся?», молчаливый, косой ее взгляд на дверь, и потом ты вежливо смотришь в сторону, когда она, перелезая через тебя, встает с кровати, и, наблюдая краткое выполнение отдельных элементов одевания, причесывания, шутивно-небрежного движения пальцами на прощанье, — думаешь, что, пожалуй, все же она будет гулять с этим долговязым, уж больно подходят друг к другу, и это — хорошо.

Она стояла у колонны, чуть заметно двигая головой в такт музыки, в очках — почти никогда их не снимала, только потом, иногда — и он подумал: почему же ее никто не пригласил? Ничего лишнего ни в одной черточке тела, лица, рук, что тоже тело, но что-то другое; и взгляд за бликами стекол очков словно что-то искал — но не вокруг, не среди танцующих, а в колеблющейся ярком свете ламп, меж голов, спин, колон — в звучащей музыке. Потому словно никого и не видела. А может, потому и ее было словно не видно, как не видно музыку. Поэтому какое-то время, когда она смотрела уже на него, ему и не казалось, что она смотрит на него.

Всегда неловко было спрашивать: «Вы уже давно здесь отдыхаете?» И всегда почти, когда уже пригласил и танцуешь, второй или третий вопрос — этот. Ведь в этом вопросе скрыт и другой: имеет ли смысл нам с вами говорить — чуть больше, чем это естественно, пока танцуешь. И вслед за ответом на этот вопрос, обычно с некоторым вызовом, обеспечивающим готовность, хоть показную, услышать любой ответ, звучит — «А вы?» Но она сама спросила:

— Ты здесь давно?

Пять дней. Это скорее — недавно. Ведь всего их двадцать один. Двадцать один. Вначале можно и не думать об их количестве; в середине — оценивать, все ли идет, как бы хотелось, а под конец испытывать ту тоску, что возникает от ощущения неотвратимости... А она

сказала, что здесь уже восемь дней. Еще, значит... Да, да, да... Хорошо, замечательно. И, надо же, задал дурацкий вопрос: почему я не видел тебя раньше? Взгляд, которым она ответила, было тяжело не запомнить. Но, может, это было и лучше. Все время это возникает: нравишься, не нравишься. Вечное качание дряблых весов, черные пластмассовые чашечки которых колеблются на трех ненатянутых ниточках. Даже не надо бросать что-нибудь махонькое, пинцетом. Дрожание руки, дуновение — и какая-нибудь чашечка уже клонится. Но это так, микрокосм. По сравнению с этим бегание перед стеклянной дверью в свете фонаря — то же, что в увеличительное стекло рассматривать снежинку. Лучистая искорка превращается во что-то, похожее на колесо телеги. И это — в самом начале!

...Ах да, она же сказала, что живет на третьем этаже и что окно смотрит на крышу какой-то пристройки. Лестница, лестница, лестница. Бегом к окну в холле. Это правей, пристройка не широкая. Значит, дверь та или эта. Одна из них приоткрыта. И — она стоит, чуть нагнувшись у спинки кровати, расправляя что-то разложенное на ней. Так в первый раз он оказался в ее комнате.

Гулять они не пошли. То желание сменить вконец душный зал, наполненный плотным желтым светом, плотными желтыми звуками, на темную пустоту аллей, прореженную недвижными конусами белого, совершенно беззвучного света, прошло. И не было никакой неволи делать то, что уже расхотелось.

«Заходи, — сказала она. — Я думала, тебя сегодня уже не увижу. Придешь к себе — и никуда уже не хочется. Как мне сейчас. Я в первые три дня тут все вокруг исходила, а теперь... Позавчера вообще весь день на кровати провалялась. Я днем свитер выстирала. Вот сушу на полотенце». У нее был тоже двухместный номер. Но — это было сразу понятно — больше никто не жил. Полотенце и свитер лежали на второй, не ее кровати, стоявшей углом к той, что была ее и которая стояла у самого окна, спинкой к нему, так что подушка лежала под самым подоконником. Вторую половину окна занимал стол. Она предложила сесть, указав рукой на покрывало, рядом с расстеленным полотенцем. Свитер, лежавший на нем, был узким, с длинными, сейчас тонкими, как детские чулки, рукавами. Она тоже села — на стул, спиной к своей кровати, боком к окну. «Ты откуда приехал?» — спросила она. Я сказал. Она тоже. Мы жили в разных городах. «Это недалеко», — сказала она. «Да, — ответил я. — Примерно столько же, сколько и от твоего до моего». И почти сразу забыл про это. Да, есть такие города. Какая разница, если жизнь представлялась все равно большей, чем все, что есть или было. Когда он потом звонил ей домой, заходя в обеденный перерыв на переговорный пункт, а потом шел в соседний подвальчик, чтобы съесть пару беляшей с кофе — его надо было наливать самому, и он лился кипучей, перекручивающейся струей, слишком широкой и сильной для фарфорового стаканчика, — то эта проблема со струей кофе и стаканом казалась гораздо значимей, чем мысль, с какого расстояния только что долетал до него ее голос. «Компанией здесь не обзавелся? Впрочем, здесь, кажется, нет компаний. Я вчера прошла вокруг пруда, за корпусами, — кто с книжкой сидит на скамейке, как все равно летом, кто ходит вдвоем-втроем, словно на время дорожку меряя... А то пройдут — и потом несколько раз оборачива-

ются, словно подозрительной показалась. Странное место. Странное. Я в лес пошла, вроде сыро, а ничем не пахнет. Ты помнишь, что сегодня было на обед? Я не помню. И что вчера было на ужин, тоже не помню. Проснешься и думаешь, какой сегодня день. Ты помнишь, какой сегодня день? Снег лежит, а не холодно. Я почти три часа сегодня по улице ходила, в легкой куртке, и хоть бы что. Потому и сидят на скамейках со своими журналами. У тебя сосед есть? У меня тоже нет. И у соседки справа — тоже. А ведь номер на двоих. А в столовой — ни одного свободного места, и говорят, что вторую смену хотят вводить». Она сидела, сложив на груди руки, словно ей было холодно. Говорила, потом замолкала, снова начинала говорить. «Тихо, да? Вообще тихо. За неделю на этаже ни одной гулянки. Пансионат называется».

Все ли это, что она говорила, она говорила тогда, в тот вечер? Чем прерывалась ее речь? Он точно не помнил. Наверно, что-то рассказывал и он. Про Тоню она спросила — кто эта мадам? Сказал, что вместе ехали сюда в автобусе. И вдруг понял, что дорога в автобусе — это часть уже здешней жизни. Получалось, что он в одночасье перенесся из чего-то одного — в другое. В одночасье. На днях с ним тоже случилась странная вещь. Еще днем ему захотелось позвонить домой. Телефонные кабины находились в клубе, в углу холла, под лестницей, ведущей в танцзал. На танцах он специально остался стоять вблизи выхода, и в девять вечера спустился по лестнице. Музыка была слышна и здесь, кабины, обе, были пока заняты, и он стоял и смотрел, как до того совершенно спокойно стоявшие люди, войдя в кабину и услышав отзыв, вдруг начинали говорить возбужденно, громко, возвращаясь и возвращаясь к тому, что уже говорили. И было не понять, хотят ли они услышать кого-то, или же сообщить что-то чрезвычайное, неожиданно случившееся, хотя что тут могло случиться? И выходили они из кабин не с довольными, успокоенными лицами, а с тревогой и неуверенностью во взгляде, как выходят от врача, вдруг смутившего словами о странноватом анализе. Он набрал номер, в трубке медленно, размеренно погудело, наконец ее сняли, и он стал слышать сначала разговор жены с дочкой, потом игру на пианино — это дочь, занимавшаяся музыкой, села играть. Он слушал музыку, иногда чьи-нибудь слова, и сколько не кричал в трубку «алло», ответа не было. Он так и не понял, кто снимал трубку, что могло так отвлечь кого-то от прозвучавшего звонка. Постояв в будке минут пять, он положил трубку на рычаг. Было одновременно странно, забавно и неприятно. И еще — было ощущение неловкости, ведь он словно подслушивал, остановившись у чужой двери.

...Он ушел от нее уже в двенадцатом часу. За все время он только раз поднялся с места, где сидел, чтобы посмотреть, что у нее за окошком. О встрече на завтра они не договаривались. Потом, у себя, он лежал и думал о ее словах. Что было еще странного с ним тут за эти несколько дней, кроме того звонка домой? Он вдруг заметил, что его номер совсем другой, чем у нее, хоть внешне все корпуса были одинаковыми. У него была узкая длинная комната с маленьким окошком в конце, кровати стояли по одной стене, одна за другой — иначе проход между ними был бы слишком мал. И над каждой торчало бра. Притом бра были не в головах, а посередине кровати, и когда он лежал, до

выключателя было не дотянуться. Однажды, заснув, он так и проспал всю ночь под горящей лампой.

После завтрака — он только сходил еще в киоск за газетами — он постучался к ней. Дверь была закрыта и, он заметил, пока стоял возле нее, что она постукивала на сквозняке: видимо, в комнате была открыта форточка. Обед он проспал и, когда встал, больше, чтоб занять время, чем от голода, пошел в буфет. Съел холодную рыбу под маринадом и тефтели с гречей. И выпил стакан чая. Когда потом вышел на улицу, что-то тяжело ухнуло у стены — это пласт снега съехал с крыши. На аллее его нагнал мужик, весь какой-то расстегнутый, с чемоданом в руке, оглядывающий все кругом. «Где тут принимают?» — спросил он. От него пахло — видно, хорошо провозжался или весело ехал. Когда, еще побродив, он вернулся в номер, мужик сидел на кровати у окна — все в том же расстегнутом полушубке. Раздеваться ему явно не хотелось.

«Где ты был целый день?» — спросила она. Он только что вышел из столовой и пошел по коридору, соединяющему корпуса, и почти сразу увидел ее. — «Ты уже ужинала?» — «Да». — «Я заходил к тебе утром». — «Я ездила в Лугу, там есть хороший трикотаж, детский. Купила своему Юрке вязанный костюм. Там есть неплохие вещи. Ты тоже можешь купить что-нибудь дочке. Еще купила банку растворимого кофе, у вокзала, на рынке. Без всякой нагрузки. У нас теперь тоже стал появляться. Собиралась с собой взять, да вот... Теперь можно будет вечером пить и кофе. А ты что делал?» — «Так, походил немного... У меня появился сосед, Николай. Приехал с недопитой бутылкой в чемодане. Настроен на активный отдых». — «Поздравляю, теперь тебе скучать не придется. На танцы не собираешься?» — «Что-то сегодня не хочется. А ты? Может, погуляем?» — «Тогда внизу, через полчаса, хорошо?»

Еще подходя к ее корпусу, он увидел ее. Она была в куртке, вязаной шапке, и эта шапка, апельсинового цвета, делала ее голову большой — такой прямой, узкой была она вся, даже в куртке. Она держала руки в карманах и так и шла рядом, очень близко, но он чувствовал, что возьми он ее под руку или за локоть другой, дальней от него руки, это было бы неестественно. Снег с аллеи погребали, и справа и слева дорожек высились белые валы. Из-за снега совсем темно не было нигде, только периодически все вокруг делалось ярче — когда они приближались к фонарю, и от того, что вокруг все то темнело, то опять светлело, казалось, что они не просто идут, а целенаправленно движутся от одного светлого места к другому.

Что мог он тогда рассказывать ей? О чем они говорили? Ах да, ведь тогда все только и делали, что говорили. Читали — и говорили. Вдруг все изменилось — Нагорный Карабах, погромы в Сумгаите, катастрофы на шахтах... Журналы, журналы, журналы... Но почему ничего не вспомнить? Такое ощущение, что они почти все время молчали. А может, так оно и было? Помнится лишь, что когда он начинал говорить, ее глаза делались больше, неподвижной. Опять делалось светло, блестели белые отвалы, только в некоторых местах концы аллеи совсем уж чернели, уходя за корпус или туда, где была дорога, а за ней озеро. Но они не уходили из этого света, только стояли и смотрели какое-то время туда, где было черно и пусто. Когда они приближались к фо-

нарю, ее оранжевая шапочка делалась ярче, и иногда о приближении фонаря он узнавал, вдруг начиная лучше видеть эту шапочку.

Когда наконец они подошли к корпусу и было ясно, что теперь уже надо заходить, он вдруг вспомнил, что наутро ему — на экскурсию, почти на весь день, на автобусе — купил билет еще в первый день, увидев объявление на стенде. «Ты не едешь?» — спросил он. И когда шел к себе по коридорам, то тупо, смутно мучило странное чувство какого-то насилия, которое должно было совершиться над ним. Но кем? Им самим? Но когда утром автобус мягко катил узким шоссе меж близких, словно тянувшихся друг к другу еловых ветвей, и он — ничего почти не съев на завтрак, — всем нутром чувствовал его мягкое качание и переваливание из стороны в сторону на извилистой дороге, он ясно ощутил: это хорошо, что он — один. Нет, не так. Просто он вдруг ясно почувствовал, что еще есть — она. И мысль о ней была не мыслью, а ощущением этого, и все время, пока автобус крутил по лесным дорогам, он чувствовал, что на самом деле едет — к ней. А сколько же еще снега было в лесу! Долго шли сырой темной аллеей к усадьбе какого-то Львова. И он, словно потеряв на время способность видеть вещи цветными, смотрел на черные отсыревшие стволы, на темную, а не зеленую хвою, белые колонны беседки со сползающим языком снега на куполе крыши, чернота которой была одинакова с чернотой стволов и нелепой железной трубы, торчащей над усадебным домом. Все разблелись и вдруг стало вокруг — ни души. Огромный дом, раскрывающий объятия двумя полукруглыми галереями, смотрел в лес, в безмолвные сосны, а они — в него. И вдруг что-то совсем иное привлекло его внимание. Какой-то звук — вот что было еще, кроме этого белого и черного. И он пошел на этот звук и, подойдя к дому, к тому месту, где галерея отходила от стены, увидел льющуюся — не капающую, а именно льющуюся воду, низвергающуюся с угла кровли. И когда шли обратно к автобусу, ему казалось, что там, за его спиной, вместе с той водой исчезают не только снег, покрывающий ели и крыши, но и сами ели, и сосны, и даже сам дом.

Когда вечером он вошел в клубный зал, плотно обступивший его жарким греющим воздухом, он почти сразу увидел ее — она стояла в простенке меж окон, прикасаясь плечом к высокой розовой занавеске. И когда потом, после второго или третьего танца объявили белый танец, она и взяла его руку и, сжав, отвела назад, за твердое тепло своей ноги. «Не хочу, чтобы тебя приглашали». И с этого вечера и началось то нескончаемое, тяжкое мучительство, которое и было разрублено тупым обухом того прощания у вокзального перрона.

Ее лицо вдруг всплыло перед ним — словно она была тут, с ним, рядом. Да, сначала глаза, большие, желто-зеленые, смотрящие прямо, словно только что она сказала ему самое главное. И тот свет, что лили они, в первую очередь падал на лоб, прикрытый по краям темно-русскими, легко раскинутыми на две стороны волосами, с легкой пышностью опускающимися потом на плечи. Прямой твердый нос, казалось, возникал из направленности ее взгляда — прямого, смелого, но согретого мягким теплом, кроющимся в ямках на краях сжатых, четко очерченных, но полных, выступающих губ. И завершая овал лица, какую-то насмешку и иронию таил чуть заостренный подбородок,

уводящий уже к другому пути — к высокой шее, покатым плечам, и ниже, ниже, ниже.

Одного он не мог понять — как она могла так обманываться, что не изменяет мужу. Она позволяла делать все, почти все, но не все. «Ты словно снимаешь с меня кожу», — сказала она однажды, когда он как-то неловко стягивал с нее колготки, а она помогала ему в этом понимаями бедер над постельным покрывалом. Однажды, сидя измотанный и измученный в ногах кровати и глядя на нее, измотанную и измученную, лежащую перед ним, он подумал вдруг, чтобы это было, если бы уезжая сюда, она не пообещала этого мужу.

...Да, глаза — вот что было в ней главное. Это ими она решала все и в своей, и в чужой жизни. И сейчас она — словно смотрела в него, поэтому он и стоял недвижимый возле глухой кормы автобуса, не видя ни его, ни ничего кругом. Глазами она решила что-то, стоя в простенке, глядя на танцующих и смотря на него. Это только могло казаться, что все у них просто — выходилось. В буквальном смысле слова — ногами, по тем черно-снежным аллеям, по дороге, огибающей озеро, по песчаным холмам. Стоп. Да, он сейчас это понял — тот совершенно иной, неотрывный, какими неотрывными, безвременными были и ее поцелуи — тот ее взгляд возник в тот вечер на тех песчаных склонах за старой железнодорожной веткой. Уже темнело, на склонах холмов, между которыми они шли, под соснами залегали глухие тени. Скашивая путь, они то поднимались на холмы, то снова оказывались на самом дне ложбин. Как обычно, они шли, не касаясь друг друга, и вдруг на вершине одного холма она остановилась и взяла его за руку. «Я никогда в жизни, никогда и ни с кем не чувствовала себя так вдвоем, как тогда, среди тех холмов, когда мы шли по их склонам с полосами еще белого, но уже не холодного снега», — написала она потом ему в письме.

Возникла ли у него надежда, что когда-нибудь железная скованность ее ног, плеч, когда он мытарствовал распаленными губами от одного ее соска к другому, вдруг взорвется оранжевым пламенем? Неровно стаивающий снег на подоконнике за окном, мокрая ворона на верхушке стеклянного фонаря в крыше, что, посидев, вдруг улетала, провод антенны, свисающий вдоль стены, то неподвижный, то начинающий мотаться из стороны в сторону — сколько раз он смотрел на все это, откинувшись на спинку кровати, под неподвижным, еле заметным взглядом из-под полусомкнутых ресниц.

Она не любила фотографироваться, и на всей пленке, отснятой им за те дни, ее не оказалось ни на одном снимке. Да и вся пленка была словно незасвеченная, редкие кадры содержали темноватые контуры. И лишь фотоснимок пустых монастырских ворот, сделанный им в конце той экскурсии, ничего не стерегущих, рябящих глаз обитым кирпичом и устилающей землю полуистлевшей листвой, получился, хоть вешай на стену.

Они расставались пасмурным, но уже бесснежным днем, на вокзале, сидя на краю цементной чаши неработающего фонтана, разъезжаясь в города, недалекие друг от друга, но позволяющие двум людям не быть вместе.

Она называла себя Санькой, то есть по паспорту, наверно, звалась Александрой, и говорила: «Не забывай свою Саньку». И в письме,

которое потом — только одно — она ему прислала, она так и написала: «Твоя Санька».

«Милый, ненаглядный, мой ясный, мой добрый, пишу — и не знаю, какими словами и именами еще мне тебя назвать. Называю еще многими, которые все могла бы здесь перечислить, кроме одного — произнести которое боюсь даже сама себе. Сколько дней провели мы вместе вдвоем, сколько дней, и вечеров, а сегодня я посвящаю тебе ночь. Целую ночь. Я вернулась, и все пошло, как шло до этого — я даже не могу произнести этих слов — до отпуска, потому-то это был не отпуск. Отпуск — это то, что мне отпущено, чем живу я изо дня в день, чтобы дом был домом, чтобы у дочери моей все было не хуже, чем у других, а про мужа не говорили, что жена — непутевая. Каждые десять дней у нас на заводе “декада”, работаем по двенадцать часов через двенадцать, и так десять дней подряд. Зато... Ну, что там говорить. Ты прочитаешь и скажешь: кто мне это пишет? Кто она, откуда взялась? Милый, ясный мой — не могу подобрать слов — все лезут из песен. Как сказать мне тебе, что я впервые, уже такая, какая есть, почувствовала себя той, которую ждут, о которой просто волнуются, когда долго закрыта ее дверь. Ничего! Не печалься! И на нашей улице будет праздник.

Как я рада, что на прощанье подарила тебе кусочек мыла. Оно такое душистое, мойся им, мойся и представляй, что это я, твоя Санька, обвеваю тебя всего. До свидания, я написала немного, но ночь, которую я посвятила тебе, вся еще впереди».

Он получил ее письмо вечером на почте «До востребования», прочел в каком-то сквере, на краю скамейки, и потом долго шел длинной улицей, по которой трамваи скатывались к набережной, а в конце улицы над самыми рельсами стояло небольшое, размером с апельсин, солнце. И он не мог понять, куда оно может деться в конце этой улицы, лежа на асфальте.

Он звонил ей, ждал, волновался, она радовалась, когда он дозванивался, потом было все остальное, и вот он возвращался с женой из турпоездки.

Какое значение все это имело? И что вообще это было? Ему вспомнилось, что на выпускном экзамене в школе он писал сочинение на тему «Дама с собачкой. Бегство от пошлости». Но разве мог он сказать что-нибудь плохое о своей жене, доме, своем окружении? Все было обычно, нормально, даже хорошо. Распущенность? Но для распущенности хватило бы Тони или гульбы с Николаем.

Нормально! Как полыхнуло сейчас перед ним это слово! И не пеплом ли от этого пламени были присыпаны лица и взгляды тех пластилиновых людей, прошедших возле них у автобуса? Уж они-то постояли у костра, в котором полыхало все нормальное.

«Турысты!» — бросил один из тех пластилиновых. Всю жизнь он смотрел на жизнь, как в окно автобуса, смотрел на то, что показывали. И только раз, на остановке, свернул в извилистый переулок, проплутал в нем до рассвета и почему-то вернулся.

Е. Т. Дмитриева

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ФАКТОР СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Когда выдающегося русского ученого, хирурга Николая Ивановича Пирогова спросили о том, какова цель образования, он уверенно ответил: «Воспитание человека». Это было в середине XIX века, когда стало очевидно, что с общим духовным кризисом христианской цивилизации из образования исчезает самое главное — мировоззренческий аспект. Будучи убежденным христианином, Н. И. Пирогов понимал, что Богу не нужны просто инженеры, хирурги, ученые, даже богословы, Богу нужны, прежде всего, люди, способные понимать смысл его творения, мироздания и свое место в нем. Целостность восприятия мира и творческие позитивные установки на изучение и использование Божьего творения (мироздания) являлись на протяжении веков характерными чертами человеческой личности и обеспечивали ее устойчивое и осмысленное существование.

Разумеется, параллельно с этим шел богоборческий процесс разрушения целостности сознания, так сказать, тьма боролась со светом, дьявол — с Богом: антропоцентризм эпохи Возрождения (разрыв духовных связей человека с Богом), противопоставление материализма идеализму (эпоха Просвещения и немецкая классическая философия); теория Лапласа о происхождении Вселенной из некоего белого облака (а белое облако — из чего?) изгоняет Бога из Вселенной, теория Дарвина о происхождении видов исключает роль Бога в природных земных процессах, материализм Фейербаха — Маркса отвергает участие Высшего Разума в ходе истории (исторический материализм), Фрейд наносит,

пожалуй, самый мощный удар по целостной природе человека — уничтожает Бога в душе и все отдает во власть сексуального инстинкта.

Еще в начале XIX века, несмотря на твердую поступь рационализма и крушение традиций, все-таки в образовании, в частности русском, сохранялись духовные приоритеты. Именно они (а точнее, нравственные начала) определяют смысл, вектор и содержание интеллектуального развития, ибо **дух творит формы**¹.

То обстоятельство, что эти приоритеты существовали в системе русского образования, свидетельствует созданный по Указу Александра I в 1811 году Лицей, где главным предметом являлись так называемые нравственные науки. Разумеется, это было либеральное учебное заведение с направлением на обмирщение сознания учащихся и светское воспитание, но сам фактор нравственности как фундамента образования не подвергался сомнению. Так, А. С. Пушкин, выпускник Лицея 1817 года, пишет в одном из своих стихотворений о профессоре нравственных наук Куницыне:

Куницыну — дань сердца и вина:
Он создал нас, он воспитал наш
пламень,
Поставлен им краеугольный камень,
Им чистая лампада возжена.

Краеугольный камень — это образ евангельский. В одной из притч Евангелия рассказывается о том, как строители отвергли краеугольный камень,

¹ В душе, духе рождаются наши мысли и чувства, мозг является лишь их ретранслятором.

и здание, которое они строили, рухнуло. Что же это за краеугольный камень? Это сам Христос с его духовно-нравственными посылами: «Ищите и обрящите!» (творческий поиск), «Блаженны алчущие правды» (ищите правду), «Блаженны чистые сердцем» (будьте честны, совестливы и добры). Либеральные образовательно-воспитательные программы Лицея не смогли в ту пору пренебречь такой концептуальной задачей, как формирование в первую очередь души человека: культ высоких чувств, дружбы, любви, верности, чести, совести, служения. (А ну как знания попадут в головы людей своекорыстных, без чести и совести!)

А. С. Пушкин, пожалуй, был единственным русским поэтом, в ком Божественная воля столь явно, непротиворечиво одержала победу над соблазнами века, так называемым «духом времени». Именно целостная человеческая природа, целостное сознание дали мощный толчок развитию всеобъемлющего, космогоничного, духовно ясного творчества. Абсолютно чистый гений. Золотое сечение.

О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещения дух!
И опыт — сын ошибок трудных,
И гений — парадоксов друг,
И случай — **Бог изобретатель**.

Итак, до середины XIX века образование ставило своей целью формирование человеческой личности, мировоззрения человека. На этой основе оно (образование) давало системные знания о мире и утверждало подвижничество, служение как форму человеческой деятельности, человеческого труда.

В середине XIX века наступает перелом, когда, по меткому выражению Л. Н. Толстого, «все перевернулось». Само значение корня слова «**переворотилось**» указывает на **развороченное**, **развращенное** человеческое сознание. Церковь, воспитательница духа, на Западе уже отделена от государства; в России нигилизм набирает силу, особенно с развитием научно-естественных знаний. Блестящий пример ущербности

человеческого мировосприятия показывает герой романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» Базаров, когда в ответ на рассказанную Аркадием драматическую историю любви Павла Петровича Кирсанова к женщине с таинственным взглядом дерзко заявляет: «Ты проштудируй-ка анатомию глаза: откуда тут взяться загадочному взгляду?»

В романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» в головах прогрессистов-нигилистов — явный разрыв сущего (научного знания) с вечным (концептом Божественного промысла): «Натура¹ не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не полагается?.. Социальная система, выйдя из какой-нибудь **математической** головы, тотчас же и устроит все человечество. Не надо живой души. Живая душа жизни потребует, живая душа не послушается **механики**... С одной логикой нельзя через натуру перескочить! Логика предугадает три случая, а их миллион! Отрезать весь миллион и все на один вопрос о **комфорте** свести! Самое легкое разрешение задачи!.. Вся жизненная тайна на двух печатных листках умещается!»² Здесь речь идет о вульгарном, рационально-механистическом подходе общественных наук к оценке исторического процесса, где действует только человек, отвергший Божественный смысл истории.

Я столь охотно цитирую русских классиков в силу того, что именно в их художественном, интуитивно обусловленном творчестве отразилась, как в капле воды, тревога человеческого сознания, разрушаемого диктатурой гоголевого интеллекта, наукой без концептуального смыслового начала.

Как же трансформируется русское образование во второй половине XIX века? Об этом подробнейшим образом пишет в своей книге «Россия под властью царей» известный идеолог революционно-народовольческого движения С. М. Степняк-Кравчинский.

¹Трехипостасная природа человека: дух, разум, тело.

²Достоевский Ф. М. Преступление и наказание. М., 1970. С. 199—200.

Я сознательно здесь апеллирую к размышлениям представителя чуждой мне духовной направленности, чтобы показать, что даже в их анализе и оценке системы образования запечатлелась озабоченность глобальной тенденцией разрушения целостного миропонимания и выведение за скобки концептуального мышления, подменой его абстрактно-культурологическим и отраслевым, прикладным. Так, в разделе «Среднее образование» автор отмечает: «Устав 1871 года предусматривал сокращение числа уроков по истории, географии и русской словесности. Образовавшуюся **пустоту** заполнили классическими языками... Сколько бы плохих отметок ни получали ученики по русскому языку, истории, математике, географии, иностранному языку, даже по Закону Божьему, они всегда переходят в следующий класс, но неуспевание по древним языкам наказывается исключением из гимназии»¹. Это одна сторона: гимназическое образование замкнулось в абстрактно-культурологических рамках. Другая же сторона в следующем. «Для многочисленного класса людей, которые смотрят на образование как на **способ обеспечить своим детям средства к жизни**, гимназия совершенно бесполезна»². Вот корень данной проблемы! На образование многочисленные группы и сословия людей стали смотреть исключительно как на «способ обеспечения жизненных благ». То есть оно все более приобретает прикладной к этим жизненным целям характер. Создаются отраслевые институты, открываются технические школы и реальные училища. Казалось бы, хорошо! Человеческий опыт стремительно обогащается научным знанием! Появляется термин «профессиональное образование». С. М. Степняк-Кравчинский далее пишет о том, что цель профессионализации — дать молодым людям знания, «которые будут иметь для них **непосредственную практиче-**

скую ценность»³. Классы стали делить на группы, например: механико-технологические и химико-технологические. Казалось бы, здорово! Чем раньше освоит специальность — тем лучше, тем полезнее для обучающегося и общества в целом. Полезнее... «Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным», — безапелляционно заявляет Базаров. А как же быть с личностью, с ее духовной сутью, о которой так беспокоится оппонент Базарова Павел Петрович Кирсанов: «Личность, милостивый государь, должна быть крепка, как скала»? Идея «пользы», профессионального, а не нравственного совершенствования личности все более сужает путь, по которому развивается сознание общества. Такое общество, оторгнутое от Божественного концепта, все более превращается в толпу людей разных профессий. На смену личности приходит «специалист», потом они станут «спецами» в большевистской России, и многие из них закончат свой трудовой и жизненный путь в ГУЛАГе.

Вот что пишет о них, потерявших Бога и себя, выдающийся деятель русской общественной мысли М. О. Меншиков на рубеже XIX–XX веков: «Попадите в **толпу** людей разных профессий — Вы почувствуете, что Вы в среде дилетантской, лишенной **общего знания, общей какой-то веры**. Такова наша интеллигенция... Интеллигенция — продукт демократической школы. Она уже страдает разнообразными психозами, описанными у Тургенева и Чехова»⁴. О Тургеневе мы уже сказали, что касается Чехова, то тут уместно вспомнить «Скучную историю», в которой главный герой, профессор, при всем его благополучном карьерном и материальном состоянии, глубоко несчастен и духовно потерян, потому что потеряна какая-то общая идея: «Я думаю, долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думал и куда бы ни **разбрасывались** мои мысли, для меня ясно, что в моих же-

¹ Степняк-Кравчинский С. М. Россия под властью царей. М., 1964. С. 267.

² Там же. С. 269.

³ Там же. С. 269.

⁴ Меншиков М. О. Письма к русской нации. М., 2005. С. 29.

ланиях нет чего-то главного, чего-то очень важного. В моем пристрастии к науке... в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы это в одно целое... что называется **общей идеей** или **богом** живого человека... Все то, что я прежде считал своим мировоззрением и в чем видел смысл и радость своей жизни, **перевернулось** вверх дном и разлетелось в клочья... Когда в человеке нет того, что **выше и сильнее всех внешних влияний**, то, право, достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову, в каждом звуке слышать собачий вой»¹.

Итак, общая идея потеряна. Целостность сознания разрушена. Лаплас, Дарвин, Маркс и Фрейд успешно сделали свое дело. На выходе мы имеем человека с порушенной психикой, потерявшего цель и смысл жизни.

Словно в зеркале страшной ночи,
И беснуется, и не хочет узнавать себя
человек.
А по набережной легендарной
Приближался не календарный,
Настоящий XX век, —

впоследствии напишет Анна Ахматова в «Поэме **без героя**» (!) о человеке начала XX века. Не узнает себя человек. А что он может знать о себе, специалист-профи?

Таким образом, русское образованное общество входит в XX век с двумя образовательными векторами: с одной стороны, классическая гимназия, основанная на светском, абстрактно-культурологическом освоении знаний (из нее проистекает русский декаданс), с другой стороны — узкопрофессиональное материалистическое сознание, ориентированное на достижение технического прогресса.

И вместо сердца — пламенный мотор.

XX век с его прогрессивным научным знанием, помимо и даже вопреки Божественному концепту, принес человечеству много дерзновенных открытий в области дальнейшего освоения энергий, изучения Вселенной, строения клетки, но также и две мировые войны, кучу революций, государственных переворотов. Опять все **«переверотилось»!**

Наперекор замыслам идеологов мировой революции превратить русских людей в «белых рабов» (Л. Д. Троцкий), наш народ, хотя и обезглавлен был, лишился царя, духовенства, лучших представителей разных сословий, но тело его осталось здоровым. На этом теле со временем отросла новая голова — советская интеллигенция, которую впоследствии А. И. Солженицын назовет «образованщиной». Она сыграла свою временную позитивную роль. Временную потому, что ее деятельность вовсе не была связана с таким понятием, как вечность, а направлялась, что называется, на злобу дня.

Интеллект встал во главу угла, а техническое образование стало ведущим. Образование уже не занималось концептуальными вопросами бытия, а давало системные отраслевые знания. Творческий труд стал формой реализации человеческого интеллектуального потенциала. Специалисты во всех областях творили новое. Но каждый свое. Еще в XIX веке изобрели динамит для подрыва природных объектов в целях прокладки новых дорог, потом стали использовать это изобретение в войнах, взрывая те же самые дороги; с помощью динамита разрушили в XX веке в Москве храм Христа Спасителя — иными способами его было не снести. Расщепили атом — создали атомную бомбу, чтобы с ее помощью защищаться от врагов, и тут же незамедлительно сбросили ее на два мирных города — Хиросиму и Нагасаки. Биологи «залезли» в клетку якобы с благими намерениями — лечить человеческое тело, но стратегической задачей этого открытия становится генная инженерия, цель которой —

¹ Чехов А. П. Скучная история // Собрание сочинений. Т. 6. М., 1962. С. 329–330.

клонирование человека. Изобрели искусственный интеллект (компьютер), но почему-то на повестку дня встал вопрос о всеобщем электронном контроле человеческой деятельности. На очереди — эфтаназия: поможем безнадежно тяжелому больному легко уйти из жизни, а ведь возникнет большой соблазн таким образом «старушек лушить» (Ф. М. Достоевский). Как только задумаемся на что-то полезное, так непременно это полезное оборачивается нам во вред, и тут же напоминает о себе пресловутая поговорка: «Благими намерениями вымощена дорога в ад». И что же это за общественная польза, которая ведет в ад? И что же это за **люди**, которые используют человеческий интеллект для разрушения природы, человеческого общества, самого человека? Чему их учили в школе? В школе их учили правильно применять закон Ома и вычислять скорости. Все. Это они знают и успешно реализуют, а какое это имеет отношение к судьбам человечества, они даже не задумываются. Они ведь только специалисты, профи, можно сказать, профи-кочевники. Кочуют по всему миру в поисках материальных благ. Ни во что истинное, глубокое, вечное даже не вникают. Каждый сверчок знай свой шесток. Люди — атомы, погруженные в хаос происходящего. Им подчас не связать причину и следствие, ибо эта связь в их сознании разрушена. Вот образ современной интеллектуальной элиты, не понимающей цели и смысла своего бытия, но понимающей цель и смысл быта, комфорта, материального благополучия.

Причина выведения такой человеческой популяции — всеобщее разрушение концептуального мышления. Перспективы? О них можно прочесть в книгах современных «архитекторов» будущего, так сказать, свободных каменщиков — строителей нового мирового порядка Збигнева Бжезинского («Великая шахматная доска») и Жака Аттали («На пороге нового тысячелетия»). «Грядущий мировой порядок, — пишет Аттали, — превратит че-

ловека в товар массового производства... С вставленными в него искусственными органами он (человек) станет и сам искусственным существом, которое можно будет купить или продать, как любой другой предмет или товар... Человек грядущего тысячелетия позволит потреблять себя кусок за куском в рыночном смысле этого слова»¹.

Концептуальное мышление — фундамент образования. Как тут не вспомнить знаменитый сталинский посыл: «Без теории нам — смерть». Кстати, при Сталине в конце 1940-х годов была сделана робкая попытка технократическое образование перевести на качественно иной уровень — придать ему концептуальный смысл (введение в школьные программы таких предметов, как логика и психология). В период «оттепели» этот вектор был изменен. Концептуальное мышление начинается с главного закона человеческого бытия: «**Дух творит формы**». Здоровый дух творит здоровые формы, больной дух — больные (декаданс, постмодерн и прочие инсталляции и перформансы). Здоровый дух творит и здоровое тело: «*Mens sana («дух») in corpore («тело») sano*». Материалисты лукаво поменяли местами эти понятия, получилось: «В здоровом теле — здоровый дух», а изначально дух на первом месте. О душе надо печься — и тело будет здоровым.

Концептуальные знания о мире должны быть доступны всем. Что же это такое?

1. Человек есть творение Божье, а не «тварь дрожащая». Он второй после Бога, он никак не мог произойти от обезьяны, по Дарвину (как мог один вид преобразоваться в другой?), а сотворен Высшим Разумом. Может быть, иные и произошли от обезьян — их мы видим в несметном количестве на те-

¹ *Аттали Ж.* На пороге нового тысячелетия. М., 1993. С. 119–120. Человек будет искать необходимые материалы «на специальных складах живых органов, потреблять других людей, как и прочие предметы, и странствовать в чужих организмах и мозгах».

лезкране, но нельзя же всех под одну гребенку грести.

2. Дух творит формы, а не наоборот.

3. Все наши помыслы и чувства рождаются в душе, мозг — лишь ретранслятор их.

4. Душа бессмертна, так как несет в себе энергию, «которая не возникает из ничего и не исчезает бесследно»¹. Кроме того, душа содержит программу наших добрых и недобрых свойств.

5. Все иерархично в природе и человеческой жизни. Нет никакого равенства, во всем строгая иерархия: старший и младший, большой и маленький, высший и низший, производящий и производное. О какой, спрашивается, педагогике партнерства может в таком случае идти речь? Как учитель и ученик могут быть партнерами, если они, выражаясь современным языком, в разных весовых категориях?

6. Все в мире находится в универсальной взаимосвязи. Личное всегда связано с общественным.

7. Нет стихийных явлений и процессов, они вызываются той или иной волей: Божественной или сатанинской, «а поле битвы — человеческая душа» (Ф. М. Достоевский).

И т. д. и т. п. Об этом говорят в современной школе? Покажите мне такую школу, и я пойду в нее учиться, ибо сама лишь малую толику знаю про это. Про это говорят только в духовных семинариях и академиях. Но церковь-то ведь у нас благополучно отделена от государства! Оно, государство, сейчас в части образования более всего печется о том, чтобы не пустить в школу духовенство, а то ведь начнут говорить с учениками о сущем, переходящем, вечном... Нет, ты заботься о том, как переиграть своего конкурента (своего ближнего), здесь и сейчас зубами ухватить свой «гешефт». Этакого саблезубого «гешефтмахера» получаем на выходе из современной школы. Уж он-то твердо знает, что

Боливар — это только его конь, и ничем ни с кем делиться не собирается.

Вот такой «образованец» вступает в жизнь. Хотя... уже и не образованец, и даже не специалист. Ему в тягость выучить закон Ома, вызубрить таблицу умножения (есть ведь калькулятор!). Это человек-потребитель, одержимый интересом извлечения личной прибыли из всего сущего. Его знания о мире хаотичны, мышление эгоистичное, клиповое (взять здесь и сейчас), цель и смысл жизни — в удовольствиях; развлечением становится все: учеба, дружба, сексуальные отношения, даже политика. Посмотрите ему в глаза: он готов глубоко любить, вдохновенно творить, самоотверженно служить? Да он хочет жить со вкусом — и отстаньте от него. Не понимает он ни первого, ни второго, ни третьего.

Мораль — здоровый эгоизм,
Цель бытия — процесс пищеваренья,
Мерило же культуры — чистота
Отхожих мест и емкость испражнений.

М. Волошин. Государство

Итак, подведем итог. Образование личности в ходе истории постепенно подменялось образованием специалиста, специалист вытеснился потребителем. Одновременно разрушалось целостное концептуальное мышление. Сначала выделился «фермент пользы», а теперь «вдохновляет» только прибыль. Зачем такому субъекту системные знания о мире? Даже системные знания своей отрасли? Ему вполне достаточно видеть только свой интерес. Никакая это не личность, это часть биомассы, управляемой толпы, управляемого хаоса. Какой творческий труд, а тем более подвижничество у толпы? У народа — да, но народ состоит из личностей, а толпа — из биороботов. «Хлеба и зрелищ!» — кричала толпа римлян, когда перед ней появлялся император уже обреченной империи.

Эти процессы обозначены на предлагаемой таблице.

¹ Закон сохранения массы и энергии.

До середины XIX века	С середины XIX века до конца XX века	XXI век
<i>Личность</i>	<i>Специалист</i>	<i>Потребитель</i>
1. Мировоззрение	1. Польза	1. Прибыль
2. Системные знания о мире	2. Системные отраслевые знания	2. Хаотичные знания (клиповое мышление)
3. Подвижность	3. Творческий труд	3. Развлечение



Две пирамиды, условно говоря, обозначают два типа общества, сформированного той или иной школой. Левая пирамида — это более-менее целостное общество, состоящее из разных субъектов — от ремесленника до мыслителя. Правая пирамида предполагает наличие в обществе на втором уровне управленческой и научной элиты, которая, не будучи концептуально образованной, сама является объектом неявного управления. Оно тайное, закулисное, его апостол Павел назвал «тайной беззакония».

Концептуальные знания о мире должны быть доступны всем. Главный вопрос: к чему мы идем? К преобразованию или своему концу? Если к преобразованию, то на основе чего? Если к концу, то почему? Тогда, может

быть, каждый увидит и свою вину, проснется покаяние за содеянное или равнодушно не содеянное. Это мудро. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд» (Еккл. 11:9). «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: "нет мне удовольствия в них"!» (Еккл. 12:1).

Так вот чтобы не наступила эта духовная катастрофа, давайте прежде искать Царства Божия и правды Его. Все остальное нам приложится. Ты лично прямо или косвенно причастен ко всему, что происходит в этом мире.

Это основа здоровой психолого-педагогической системы. Не нравится? Трудно? А почему же человек позапрошлого века — М. Ю. Лермонтов — мог задавать себе этот вопрос:

В небесах торжественно и чудно
Спит земля в сиянье голубом.
Что же мне так **больно** и так **трудно**,
Жду ль чего, **жалею** ли о чем?

Что же мы, с нашим развитым интеллектом, «продвинутым» разумом, спустя 200 лет, боимся «трудных вопросов»? Оскудел ум, умерла душа? Человеческий образ потерян? Выглядывает лишь образина из корыта? Мы только винтики, мошки, которые ждут кормежки, или мы — ЛЮДИ?

Вторая психолого-педагогическая установка: я пытаюсь понять смысл и цель происходящего, постигнуть волю Творца.

Третья: мой личный интерес (прибыль, выгода) органично вписывается в общественное благо или противоречит ему?

Четвертая: я стремлюсь научиться различать добро и зло и не участвую лично в делах тьмы.

Пятая: всеми мыслями и строем души моей я способствую общественному благу и не иду вразрез с замыслом Творца.

Шестая: моя жизнь — это путь к истине, пониманию замысла Творца.

И т. д. и т. п. Вот это и есть основа будущего концептуального образования. От образования мы ждем не только нужного и полезного, но лучшего и высшего. Вглядимся в смысл и струк-

туру русского слова «**образо-**вание». Корнем его в современном литературном языке является «образ» — то есть икона. В сознании носителей языка эти два слова («образование» и «икона») подспудно связаны. Образование исконно в нашем Отечестве несло в себе некоторый сакральный смысл. Вот почему на Руси, в России от образованных людей всегда ждали блага. Уж они-то должны знать, как надо жить. Обманули и народ и себя. Теперь платим за все. Продолжаем ходить по кругу с завязанными глазами, обмолачивая чужие снопы.

И напоследок хочу предложить по нашей теме замечательное стихотворение русского поэта Юрия Кузнецова, не столь давно ушедшего из жизни, то есть нашего современника:

Эту сказку счастливую слышал
Я уже на теперешний лад,
Как Иванушка во поле вышел
И стрелу запустил наугад.

Он пошел в направлении полета
По серебристому следу судьбы.
И попал он к лягушке в болото,
За три моря от отчей избы.

— Пригодится на правое дело! —
Положил он лягушку в лоток.
Вскрыл ей белое царское тело
И пустил электрический ток.

В долгих муках она умирала,
В каждой жилке стучали века.
И улыбка **познания** играла
На счастливом лице **дурака**.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ НА ИСТОРИЮ РОССИИ КАК ФЕНОМЕН «УСЛАЩЕННОЙ» ЕЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ

(редакционный комментарий)

Ниже публикуется очередная работа Вадима Петрова. На этот раз она посвящается анализу очень модного ныне дискурса популярного изложения истории нашего Отечества. В частности, по просьбе редакции нашего журнала упомянутый автор расскажет нашему читателю, что же такого выдающегося он открыл в книгах Николая Старикова. Почему именно Старикова? А потому, что на взгляд редакции в них весьма компактно и концентрированно представлена самая распространенная сегодня мировоззренческая позиция, с которой солидаризируются работы и М. Леонтьева, и С. Кургиняна, и Н. Нарочницкой, и генерала Л. Ивашова, а также многих других авторов. Что не устраивает наш журнал в воззрениях названных лиц? Слишком много чего в них схематизировано, упрощено. Если поверить в предлагаемую нам версию истории России всерьез, а значит, и умом, и сердцем, то тогда мы должны будем, с одной стороны, много возгордиться на счет самих себя, с другой — впасть в уверенное произнесение анафемы по адресу, например, Англии или, обобщая, правящих кругов Запада. То есть история России в изложении Н. Старикова и других ему подобных авторов напористо понуждает нас видеть подлинный исторический процесс превратно и формировать уже собственное понимание важных и сложных исторических событий искаженно. Хорошо ли это, безвредно для нас? Вряд ли. Впрочем, предоставим слово Вадиму Петрову.

Вадим Петров

КРИТИКА НИКОЛАЯ СТАРИКОВА

Это все, конечно, черти
Мутят воду во пруду.
Это все придумал Черчилль
В восемнадцатом году.

В. Высоцкий

...а кои на английский флот взоры с опаской
кладут, памятуя, что англичанка всегда гадит.

Л. Соболев. Капитальный ремонт

В 2010 году свет увидела книга Николая Старикова «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина» (СПб.: Питер, 2010). Из данной книги Н. В. Старикова в числе других можно сделать

следующий вывод. Англия хотела использовать Германию во главе с Гитлером как «младшего брата» в борьбе за свою гегемонию в мире и соответственно в Европе. Примерно по тако-

му же механизму, по которому Англия, по мнению автора, например, использовала Францию. Англичане надеялись использовать Гитлера и в борьбе с большевизмом. Но потом все события в Европе повернулись в диаметрально противоположную сторону от ожидаемых результатов. И уже Гитлер, когда Германия под его руководством достигла определенного уровня развития, стал хотеть использовать Англию как «младшего брата» в борьбе за свое мировое господство. А путь к мировому господству Германии, очевидно, лежал только через господство в Европе.

Данная книга Старикова позволяет сделать весьма интересный вывод. Все ведущие страны Европы манипулировали соседними странами, но своими собственными делами совершенно не руководили, доверяя их манипуляторам-соседям. Или же не умели нейтрализовать манипуляционные воздействия других стран на свои внутренние дела. И только Англия манипулировала всеми подряд, причем как официальными учреждениями европейских стран, так и «самодельными» структурами, например НСДАП, причем еще на ранних этапах существования последней.

Стариков пишет так, как будто англичане и американцы из всех «перспективных» немцев обихаживали только одного А. Гитлера и больше никого не рассматривали в качестве возможного руководителя Германии. Но, очевидно, что ни американцы, ни англичане явно не стали бы «складывать все яйца в одну корзину» применительно к эффективному «управляющему Германией» в борьбе против СССР. Если, по мнению Старикова, ясно выраженному в его книге, Англия всегда стремилась воевать чужими руками, то как же в это вписываются войны, которые вела эта страна самостоятельно? Последний пример — Ирак. До этого была война с Аргентиной в 1982 году из-за Фолклендских (Мальвинских) островов.

Встает вопрос, почему же в 1945 году или несколько позднее, англичане

не вырастили против СССР нового «Гитлера» в своей оккупационной зоне Германии? Почему 23 мая 1945 года они пошли на арест правительства Германии под руководством адмирала Деница? Неужели им уже перестало быть нужным разбить СССР? Но, возможно, что это связано с появлением в 1945 году у США, и в перспективе у Англии, новых средств вооруженной борьбы в виде атомного оружия.

Книга Н. Старикова достаточно интересна и легко читается. Но, к сожалению, при углубленном изучении ее текста у читателя начинают закрадываться невольные сомнения. А такими ли были в действительности исторические обстоятельства, как их описывает и интерпретирует Н. Стариков? При чтении удалось выявить ряд достойных интереса особенностей, которые и заставили взяться за перо и написать данную статью. Ниже приводятся некоторые, на наш взгляд, недостаточно проработанные положения, на которые мы сочли возможным обратить внимание наших уважаемых читателей.

Для удобства восприятия материала мы пришли к выводу о том, что спорные моменты книги будет лучше всего изучать постраничным способом. Представляется, что будет наглядным приемом сначала указывать те или иные положения рассматриваемой книги и тут же сопровождать их своей оппонирующей точкой зрения.

Николай Стариков в начале книги, в частности, пишет следующее: «Что же получается в действительности? Происходит невероятная вещь — фюрер сам изменяет ситуацию в худшую сторону — воюя с Англией, он нападает на СССР! То есть Адольф Гитлер, который понимает, насколько важно для Германии отсутствие второго фронта, который осознает, что такую войну выиграть невозможно, своими руками добавляет к Западному еще и Восточный фронт...

Как же объясняют столь нелогичный поступок главы Германии историки? Гитлер решил уничтожить послед-

него потенциального союзника англичан на континенте.

Вдумайтесь в эти слова. Посмотрите на карту. Вспомните историю.

Для достижения полного разгрома Англии Гитлер нападает на СССР! [Выделено автором. — В. П.]» (С. 8. Примечание. Здесь и в дальнейшем указание номера страниц разбираемой книги Н. Старикова приводятся без ссылки на источник). Все это звучит хорошо. Но здесь автор несколько подменяет понятия и, как представляется, искажает смысл мотивации немецкого руководства. Можно полагать, что Гитлер напал на СССР отнюдь не для «достижения полного разгрома Англии». Важнейшими мотивами Гитлера для нападения Германии на СССР именно в 1941 году, как представляется, были два. Первый. Разгромить основного конкурента на материковой части Европы до того, как этот конкурент усилится до пределов невозможности победы над ним. Второй. Получить сырьевые ресурсы СССР, резко усиливающие Германию как государство № 1 в Европе. Причем, на что следует обратить особое внимание, война с Англией явно затягивалась. К моменту нападения на СССР Гитлер уже находился в состоянии войны с Англией год и девять месяцев. Притом, что способов быстрого окончания этой войны пока не предвиделось. А разгромить СССР Гитлер надеялся в течение короткой летней кампании, лишь немногим более длительной, нежели кампании по захвату Греции, Югославии и острова Крит. Все эти последние кампании имели отчетливую антианглийскую направленность. Поэтому планируемый разгром СССР имел если не прямую направленность на достижение победы над Англией, то косвенную точно. Кроме того, вермахт был гораздо сильнее подготовлен для ведения чисто сухопутных боевых действий, нежели для десантных операций, что явно показала операция по захвату Крита. Поэтому логика действий по первоначальному разгрому СССР с последующим сосредоточением сил на победу в борьбе с Англией представ-

ляется в той ситуации вполне оправданной. То есть у Гитлера было всего две глобальные возможности. Первая. Начать решительную борьбу с Англией, имея в своем тылу мощный СССР, нападение которого было бы крайне опасным для Германии. Вторая. Быстро разгромить СССР, оставив относительно слабые, но достаточные для ликвидации любой десантной операции английской армии, армейские заслоны на оккупированном побережье Европы. Причем для организации масштабной десантной операции англичанам было необходимо гораздо больше времени, чем предполагалось затратить на разгром СССР и возвращение основной массы немецких войск в центр Европы.

В своей книге автору случается приводить не совсем точные сведения. Вот, например, он пишет о судьбе Франца Ксавьера Шварца, почетного члена СС, главного финансового распорядителя СС. Н. Стариков повествует о том, что после войны «...он получил практически “детский” срок, если учесть, какой пост он занимал в НСДАП и СС, — всего два года. В 1947 году бывший казначей выходит на свободу. ...Только забыл он, что лучший свидетель — мертвый свидетель. А потому, выйдя на свободу, Ксавьер Шварц сразу умер, все в том же 1947 году. Как сидел в тюрьме — был здоров, а как выпустили — умер» (С. 30). Увы, вольно или невольно, но Н. Стариков здесь несколько ошибся. Вот сведения из статьи о Шварце Франце Ксавьере. «В конце Второй мировой войны Шварц выполнял ряд особо секретных заданий партии: готовил к уничтожению и консервации финансовые документы НСДАП и переводил средства в зарубежные банки. С 1945 по 1947 проживал в Испании» (Энциклопедия Третьего рейха. 2-е изд. — М.: Локид-пресс: РИПОЛ Классик, 2004. С. 439). Если учесть, что в 1947 году Шварцу было 72 года, то особо удивляться факту его смерти не приходится. А вместо версии Н. Старикова о тюремном пребывании Шварца у союзников, которое почему-то было слишком кратким, мы поймем, что он попросту в самом конце войны

по тайным каналам СС отбыл в Испанию, где и жил два года, подпольно руководя секретными финансами СС и НСДАП. И спокойно умер от заболевания в возрасте 72 лет.

Увлечшись тезисом о том, что Гитлер появился как политический деятель исключительно благодаря усилиям англичан, Н. Стариков пытается убедить нас в том, что английская разведка усиленно финансировала Гитлера еще в самом начале его политической деятельности. «Осенью 1923 года Гитлер съездил в Цюрих и вернулся оттуда, как говорили, “с сундуком, набитым швейцарскими франками и долларовыми купюрами”, — пишет Иоахим Фест. То есть накануне попытки государственного переворота кто-то выделил будущему фюреру солидную сумму в валюте. И нас пытаются уверить, что это сделали сами швейцарцы!» (С. 34). Здесь можно ответить достаточно коротко. Нации «швейцарцы» нет. В Швейцарии основой населения являются три народа: французы, итальянцы и немцы. Можно предполагать, что к швейцарским немцам и обратился за помощью А. Гитлер. И финансовая помощь поступила, очевидно, именно от немецкой общины Швейцарии. А не от представителей английской разведки в Швейцарии и не от официальных швейцарских структур.

Вот как автор комментирует некоторые положения известной книги «Майн Кампф», которую Гитлер написал в середине 1920-х годов. «Уже из этого высказывания становится ясна четкая направленность будущей политики Гитлера. Чтобы что-то у кого-то отнять, надо вступить в союз с тем, у кого ты ничего забирать не собираешься. Кайзеровская дипломатия до этого не додумалась и оказалась втянутой в войну со всем миром» (С. 40). Здесь автор противоречит известному всем ходу истории. Выходит, что, подписывая в 1939 году пакт с СССР, Германия ничего в дальнейшем у нашей страны «забирать не собиралась»? Странно. Творение Гитлера «Майн Кампф» говорит как раз о противоположном. Далее в тексте книги ее автор,

Н. Стариков, очевидно забывая, что он написал ранее, говорит прямо противоположное. «Сегодня мало кто правильно ответит на вопрос, против кого в Первую мировую войну воевала Антанта и входившая в этот блок Россия. Поэтому напомним, что союзниками Германии тогда были три страны: Австро-Венгрия, Турция и Болгария» (С. 52). Следовательно, кайзеровская дипломатия, равно как и кайзеровский генштаб, до необходимости иметь союзников в серьезных боевых действиях все же «додумались». Автор продолжает развивать затронутую им тему. «Сыны Туманного Альбиона всегда старались ослабить наиболее сильную державу на континенте. Совсем недавно это была Германия. Но вот она разгромлена, разграблена и больше никакой опасности для англичан не представляет. По мнению Гитлера, Англия может быть недовольна теперь только Францией» (С. 40). Но неужели англичане уже в начале 1920-х годов сумели разглядеть в Гитлере такого верного союзника в будущем деле ослабления Франции? А если уж англичане были такими прозорливыми и мудрыми и правильно «разглядели» Гитлера в начале 1920-х годов, то почему они оказались такими позорно непредусмотрительными хотя бы на Мюнхенских переговорах осенью 1938 года? По Н. Старикову убедительного ответа не найти, кроме ссылок на то, что Гитлер совершенно внезапно для англичан вдруг взял да и «отвязался». Но даже и такое объяснение все равно свидетельствует, как минимум, о странной и необъяснимой с позиций Н. Старикова непредусмотрительности прожженных английских дипломатов и разведчиков.

Н. Стариков выводит революционные события 1917 года в России исключительно из причин, для обозначения которых вполне подойдет конспирологическая терминология. «Если в Германии нашлась своя “кровавая собака” Носке, то в России дело убийства политических соперников решительно взяли на себя большевики. За-

брошенные английской разведкой в Россию благодаря соглашению с германскими спецслужбами в «пломбированном» вагоне, они не захотели исчезать с политической сцены. Показав себя талантливыми и безжалостными организаторами, большевики выиграли Гражданскую войну и вышли из-под контроля британских кураторов. Когда осела пыль, поднятая падением великой Российской империи, взору удивленных англичан предстала невероятная картина. На месте гигантской, но предсказуемой империи царей появилась чуть меньшая, зато совершенно непредсказуемая новая страна — СССР. Во главе ее стояли люди, лично знавшие, каким образом осуществляются перевороты и революции и потому являвшиеся достойными соперниками в политической борьбе» (С. 58). После знакомства с текстом этого отрывка книги возникает сразу несколько вопросов. Первый. Не может ли Н. Стариков привести хотя бы одно документальное свидетельство соглашения между английской разведкой и германскими спецслужбами о заброске большевиков в Россию путем использования «пломбированного вагона»? Второй. Если для англичан Россия до 1917 года была «гигантской, но предсказуемой империей царей», то зачем тогда они стремились к ее разрушению и замене на «совершенно непредсказуемую новую страну — СССР»? И зачем тогда изначально англичанам было нужно вести дело к распаду Российской империи? Третий. Если, как утверждает Н. Стариков, большевики сначала выиграли Гражданскую войну, а только потом «вышли из-под контроля британских кураторов», то выходит, что Англии была выгодна эта внутренняя российская война. Но почему тогда англичане не поддерживали Гражданскую войну в длительном состоянии, а позволили большевикам ее закончить? Четвертый. Для чего англичанам было нужно поддерживать большевиков как слишком явно «достойных соперников в политической борьбе» на замену соперникам в лице царских

дипломатов? Неужели английская сторона стремилась действовать по известной пословице: «Менять шило на мыло»? Пятый. Если, по мнению Н. Старикова, англичане так «промахнулись» с большевиками, то зачем они потом так неаккуратно стали поддерживать примерно такой же степени опасности НСДАП во главе с Гитлером? Неужели англичане так ничему и не научились в эксперименте с большевиками?

Роль Троцкого в мировой истории, как и в истории СССР, интерпретируется Стариковым в достаточно своеобразном ключе. «Сталин считал, что надо строить в СССР социализм, а для этого — новые заводы, фабрики, железные дороги. ... Не только восстанавливать Россию, но и развивать и улучшать ее. Что предлагал Троцкий? Социализм в одной, отдельно взятой России невозможен. Поэтому и масштабное строительство бессмысленно. ... Это значит, не надо садилов и санаториев, не надо фабрик и заводов. Не надо вообще ничего, кроме финансирования мирового революционного движения и создания сильной армии, которая и принесет зарю всему человечеству на острие своих сабель. Ведь перманентная революция, по Троцкому, должна постоянно экспортироваться. Что это значит? Это значит, что в любой момент СССР может напасть на любую страну по выбору и усмотрению товарища Троцкого. И его зарубежных друзей...» (С. 88). Все это, конечно, очень хорошо. Но возникает вопрос. Откуда товарищ Троцкий мог взять в 1920-х годах могучую Красную армию, если в СССР не было промышленной базы? Он, что, собирался нападать на другие страны армией, вооруженной штыками, колющими и саблями? А по общеизвестным всем данным, РККА в 1920-е годы как раз была весьма и весьма слабой, не способной воевать на равных даже с Польшей, не говоря уже с Англией и Францией. Для доказывания этого тезиса можно привести яркий пример. Вернуть Бессарабию, которая являлась незаконно отторгнутой в 1918 году территорией нашей страны, удалось толь-

ко в 1940 году. Это хорошая иллюстрация того факта, что СССР ни в 1920-е годы, ни до конца 1930-х годов был неспособен бороться даже с Румынией и ее мелкими союзниками по так называемой «Малой Антанте». А теория «перманентной революции» рассчитывала в первую очередь не на силу РККА, а на восстания рабочих, солдат и крестьян в тех или иных странах. Согласно этой теории, считалось, что стоит только такой стране начать боевые действия против СССР, как все рабочие этой страны восстанут, сменяют власть на советскую и тут же присоединятся к СССР. Так зачем тогда СССР вообще нужна мощная армия? Но события хотя бы войны между Россией и Польшей в 1920 году уже показали цену этой пролетарской солидарности. В том то и дело, что Троцкий считал уроки 1920 года случайностью, а Сталин — закономерностью. Поэтому, по Сталину, было необходимо развивать государство, строить мощную промышленность, а уже на ее базе создавать современную и сильную армию. Троцкий же надеялся в основном только на международную солидарность пролетариата и бедноты. Рассуждения Троцкого, может быть, в сугубо теоретическом плане хороши. Но если страна слаба, то как можно создать сильную армию? Ведь для создания сильной армии нужна сильная страна. А как раз сильную страну Троцкий и не хотел создавать. Отсюда становится ясной правота в подобном споре Сталина, а не Троцкого.

Поэтому никаких боевых действий против других стран РККА в период с 1920 по 1938 год не вела. Исключение, которое, как известно, только подтверждает правило, составлял лишь так называемый «конфликт на КВЖД» в 1927 году, сугубо локальный и очень небольшого масштаба.

Согласно утверждениям Н. Старикова, «...приход к власти Гитлера не был вызван экономическими причинами, как не был обусловлен внутривластными германскими причинами. Решение поставить его у руля было принято не в Берлине, а в Лондоне и Вашингтоне

[выделено в книге. — В. П.]» (С. 109). Отлично. Поверим уважаемому автору, что ни экономические, ни внутривластные причины не оказали абсолютно никакого влияния на приход Гитлера к власти. Но вот что пишет автор далее, спустя всего несколько строк, на той же самой странице. «Конечно, нельзя исключать влияния экономического упадка Германии на рост любви простых бюргеров к нацистам. Однако главная причина симпатии избирателей к Гитлеру коренилась в другом. За 14 лет своего существования Веймарская республика показала свою полную несостоятельность в решении любых маломальски важных государственных вопросов. “Чувство полного уныния и бессмысленности существования доминировало над всем”, — пишет И. Фест о чувствах немцев во время экономического кризиса, но эти слова вполне можно отнести ко всей истории Веймарской республики. В стране царил откровенный бардак. Чтобы в этом убедиться, не нужно создавать машину времени и отправляться в Германию тех дней. Достаточно бегло просмотреть учебники истории. Именно бегло, ибо абсурдность веймарской действительности просто бросается в глаза» (С. 109–110). Прочитав процитированные строки, следует прийти к такому выводу. Н. Стариков пытается уверить нас в том, что описанные им недостатки Веймарской республики не оказывали в конце 1932 — начале 1933 года никакого влияния на предпочтения избирателей при выборах в Рейхстаг. А все дело заключается лишь в закулисных интригах США и Англии, которые и обеспечили победу Гитлера на выборах.

Автор разбираемой книги делает вроде бы логичный вывод. «Пока Польша и Чехословакия были готовы ударить в тыл к немцам, Париж мог спать спокойно» (С. 135). Но тогда возникает следующий вопрос. А зачем тогда Франция осенью 1938 года в Мюнхене так спокойно сдала Чехословакию немцам? Франция, что, не знала, какой мощности и значения чехословац-

ПИСАТЕЛЬ

XXI
век

кие укрепления, заводы, земли и т. п. она, вкупе с Англией, сначала собиралась уступить и затем и уступила Гитлеру? А что она, т. е. Франция, получила взамен? Свое ослабление? Н. Стариков не стремится осветить этот вопрос.

Стариков утверждает: «Именно союз двух великих континентальных держав являлся кошмаром для англосаксов, и противодействие такой возможности лежало в основе британской политики после Первой мировой войны» (С. 184). Но тогда как же Англия допустила заключение Раппальского договора в 1922 году? И как хваленая английская разведка «не заметила» всех секретных немецких военных объектов в СССР? А ведь Гитлер тогда был, если верить Н. Старикову, еще только «в проекте». Почему же Англия не надавила, хотя бы дипломатически, на Германию, чтобы она разорвала сотрудничество с СССР? А ведь это, кроме усиления Германии, вело и к определенному усилению в военной области и СССР. Доказательства того, что уже в 1927 году англичане должны были знать о существовании военного сотрудничества между СССР и Германией, а также о секретном объекте для подготовки немецких военных летчиков в Липецке приводятся далее. «В феврале 1927 года командир (!) одного из авиаотрядов Белорусского военного округа Константин Клим совершал на самолете итальянского производства “Ансальто” обычный учебно-тренировочный полет. Но на родной аэродром он не вернулся — пересек границу и приземлился в Польше. И это не было вынужденной посадкой. В отличие от своего бортмеханика Тимошука, который сразу потребовал вернуть его в СССР, Клим заявил, что улетел сознательно, по идеологическим соображениям. Он был допрошен сотрудниками польской контрразведки, и те сразу же поняли, какая важная птица оказалась у них в руках. Бывший советский военлет не только выдал всю известную ему информацию о ВВС Советского Союза, но, самое главное, рассказал о тайном военном сотруд-

ничестве большевиков с Германией. Речь, в частности, шла о функционировании в Липецке немецкого авиационного центра, который действовал под прикрытием 4-го авиационного отряда 38-й авиаэскадрильи ВВС РККА» (Кувакин Д. Летчики-перелетчики // Ваш тайный советник. 2010. 25 октября. № 40 (418). С. 14). Отсюда можно сделать следующий вывод. Между спецслужбами Англии и Польши имелось тесное сотрудничество. Поэтому данную информацию должны были сразу же довести до сведения высших должностных лиц Великобритании. И следовательно, с 1927 года в Англии знали, что Германия тайно сотрудничает в военной области с СССР. То есть против нарушений Версальского договора никто в Англии не протестовал. Но Гитлер в это время был еще политическим деятелем далеко не первого ряда. Очевидно, что Англия не протестовала против действий Германии и СССР, так сказать, по «общеполитическим причинам», а совсем не из желания поддержать Гитлера, который к рейхсверу тогда имел весьма отдаленное отношение. Как известно, Гитлер сразу после прихода к власти в 1933 году свернул военное сотрудничество Германии с СССР. Тогда, если Англия уже в 1927 году поддерживала Гитлера, она должна была действовать в угодном Гитлеру направлении и «нажать» на Германию, чтобы последняя разорвала военное сотрудничество с СССР. Затем разрешить Германии выйти из ограничений Версальского договора и стремительно перевооружиться. И в итоге поднести сильную Германию «на блюдечке» Гитлеру, чтобы он не тратил своего драгоценного времени на перевооружение. Но этого, как мы знаем, в действительности не было.

Причины успехов советской стороны на переговорах с Германией в 1939 году Н. Стариков обуславливает неуклюжестью действий англичан по отношению к Гитлеру. «Судя по успехам советской дипломатии, сначала тайным, а потом и явным, лондонские эмиссары проявили в пере-

говорах с Гитлером крайнюю неуступчивость и негибкость, в результате чего он решил нарушить свои договоренности с Западом» (С. 202). Вот тут возникает вопрос. А почему же англичане, ни с того ни с сего, по отношению к Гитлеру, с которым, по утверждению Н. Старикова, раньше жили душа в душу, вдруг стали проявлять «крайнюю неуступчивость и негибкость»? Но если встать на точку зрения, что англичане не «выдумали Гитлера», а их разведчики просто «пасли» его, как должны были «пасти» все более-менее значимые политические силы в поверженной ими Германии, то все сразу становится понятным. И речь тогда может идти как об обычных успехах обычной дипломатии Германии, так и об одновременной плохой работе обычной дипломатии Англии, да и Франции тоже. И тогда, если очень не хочется признавать явную провальность для Англии и Франции «Мюнхенского сговора» и, одновременно, полный выгрыш от этого же «сговора» Германии и, отчасти, Италии, возникают интересные, но, увы, не очень жизненные исторические взгляды на этот счет г-на Старикова.

После так называемого второго чехословацкого кризиса в марте 1939 года события развивались следующим образом. **«...Британия и Франция до середины дня 23 марта [1939 года. — В. П.] не знали, что Словакия не войдет в состав Третьего рейха [выделено в книге. — В. П.]».**

Гитлер целых девять (!) дней старательно поддерживал иллюзию, что словаки будут присоединены. Зачем он тянул время? Потому что решил обойти своих западных партнеров по переговорам. Во втором чешском кризисе Гитлером с британцами и французами были согласованы поглощение Чехии, поглощение Словакии и обязательное поглощение Закарпатской Украины. На самом деле Гитлер включил в состав Третьего рейха лишь Чехию. Ни Словакия, ни Закарпатская Украина не были к Германии присоединены. Получилось, что произошло очередное усиление немецкого госу-

дарства, а пользы для организации агрессии против России от этого не было никакой» (С. 209). Интересные данные. Во-первых, хотелось бы узнать от уважаемого Н. Старикова, не может ли он указать сведения о письменном договоре между Англией, Францией и Германией относительно присоединения к последней Словакии и Закарпатской Украины, аналогичного «Мюнхенскому договору» 1938 года? А если такого письменного договора нет, то, выходит, английские и французские дипломаты были полными идиотами, поверив Гитлеру на слово в этом деликатном вопросе и не получив от него весомых гарантий. Во-вторых. Зачем было нужно Гитлеру присоединять к Германии нищую Словакию и еще более нищую Закарпатскую Украину? Промышленно развитая Чехия с заводами «Шкода», ЧКД и многими другими, да еще с высококвалифицированными рабочими совершенно другое дело. Эти же западные дипломаты должны были бы понять, что указанные нищие области совершенно не нужны Гитлеру, ибо он никогда не был склонен кормить, с его точки зрения, дармоедов, да еще вдобавок, по его же мнению, расово подозрительных. В-третьих. Даже если бы в марте 1939 года Гитлер и присоединил бы к Германии Словакию и Закарпатскую Украину, то все равно для нападения на СССР у него оставалось географическое препятствие. А именно: значительная по ширине полоса Польши между Словакией, Закарпатской Украиной — с одной стороны и СССР — с другой. А преодолеть эту полосу без согласия Польши было бы нельзя. И тогда Англии и Франции пришлось бы в открытую осуществить очень сильный дипломатический нажим на Польшу, чтобы она пропустила немецкие войска через свою территорию. А это явилось бы крайне враждебным действием против СССР де-факто, объединившихся против СССР Англии, Франции, Польши и Германии. Такого страны Запада в тех условиях явно не могли себе позволить. Уж такие простые соображения должны

были понимать любые дипломаты. Кроме того, следует вспомнить, как развивались события в начале — середине марта 1939 года. Ведь Франция и Англия дали в Мюнхене гарантии Чехословакии, но только целостной. А Гитлер ввел свои войска в Чехию именно потому, что единое Чехословацкое государство фактически развалилось на два. И поэтому, очевидно, он не мог захватить всю территорию бывшей Чехословакии, чтобы не дать в руки Запада какие-то юридические основания утверждать, что гарантии фактически не действуют. А так в марте 1939 года все складывалось для Гитлера весьма успешно. Единая Чехословакия развалилась, но ее значительная часть, Словакия, стала формально независимой. Чехия же, хотя туда и ввели немецкие войска, стала «Протекторатом Богемии и Моравии», но сохранила определенную часть формального суверенитета. Поэтому Гитлер обыграл Запад не благодаря каким-то мифическим обещаниям последнему «напасть на СССР», для чего ему якобы были нужны Словакия и Закарпатская Украина, а чисто цивилизованными дипломатическими маневрами. И если дипломатические представители Англии и Франции были столь «увлеченными», что принимали желаемое за действительное, то это уже было делом степени их компетентности. И тогда ситуация со Словакией и Закарпатской Украиной может быть объяснена весьма просто, так, как и приведено выше.

По Н. Старикову, оказывается, что причиной нападения Германии на Польшу в сентябре 1939 года являлось нежелание Гитлера быть направляемым англичанами. «Вместо того чтобы вновь войти под британскую “опеку”, Гитлер бросал своим “патронам” вызов. А Польшу, непредсказуемую и враждебную, решил ликвидировать. Никаких планов дальнейших ударов у Гитлера на тот момент не было. Не было никакого пошагового плана захвата “мирового господства”. Не было плана нападения на СССР. Не написали германские штабисты плана раз-

грома Англии и Франции. У немцев вообще не было никаких агрессивных планов в тот момент, кроме плана “Вайс” — удара по Польше. Германия начинала польскую кампанию, не имея готовых планов операций на Западном фронте. “Гениальный” фюрер плыл по течению и просто реагировал на меняющуюся международную обстановку. Выскажу еще более “крамольную” мысль: вся Вторая мировая война со стороны Германии — это вообще одна сплошная большая импровизация!» (С. 257). А что здесь такого уж крамольного в импровизации? Пусть даже если Гитлер и делал все импровизированно. Но в Европе 1939–1941 годов все его импровизации удавались блестяще. И только с 22 июня 1941 года, после нападения на СССР, германская военная машина «забуксовала», а потом и вовсе стала с 1943 года постоянно стратегически проигрывать Красной армии. И как нам нужно понимать приведенные выше слова Н. Старикова? Что, немцы должны были для успешных действий готовить военные планы непременно загодя, не менее чем за 15–20 лет до того, как их ввести в действие? Как раз наоборот. Быстро меняющаяся внешняя обстановка обычно влечет за собой необходимость настолько кардинально пересматривать все ранее созданные планы, даже весьма подробные и правильные, что они становятся и вовсе бесполезными. А это как раз и можно легко приравнять к созданию новых, по выражению Н. Старикова, «импровизаций». Но почему «импровизации», дающие необходимые результаты, менее предпочтительны, чем заранее заготовленные планы, часто дающие отрицательный эффект, автор совсем не указывает. Повторим, что в Европе 1939–1941 годов все «импровизации» не столько Гитлера, сколько его талантливых военных из Генерального штаба, давали постоянные и быстрые победы над целыми странами. И только совокупными усилиями «без импровизаций» стран антигитлеровской коалиции удалось с великими трудами и жертвами победить Третий рейх, со

всеми его, как выражается Н. Стариков, «импровизациями».

Автор книги считает, что на Гитлера практически не было покушений, за исключением хорошо всем известного события, связанного с именем полковника фон Штауфенберга. «Такое впечатление, что в Лондоне и Париже не считали Гитлера опасным. Что имеется в виду? Если Гитлер — дьявол во плоти, так ликвидируйте его. Он же пренебрегал элементарными правилами безопасности, ходил практически без охраны, ездил в открытом автомобиле. Откуда такая беспечность? Да Гитлер просто знал, что убивать его англичанам невыгодно! Ведь за всю войну не случилось НИ ОДНОГО ПОКУШЕНИЯ НА ГЛАВНОГО ПРЕСТУПНИКА ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ! [Выделено Н. Стариковым. — В. П.]» (С. 315). Правда, на этой же с. 315 в сноске 2 автор оговаривается, что имеются в виду только попытки ликвидации Гитлера иностранными разведками, а известное всем покушение фон Штауфенберга «было осуществлено самими немцами». Здесь автор уклоняется от истины. Хорошо известно, сколь серьезные меры безопасности принимала многочисленная личная охрана Гитлера из числа СС. А касаясь покушений на фюрера можно рекомендовать хотя бы книгу: *Бертольд Виль. 42 покушения на Адольфа Гитлера.* — Смоленск: Русич, 2003. В этой книге Б. Виль, в частности, приводит следующие сведения: «К отдельным лицам, которые почти достигли своей цели, принадлежат и швейцарский студент-теолог, и один швабский столяр, и один британский полковник, несколько немецких офицеров...» (Там же. С. 6). Очевидно, что, по крайней мере, некоторые из перечисленных лиц действовали в интересах спецслужб, противодействовавших немецкому государству. И отсутствие удачных покушений на Гитлера можно объяснить не бездействием спецслужб стран антигитлеровской коалиции, а успешными в этом плане результатами деятельности спецслужб Германии.

Далее Н. Старикову случается с недостаточной полнотой отражать мотивацию тех или иных немецких действий. «Нацисты вошли в Скандинавию с одной целью — гарантировать себе поставки той самой жизненно необходимой железной руды. ...Остальные участники мировой войны проявляли в подобных случаях не больше шепетильности. 10 мая 1940 г. Англия оккупировала не имевшую своей армии Исландию. Официально этот шаг был мотивирован стремлением предотвратить германскую оккупацию острова, однако при желании немцы давно могли это сделать, так как никто Исландию от них не защищал. Но для Германии надобности в этом не было» (С. 317). Здесь автор также не прав. Мотивом оккупации Норвегии стала также необходимость обеспечения фланга Германии и получения военно-морских баз для надводных и подводных кораблей. А оккупировать Исландию немцы не стали не потому, что у них отсутствовало желание этого. У немецкого ВМФ отсутствовали возможности для десантной операции на этот остров. Да еще немцы опасались, что их вторжение на Исландию вызовет резкую реакцию США вплоть до войны Германии с ними. А к войне с США Германия в 1940 году была еще явно не готова, хотя бы в чисто моральном плане, не говоря уже о материальных предпосылках.

На с. 348 своей книги ее автор описывает события, относящиеся к так называемой «битве за Англию» в 1940 году. Тут автор считает действия гитлеровских ВВС неправильными. Но Н. Стариков забывает о том, что именно в те годы имелась весьма популярная «доктрина Дуэ». Эта доктрина утверждала, что можно победить противника действиями только одних военно-воздушных сил, без привлечения сухопутных войск и ВМФ. Именно потому немецкие Люфтваффе и действовали в 1940 году так непоследовательно, пытаясь воздействовать на Англию разными вариантами применения одних лишь своих ВВС. Даль-

нейший ход применения боевой авиации показал ошибочность этой теории. Из-за этого сейчас доктрина Дуэ в целом считается ошибочной, а действия немецкой авиации против Англии с современных позиций — неправильными и непоследовательными. Но это, повторяю, современные воззрения. А тогда «доктрина Дуэ» была в большом фаворе и если даже и критиковалась, то весьма и весьма осторожно.

Довольно большой интерес могут составить сведения о сподвижнике Гитлера Рудольфе Гессе, про которого автор говорит мимоходом в самом конце книги. Но приводимые им две фразы можно признать сенсационными, если бы не некоторые «но». Итак. **«Рудольф Гесс привез англичанам мирное предложение фюрера. Великобритания одобрила нападение Гитлера на Россию, обещая содействие, но обманула немцев уже 22 июня 1941 г. [выделено в книге. — В. П.]»** (С. 356). Что тут скажешь? Ведь Гитлер официально признал Гесса сумасшедшим практически сразу после отлета последнего в Англию, а это, очевидно, очень плохая позиция для переговоров, хотя бы и сугубо тайных, с таким противником Третьего рейха, как У. Черчилль. Кроме того, в мае-июне 1941 года Гитлер явно не мог поверить обещаниям Англии. Во-первых, хорошо зная цену обещаниям на своем собственном опыте. А, во-вторых, по уверениям Н. Старикова, Гитлер до этого уже неоднократно обманывал Англию. Так что он явно не мог рассчитывать на то, что Англия в 1941 году ему поверит и ответит на его любые предложения, доставленные весьма сомнительным образом хотя и высокопоставленным деятелем Третьего рейха, но официально признанным сумасшедшим. А такие предложения Гесса, в том виде, как их приводит Н. Стариков, явно и сильно отдают провокацией, причем низкогокачественной. Попробуем проиллюстрировать сказанное двумя ситуациями, которые в действительности не имели места, но которые явятся хорошими примерами. Первый пример. Риббентроп

летит в Москву с целью подписания хорошо всем известного договора. А Гитлер вслед ему сообщает на весь мир, что рейхсминистр иностранных дел сошел с ума, да еще в тяжелой форме. Стал бы Молотов не то что подписывать что-то, а даже просто разговаривать с Риббентропом? Сильно сомневаемся. Второй пример. Октябрь 1962 года, разгар Карибского кризиса. Общеизвестно, что сначала переговоры вели два представителя очень небольшого ранга. И только потом, после достижения ими каких-то «подвижек», переговоры по телефону стали вести первые лица СССР и США. Представим, что СССР и США предварительно публично объявляют этих переговорщиков, каждая страна своего, сумасшедшими. И тогда их встреча вообще вряд ли бы вообще состоялась, так как каждый из переговорщиков вряд ли бы захотел вести какие-либо беседы с сумасшедшим визави. Еще один пример из относительно недавнего времени. Утром 19 августа 1991 года телезрители и радиослушатели нашей страны узнали о том, что Президент СССР М. С. Горбачев, находящийся на отдыхе в Форосе, не может исполнять свои обязанности «по состоянию здоровья». Власть перешла к и. о. президента, и был также сформирован так называемый ГКЧП. «Состояние здоровья» Горбачева, по словам представителей ГКЧП, оказалось таково, что его нельзя было показать не только обычным гражданам, но даже и врачам самой высокой квалификации из срочно созданной международной комиссии. Через два дня после этого ГКЧП был ликвидирован, а Горбачев вернулся в Москву внешне вполне здоровым. Но это происшествие оказало большое влияние на политику. Все деятели ведущих мировых стран задались очевидным вопросом. А стоит ли иметь дело с руководителем державы, которого его подчиненные в любой удобный им момент с легкостью могут объявить заболевшим? И в каком виде можно ожидать в будущем появление Горбачева, например, на важных государственных переговорах? То ли он

проворно выйдет сам, а то ли его выкатят помощники, совсем как Ганнибала Лектора, прочно привязанным к массивной тележке и в маске, исключающей возможность покусать окружающих. В результате все внешнеполитические очки, которые к этому времени имел Горбачев, стремительно растаяли. А внутриполитических очков к этому времени у него уже давно не осталось. И СССР, а вместе с ним и Горбачев рухнули в небытие. Славное «Новое лицо СССР» и «Лицо перестройки» довольно быстро превратилось в лицо вкусной американской пиццы, а также удобных дорожных сумок и чемоданов.

Но вернемся к Гессу в мае-июне 1941 года. Разумеется, что в данной ситуации англичане сразу же подвергли Гесса квалифицированному психиатрическому исследованию. И психиатры, разумеется, дали заключение, что Гесс вполне здоров. Прямым указанием на это явился факт нахождения Гесса на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала в 1945–1946 годах. Но тогда перед англичанами должны были встать очень простые вопросы. Какие переговоры можно вести с фактически вполне здравомыслящим, но, по данным германской стороны, официально имеющим тяжелую форму умственного помешательства Гессом? И какова потом будет цена результатов таких переговоров? Неужели же Гитлер не просчитал такой результат объявления Гесса сумасшедшим, если он действительно послал своего близкого соратника к англичанам вести с ними какие-то тайные переговоры сугубой важности? Ответ представляется вполне очевидным. А соображения на этот счет Н. Старикова

любопытными, но не имеющими под собой никаких серьезных оснований.

Подведем некоторые итоги. В своей книге Н. Стариков смотрит на все вопросы действий Германии и отношения к ней Англии с основной точки зрения будущей войны с СССР. А ведь тогда была, прежде всего, серьезная политическая составляющая следующего порядка. Гитлер был предпочтительнее Западу, чем Тельман. Пусть лучше Гитлер и порядок в Германии, чем там же Тельман и социализм.

Если Гитлер был креатурой Англии, то почему же это обстоятельство никто не раскрыл, например, в июле 1941 года? Ведь тогда он был бы безвозвратно скомпрометирован. А самое главное. Допустим, что Гитлер напал бы на СССР еще в 1939 году и победил его по воле Англии. Как бы тогда Англия «загнала бы Гитлера назад в конуру»? Он что, будучи победителем, так бы спокойно и стал слушать покорно дальнейшие нотации английских руководителей? А ведь весьма высока вероятность того, что в такой ситуации Гитлер сказал бы: «Папеньки! А ведь это я отлупил Сталина, а не вы. И я стал самой мощной силой в Европе. А по-сему идите вы сами в конуру. И я буду командовать вами, а не вы мной!» И что в такой ситуации смогли бы сделать Англия и Франция?

Разумеется, что вопросы к Николаю Викторовичу Старикову можно продолжить, в том числе, кроме разобранной книги, также и по другим его работам. Думается, что этот разговор будет продолжен. Мы же будем ждать реакции наших уважаемых читателей на данную статью.

Александр Кучеровский

КУДА ВЕДЕШЬ, ТРОПИНКА?

(этнод в миноре)

Древний афоризм «Все течет, все изменяется» ныне особенно актуален. Изменяется и наша жизнь, причем стремительно, и далеко не все эти изменения имеют позитивный характер.

Покалеченная экономика обострила проблемы материального существования людей. Это, в свою очередь, повлияло на их мировоззрение. Забота о хлебе насущном естественна, но превращение еды в некий культ — уже информация к размышлению.

Неотъемлемым компонентом материальной стороны бытия являются деньги. Тезис «Не в деньгах счастье» обогатился дополнением, трансформировавшим первоисточник в нечто совсем иное: «Счастье не в деньгах, а в их количестве». При внешней шутовскости эти слова полны яда, ибо исподволь ориентируют людей на стяжание денег как важнейшую и в перспективе — наивысшую цель в человеческой жизни.

Этому активно способствуют зарубежные фильмы, в деталях описывающие и смакующие ограбления банков, финансовые махинации (и это именуется бизнесом), овладение любой ценной властью и т. п. «Преступность в нашей стране имеет функциональную роль и рассматривается обществом не как антиобщественный акт, а как бизнес другим путем, самый короткий путь к богатству», — писал Даниел Белл, ведущий социолог США в 60–70-е годы, в книге «Crime is the American way of life». Не отстают в этом и наш кинорынок: вспомним «Гребень

Ундины», «День рождения Буржуя», «Бригаду». А телевидение любезно обеспечивает доставку подобного нам на дом, уродуя души детей и исподволь приучая взрослых к тому, что нам демонстрируют жизненные «произведения».

Столь же навязчиво в общественное сознание внедряется культ успеха. В самом успехе ничего плохого нет. Успех можно определить как достижение намеченной цели, сопровождающееся общественным признанием. Однако и здесь телевидение с упорством, достойным лучшего применения, впечатывает в наше сознание мысль, что лишь успешные могут считать себя личностями, стоящими над серой массой посредственностей, т. е. неудачников. Так в наших душах исподволь поселяется гордыня.

В итоге сытость, тугой кошелек и успех объявляются тремя китами, на которых стоит мироздание. Методичная девальвация общечеловеческих ценностей поставлена на конвейер. Вот как звучит рекламный ролик к сериалу «Джексоны»:

Свежие тела,
Куча бабла!
Им дуло к виску,
А они: «Бла-бла-бла!»

Планомерная девальвация общечеловеческих ценностей способствует воцарению низкопробного суррогата в системе ценностных ориентаций личности.

Такая стратегия весьма успешна: значительная часть подростков и мо-

лодежи превратили деньги и успех в идолов. Обладать всем упомянутым — клево и круто! Но стремление к неременному обладанию чревато примитивизмом, а фрустрация — завистью и озлоблением. Верится с трудом? Однако на эстрадных концертах молодежь выражает свою реакцию не аплодисментами, а воплями, визгом. Уровень животных в упоении стадо-стью, не так ли?

Не позавидуешь и взрослым. Сдерживать семью, когда работа может в любой момент выпорхнуть из рук — дело психически изнурительное, привычным лекарством является здесь алкоголь. Каково это — чувствовать себя неудачником?! В итоге дом оказывается не крепостью, а минным полем для кучки измотанных невротиков.

Дети? Накормить и как-то обиходить удастся с трудом, воспитывать практически некогда, а уж осознать их неприкаянность и напряженность внутренней жизни — и подавно. Так нас ввергают в безысходность, а детей — в хроническую нехватку душевного тепла. Употребление алкоголя подростками давно стало массовым, но сейчас эта волна захватила и детей 9–10 лет.

А наркотики? В практическом руководстве для врачей (2003) указано, что количество лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств, в Российской Федерации составляет до 3 млн человек. При этом их употребляют в основном молодые люди в возрасте до 25 лет.

Еще одна волна обрушивается на умы и души детей и молодежи посредством кино и телевидения. Жестокость в самых немислимых проявлениях вламывается с экранов, превращая зрителей в зомби. Растет число преступлений, совершаемых подростками с особой жестокостью. Хотим ли мы видеть такими своих собственных детей, желаем ли мы им подобной судьбы? Или это не страшно, поскольку

нас лично не коснулось (пока что)?

Вот что пишет И. А. Суховеева: «... Благодаря концентрированному воздействию телевидения отдельный человек практически неизбежно утрачивает объективный критерий истины. Дело в том, что доступная ему практика, которая выступает в качестве критерия истинности его представлений об окружающем мире, имеет уже не материальный, а информационный, “виртуальный” характер. Последний задается представлениями, господствующими в тех или иных социальных группах и создаваемом средствами массовой информации медиапространства».

Мы привычно отмахиваемся: «Кривая вывезет». Однако самое время задуматься: куда? Массированная дрессировка сознания в плане допустимости жестокости во имя достижения желаемого пагубна для процессов мышления, зомбируемого навязываемыми нам стереотипами. Мышление — процесс моделирования неслучайных отношений окружающего мира на основе аксиоматических положений. Следствием оказываются многочисленные ошибки в понимании происходящих событий, окружающих и самих себя. Непонимание же порождает неуверенность и страх. Э. Фромм говорил: «Если желание — отец мысли, то страх — это мать явления».

А диверсии между тем продолжают. На эстраде господствуют песни вроде «Сука любовь», «Пошлю его на», «Может, дам, че ты хошь». Вам такое нравится? Стремление пинками загнать на свалку любовь во имя вакханалии спаривания — одна сторона медали. Вторая не бросается в глаза и тем — намного опаснее. Нас таким путем всячески отдалают от Бога («Бог есть любовь», 1 Ин. 4:8).

На марше — тотальная лавина прошлого и зачастую — в одеждах развлекательных программ. Чего стоит хотя бы «Кривое зеркало» или упи-

вающийся вседозволенностью «Comedy Club»!

Российский философ А. Н. Миранов определяет пошлость как бытие вне духовного развития. Ситуация крайне сложная. Но не слишком ли сгущены краски? Отнюдь. В юмористических фантиках нам скармливают щекочущую примитивные инстинкты идею унижения человеческого достоинства. Привлекательность последней корнями своими уходит в хронически низкую самооценку личности. Это ведет к развитию чувства неполноценности. Фантаст И. А. Ефремов писал: «Таимая в глубине души неполноценность — мать всякой жестокости». Вот вам и невинные забавы...

Все перечисленное вроде бы прекрасно всем известно. Но так ли оно нереально и безобидно? Экономические проблемы — основа неуверенности. Последняя порождает тревогу за будущее. Тревога, влияя на критичность мышления, делает нас податливыми к различного рода воздействиям. Упомянутые выше воздействия разрушают систему ценностных ориентаций личности. Какова же цель?

Личностями без системы внутренних ценностей весьма несложно и удобно управлять, сколь ни банален подобный вывод. Утрачивается осмысленность существования. Наивно, однако, полагать, что девальвация ценностных ориентаций минует власть предрержащих. Она неотвратимо поражает тех, для кого власть является самоцелью. Круг замыкается.

Исчезает мотивация развития. Не только индивидуального, но и социального. Остановка же в развитии в условиях расцвета бездуховности, жестокости и материального стяжательства чревата регрессом во всех сферах жизни, столь же сокрушитель-

ным, сколь и затяжным. Так ли это незаслуженно? «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6:2).

Однако жизнь продолжается вопреки разгулу примитивизма. Что удерживает нас у пропасти грозящей? В первую очередь — любовь. Ею продолжается бытие, строится и сохраняется семья. В любви и преклонении перед красотой творятся истинные произведения искусства. Естественно и то, что любовь никоим образом не приемлет пошлости.

Не меньшее значение в сохранении души в круговерти испытаний принадлежит и вере. Она является стержнем личности. Являясь системой высших ценностей, ориентированной на идеальное преображение жизни, вера одновременно дает нам знание причины мира и порядка его бытия.

В свою очередь, вера порождает такую общечеловеческую ценность, как надежда. Это эмоциональное переживание, возникающее при напряженном ожидании человеком желаемого и предвосхищающее вероятность его свершения.

Такова неодолимая триада, дарованная нам Творцом всего сущего для сокрушения жестокости, насилия и невежества, претендующих на воцарение в нашей жизни во веки веков.

На этом пути нам дано неотъемлемое право выбора, за который мы несем ответственность. Самое тяжелое бремя — это бремя свободы выбора. Уклониться от него невозможно, немислимо. Нитью Ариадны здесь является лишь истина.

Если я не сделаю этого — кто сделает? Если я не сделаю этого прямо сейчас, то когда же мне сделать это? И если я сделаю это лишь для себя самого, то кто я?

Дорогу осилит идущий. Но любой путь начинается с первого шага...

Владимир Хилько

В ДЕБРЯХ ПОНИМАНИЯ, ИЛИ ЗАБЛУДИВШИСЬ В ТРЕХ СОСНАХ. Часть 2-я, окончание

(начало в 6-м и 8-м выпусках журнала)

Возвращаюсь к проблеме подмены понятий. Ранее я предположил, что широкое распространение подмены понятий воспроизводит наши беды, причем вне зависимости от способа социального устройства (царизм, сталинизм, социализм с человеческим лицом или что угодно другое). Это происходит потому, что из-за подмены причина явления не диагностируется правильно. Принимаются решения, которые не вытекают полностью из причин проблем и потому устранить их не могут в принципе. Подмена все запутывает, у обывателя создается мнение, что правильного решения вообще нет и все в чем-то правы, в чем-то неправы, а истина «посередине», но только никак ее не найти, эту середину. В общем, «каша» (в мозгах). В этой каше легко навязывать мнения. Представляете, как может быть выгодно кашеобразное состояние мозгов граждан для любой той группировки, которой удалось прорваться к власти и в течение определенного времени удерживать ее? И какой (единственный!) способ управления, при условии сохранения такого состояния общественного сознания, этой группировкой будет воспроизводиться? Но вот вопрос: этот способ правильный? Пожалуйста, подумайте сами. Мой ответ с комментариями оставлю на «потом». Сейчас же отмечаю — подмена часто остается нераспознанной. В лучшем случае — допустимой. Однако допустимость неизбежно ведет к нераспознаванию.

Примеров подмены понятий при желании и возможности каждый мо-

жет привести множество. Вот некоторые из них, простые, смешные и не очень, из новостей радио, телепередач или из жизни автора. На всякий случай — с пояснениями.

В магазине старушка берет в руки один за другим свежее испеченные пирожки, мнет их, а потом возвращает в контейнер, где они находятся. На замечание продавца о том, что она трогает руками, но при этом не покупает пирожки, старушка выкрикивает: «Ваши повара и так все уже перетрогали!» Пояснение. Для старушки «трогание» пирожка руками покупателя (возможно, грязными) и руками повара (потенциально проверенного человека, соблюдающего требования гигиены) — суть одно и то же.

Из новостей 1 канала телевидения (ОРТ). В Ульяновске женщине, проживающей в обычном многоэтажном доме, начисляют плату за холодную воду с учетом наличия у нее собаки. Причем учтенный объем воды для собаки оказался больше, чем для ее хозяйки. Соответственно и плата выше. При выяснении обстоятельств установлено, что местными законодателями принят закон о начислении оплаты за воду в случае наличия у потребителя воды лошади, свиньи или козы (подразумевался частный сектор, наличие дома с приусадебным участком). Когда женщина пошла за разъяснениями к руководству кооперативного дома, в котором она живет, бухгалтер заявила, что начисление правильное, потому что «разницы между собакой, лошастью, козой или свиньей нет». Тяжба оказалась на удивление долгой. Весь

ПИСАТЕЛЬ

XXI
ВЕК

материал документален, снят на видео. Пояснение. Для бухгалтера закон не писан — она считает совершенно допустимым распространить нормы закона, указанные для лошади, свиньи или козы, на собаку, да еще вне зависимости от характера жилья. Кстати, хороший пример необоснованной собственной точки зрения и безнаказанности за действия, которые порождаются использующим эту точку зрения должностным лицом.

Технократический пример. Из собственного опыта покупки диктофона в магазине «Компьютерный мир». Продавец заявил, что в принципе все диктофоны одинаковы, но «Сони» лучше, так как у него «больше возможностей для обработки звука». На мой вопрос: «А если сигнал изначально хуже записан, можно ли его с помощью обработки «улучшить?»» Продавец ехидно заметил, что я могу оставаться при своем мнении, если не умею обрабатывать сигналы с использованием компьютера. Переборов желание не связываться более с этим молодым человеком, я настоял на практическом сравнении качества записи трех разных аппаратов примерно одинаковой цены, включая упомянутый аппарат «Сони». Сравнение однозначно выиграл аппарат другой марки. Результат сравнения признан и продавцом. Пояснение. Предположение о природном недостатке слуха не нашло подтверждения — разницу в качестве звука продавец слышит отлично. Диктофоны не одинаковы — один записывает лучше других. Продавец путает изначальное качество записи с обработкой записанного сигнала. Он продемонстрировал наличие проблемы с различением и логикой. Видимо, никогда не задумывался, что из усеченного нельзя восстановить полное (если отсеченное не сохраняется каким-либо образом). При этом спокойно воспринимать другое, даже аргументированное мнение, пока не готов. Однако есть надежда — предьявленный факт все-таки признан.

Подмена в области техники, похоже, стала почти нормой и активно используется производителями для увеличения объемов продаж. Расчет прост — «обычный» гражданин не раз-

берется в технической сути предлагаемого, зато воспримет количественное превосходство или поддастся эмоциональному воздействию. Так, например, мне лично запомнился эпизод (один из первых такого рода) из относительно давней рекламы телевизоров «Самсунг». Тогда одним из аргументов предпочтения этой марки указывалось наличие встроенного антенного усилителя, который якобы повышал «качество изображения». Однако если вдуматься, то получится следующее: если сигнал от антенны будет изначально плохим, как его ни усиливай, он будет очень сильным, но плохим сигналом. Точно так же, если сигнал от радиотрансляционной точки усилить в миллион раз, то он будет в миллион раз громче, но не качественнее — количество полезной информации в этом сигнале не возрастет. То есть аргумент наличия антенного усилителя не является определяющим в оценке качества телевизора. А помните рекламу техники с названием «Віо» этой же, кстати, фирмы? Утверждалось, что вредные излучения это «Віо» превращает... (наверное, в... полезные?). А 64 млн «цветов» на экране мобильного телефона в качестве аргумента его превосходства перед другими, у которых, например, всего... 64 тыс.? Количество возможных комбинаций двоичного кода, в котором описывается технический процесс (это нужно для специалистов), в данном случае подменялось на количество цветов (это вроде всем должно быть понятно). Вопрос же о том, способен ли экран мобильного телефона, собственно, отобразить такое количество цветовых оттенков, скромно умалчивался.

Пояснение для тех, кто не является специалистом. Количество возможных комбинаций двухразрядного двоичного кода — 4 (00, 01, 10, 11), трехразрядного — 8 (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111). Для сложных сигналов требуется намного больше разрядов. Общее число возможных комбинаций достигает многих миллионов, что и преподносилось обывателю как количество цветов.

Простейший пример подмены в области рекламы с использованием эмо-

ционального воздействия — это когда рекламировались сигареты (например, «Camel»), а на рекламном щите изображался красивый пейзаж и предлагалось ощутить наслаждение от путешествия, например в Тунис.

Из рекламы: «Цены — реальные». Подмена понятий видится в том, что эмоциональная оценка (доступность товара по его цене) становится как бы логической (очевидно, что если доступно, то можно купить), но при этом логики нет (размер цены не указан).

Современные перепевки известных советских песен (например, «Темная ночь») — подмена эмоционального состояния, смещение акцентов на упрощенный ритм. Эмоциональная подмена возможна и в кино, когда черно-белый фильм раскрашивают. Я лично понимаю это так. Если авторы фильма действительно художники, то они при создании представляли свою картину в изображении тех средств, которыми располагали (черно-белая пленка). Раскрашивание, конечно, возможно, но смещает акценты восприятия и в этом смысле схоже с приделыванием рук скульптуре Венеры Милосской.

Из новостей. Высказывание высокопоставленного должностного лица: «Оснащение школ компьютерами является шагом по углублению системы образования». Пояснение. Компьютер является в первую очередь инструментом расширения информационных возможностей. По-моему, углубление образования связано с улучшением понимания ученика, развитием его способностей (пусть даже только частичным, в узкой области). Расширение информационных возможностей, с моей точки зрения, не тождественно пониманию, значит, оно не относится к углублению образования. Однако если под образованием понимать возможность прочесть и увидеть любое из того, что теперь почти каждый потенциально может изречь, снять на видео и разместить в Интернете — тогда другое дело. Таким образом, можно отметить наличие существенной разницы между моим пониманием углубления образования и пониманием чиновника. Этот пример демонстрирует важность оснований, на которых выстра-

ивается суждение. Можно и наоборот — по суждению пытаться обнаружить основания (источки). Последнее особенно важно — по известным следствиям можно выявить причины. И никакой каши в голове.

В области компьютеризации образования у нас вообще происходят негативные процессы. Они связаны с тем, что уровень компьютерной грамотности учителей действительно невысок. Однако вместо того чтобы поднять этот уровень и обеспечить возможность использования компьютера как инструмента в руках учителя, происходит фактическая замена учителя на компьютер. Не должно быть никаких иллюзий — всякая компьютерная программа является отражением уровня понимания процессов, для которых она предназначена, со стороны разработчиков этой программы. Если следовать этим путем, собственное понимание будет замещено пониманием лица, которое занимается обслуживанием (компьютерщика) техники. Подается это в том числе как «исключение субъективного фактора» в оценке уровня подготовки ученика. Может, дальнейшим «развитием» такой идеи будет «исключение субъективного фактора» вообще из отношений между людьми? Между тем проблема давно осознана даже на уровне западного менталитета. Вспоминается один из американских фильмов. В нем из-за особенностей программы компьютер сначала моделирует возможную победу в ядерной войне. И на этой основе он включает механизм запуска ядерных ракет. Отключить эту программу смог подросток, который загрузил компьютер решением задачи победы в игре «крестики-нолики». В этой игре при отсутствии явных ошибок может быть только повторение ничьих. В результате компьютер «перегрелся — сдался» и отключил запуск, потому что ничья — это не победа. О восточном менталитете и говорить не приходится — роль учителя там очень важна. И действительно, неужели не понятно, что только грамотный и способный учитель сможет подобрать нужные ключики к разным умам и сердцам учеников?

Немного досадный пример. Известный советский (русский) писатель, лично мной уважаемый за написанные им произведения, в авторской телепрограмме сказал о Великой Отечественной войне так: «Это была единственная война в мире, которая спасла мир...» Он же заявил следующее: «Литература является документом истории...» Здесь вообще можно развернуть целую дискуссию. Например, утверждение допустимости войны со стороны конкретного государства как средства спасения остального мира в принципе к чему может привести? И в войне ли суть проблемы мира? А допустимо ли первыми применять ядерное оружие в отношении обидчика, который, конечно, неправ? И в чем разница между подлинным историческим документом и литературой?

Здесь видится более сложная проблема. Она заключается в такой квалификации явлений, которую можно назвать практикой присвоения (наешивания) «ярлыков» или использования «штампов» («красного словца»). Это помогает привлечь внимание, создать образ на основе эмоционального отклика. Но вопрос в том, соответствует ли этот образ явлению? В приведенном выше примере, как я думаю, уважаемым писателем и был использован эмоциональный «штамп». То, что подразумевалось под ним, можно было бы выяснить при наличии возможности дискуссии с автором, умным и совестливым человеком. Поэтому из уважения я сознательно уклонился от однозначной трактовки подмены понятий, допущенной писателем, и лишь предложил темы для дискуссий. Однако в целом широкое распространение метода использования штампов, ярлыков, «красного словца» имеет отрицательное значение. Вместо ясности создается каша в голове. При этом, поскольку эмоции понятны, настоящие (лично пережитые), не лживые, формируется их связь с противоречивой логикой оценки явления. Возникает подмена правильных логических связей «настоящими» (пережитыми, «правильными»), связанными с ними эмоционально. Поскольку эмоции на-

стоящие, на их основе формируется убежденность в правильности, за которую люди, в конце концов, готовы драться. И дерутся на практике, в том числе и физически, каждый при этом отстаивает свою правоту и не слушает оппонента. Вместо поиска путей объединения на основе признания понятных аргументов продолжается разделение на «своих» и «чужих». Вам это ситуацию разделения на «красных» и «белых» не напоминает случайно? Совсем недавно в телепрограмме Н. Сванидзе «Суд времени» один из выступающих, отвечая оппоненту, в качестве аргумента в защиту политики «сильной власти» привел примерно следующий «штамп»: «Раньше был дом без пола, а сейчас — без потолка. Разве это лучше?» Образ дома без пола или потолка понятен, но он не имеет отношения к проблемам общественного устройства. По-моему, это один из примеров продолжения формирования каши в головах. Наличием подмены существа происходящего эмоциональными откликами, на мой взгляд, можно объяснить попытки указания на знаменитые фильмы сталинской эпохи как на доказательства правильности политического курса тех времен. Мол, и единство у нас было, и уверенность в завтрашнем дне, и строили светлое будущее все вместе и всерьез. Действительно, эмоции от этих фильмов у зрителя возникают настоящие — там без лукавства показаны и любовь, и ненависть, и предательство. Но доказательством верности курса партии эти эмоции быть никак не могут. То есть «тактически» (на уровне личных взаимоотношений людей) все верно, а «стратегически» (на уровне развития общества) с помощью эмоций можно вовлечь, но не доказать. В силу высокого уровня эмоционального воздействия не подлежит сомнению значительность влияния писателей и их роль как агитаторов или пропагандистов. Однако позволю отметить, что если писатель будет использовать эмоциональное воздействие для подмены понятий — сознательно, в силу лукавства (исполнения «воли партии»), или бессознательно (из-за недоразвитости) — плохим он будет по-

водирем для необразованных читателей.

Теперь просто об очень сложном. В одном из известных мне источников указывается, что история разделения христианства на католиков и православных (IX век) связана с толкованием Святой Троицы, с постановкой вопроса о том, от кого исходит Дух Святой. «Православные» иерархи утверждали, что только от Отца, «католические» — и от Отца, и от Сына. Кажется очевидным, что мнения о правильности или неправильности того или иного суждения должны иметь основания — базироваться на чем-либо. Но не так все просто. Если я не ошибаюсь, нет в христианстве более важного первоисточника, чем Евангелие (Святое благовествование от Матфея, Марка, Луки, Иоанна), и в этом первоисточнике нет однозначного подтверждения указанных выше толкований источника Духа Святого в той постановке вопроса, который был поставлен иерархами церкви IX века. Получается, христиане разделились на православных и католиков на основе личного толкования конкретными иерархами самого христианского учения, основы которого были изложены в Евангелии. Мне можно возразить — иерархи имели право на личное толкование, ведь на них была наложена сила Духа Святого, следовательно, не свою волю исполняли. Отвечаю — не подтверждается исторически. В результате возникшей вражды иерархи предали друг друга анафеме, и в дальнейшем произошло собственно разделение церквей. Но если истина именно в таком разделении, то почему почти через 1000 лет, в прошлом веке, эта анафема вдруг была снята другими иерархами церкви? Подмена усматривается в том, что личное мнение конкретных иерархов было выдано за истину христианского учения. При этом обоснованность личного мнения не подтверждена историей. А само возникновение разделения церквей стало возможным потому, что в рамках христианского учения был поставлен вопрос в такой форме, на который в основах этого учения нет прямого ответа, а право толковать учение не было

строго обосновано — если, конечно, я сам не ошибся в оценке известных текстов. В таком случае, к сожалению, иллюстрацией помянутого подхода к постановке важного вопроса смогут послужить и размышления средневековых схоластиков о том, могут ли черти поместиться на кончике ножа?

Таким образом, необходимость прямой (правильной) связи суждений с основаниями, на которых они базируются, представляется очевидной. Всякие отклонения от такой связи ведут к ошибкам — возникает и во многих случаях упрямо продолжает жить подмена понятий. Для того чтобы убедиться в правильности выводов, нужно отыскать основания, на которых они базируются, и подтвердить обоснованность связи выводов с основаниями.

Если попытаться представить себе механизм появления отклонений выводов от их оснований, можно предположить, что основными их причинами являются лукавство (сознательная, корыстная подмена) как свойство личности и недостаточно развитая способность к различению (бессознательная подмена). Действительно, как человек может подменить понятия, если реально контролирует обоснованность своих действий и способен различать явления? Предполагаю, что недостаточное различение не позволит во многих случаях даже при наличии желания увидеть подмену (где правда, а где ложь?), но эта беда поправима. Различению можно научиться самостоятельно и других этому также научить. О том, как это сделать, и не только об этом — в третьей части.

И еще вот что. Не только в нашем отечестве существует проблема подмены. Даже из последнего примера при желании можно увидеть, как мы связаны с другими странами и народами. Из этого следует необходимость более внимательно отнестись к вопросу характера этих связей, в том числе в собственной стране. И копать нужно глубже, чтобы разобраться, в том числе в прямом смысле в глубь веков — ведь становится все более очевидным, что корни некоторых проблем вовсе не родились в 1917-м, 1937-м или 1991 г.

Андрей Каратыгин

ИЗ УМА ВЫЖИВАЕТ СИЛЬНЕЙШИЙ...

...знание надмевает, а любовь назидает.

Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него.

1 Кор. 8:1–3

Предметом моего выступления будет вопрос примирения науки и религии. Очевидные успехи генетики, физики и космологии вызывают у многих реакцию, подобную хрущевской: слетали мы де в космос, а Бога там не нашли! А вы искали там Бога? То-то. Напротив, искали знаний, и в этом ничего плохого нет, даже по большей части в поисках знаний человек и становится *sapiens*. Нелепо отказываться от очевидных и потрясающих побед науки, достаточно только, чтобы заболел зуб, и сразу станет понятно, сколько высокотехнологичных продуктов требует современный подход к лечению такой повседневной «болячки». Спасением миллионов жизней мы обязаны колоссальному прогрессу медицины и смежных дисциплин. Понятно, что чем дальше развивается наука, тем более «дисциплины становятся смежными». На примере той же медицины мы видим, что ее прогресс обязан прогрессу физики, химии, генетики и, несомненно, собственно медицине как науке. Эти несомненные успехи кружат голову и вызывают ощущение некой власти над миром, успешности и состоятельности человечества.

Эволюционная теория, явно не являя о том, что она полностью исключает наличие Бога, говорит нам, что все теоретически могло обойтись без проекта само по себе с помощью естественного отбора (довольно разумного, кстати!). Никто не ставит под сомнение научность и доказательность теории эволюции — это вполне серьез-

ная наука, но к ней есть, и много, не менее серьезных вопросов. И суть этих вопросов в том, что многие факты не вписываются в эволюционность. Этих вопросов немало, зададим один — мы знаем, что человеческий мозг использовался и используется его носителем лишь частично и не только в смысле объема вещества, но и в смысле интенсивности процессов, протекающих там. Налицо расточительность эволюции — ведь мозг главный потребитель энергии нашего организма, и если мышцы имеют какой-никакой запас энергии и могут некоторое время работать при полном отсутствии кислорода, то мозг требует кислорода и чистой энергии, которые должен поставлять ему организм. Иначе весь организм погибнет! Зачем это эволюции? Она имеет прогностические возможности или план? Как нам объясняют, эволюция — это одновременное строительство дома — этаж за этажом и протоколирование сделанного с учетом внешних факторов и «опыта эксплуатации» созданного. Протокол — это и есть всем известная ДНК — универсальный носитель информации для воспроизведения организмов и возможности внесения коррекции в генетический код организма. Но сюда трудно уложить существование неоптимального органа, который создан явно «на вырост» и за который мы дорого платим, и будем платить. Впрочем, об этом лучше узнать из работ академика Н. П. Бехтеревой, пришедшей в православие как раз через науку. В сериале «По Вселенной со Стивеном

Хокингом», показанном каналом «Дискавери», говорилось, что после Большого взрыва вещество распределилось равномерно и равноудаленно. То есть силы гравитации были уравновешены, и не было причин для агрегации вещества, но по каким-то причинам (не божественным, по мнению Хокинга) были изъяты некоторые массы из стабильной решетки (кем и куда?), что и послужило концентрации материи, которой мы и обязаны своей жизнью. В статье А. Багрова «Кризис фундаментальной науки и задачи ориентированного финансирования» говорится о «фрактальности» предмета науки. Сам фрактал — это бесконечно самоподобная геометрическая фигура, каждый фрагмент которой повторяется при уменьшении масштаба! То есть науке разбираться с самоподобием надо вечно! Но многие ученые уже сейчас готовы сказать, что Бога нет! А что, наука уже все знает? А как с точки зрения естественного отбора объяснить творчество человека? Это есть стремление к богоподобности. Кстати, и наука стремится туда же, но она не должна возносить человека на пьедестал — он уже занят! Конечно, знания, интеллект дают силы и некую власть (правда, довольно ограниченную). Действительно, есть чем гордиться, но стал ли человек от этого лучше? Да, он стал здоровее, могущественнее, а лучше ли?

Теперь обратимся к культуре, на пример к классической музыке — практически все классическое наследие создано во славу Божию! Нам, конечно, возразят: а романтизм и постромантизм? Да, было такое дело, и по времени оно совпало с подъемом науки и промышленности и в то же время с возвеличиванием человека с его эмоциями и взаимоотношениями. Но на этом самом этапе серьезная музыка и стала угасать! И несмотря на развитие исполнительского мастерства как вполне творческого начала, но все же только как вариативного воспроизведения уже сотворенного. Зачем с точки зрения эволюции произведения Баха? Как только мы задаем такой вопрос —

нам и закрывают Путь, а взамен открывают хокинговские червоточины. Сейчас на планете живет около 6 миллиардов людей, а если мы все поднатужимся, сможем ли мы создать что-либо настолько значимое, как одно из произведений Баха? Ответ очевиден — мы по другой части. Наверное, не случайно на космических (именно НА, так как золотой диск с информацией закреплен непосредственно на обшивке станций) аппаратах «Вояджер», запущенных в 1977 году и находящихся уже в миллиардах километрах от Земли, наряду с записанными звуками нашей планеты летят еще записи баховских произведений. Летит и русская музыка — «Весна священная» И. Стравинского. Это наиболее весомое и осмысленное послание другим мирам. На мой взгляд, именно переориентирование творцов на темы, уводящие от Бога, и является причиной локальности, временности всей нынешней культуры.

Далее, обратим внимание на недавно произошедшие в мире события, не ставящие, очевидно, никаких пропагандистских задач, но несущие важное послание всем нам. Чилийским шахтерам, на месяцы заточенным под землей, главным утешением был свиток с ликом Пресвятой Богородицы, который и был спущен им. Пятеро из них, до этого живших в гражданском браке, приняли обет заключения церковного брака. Теперь завершение проходки Готтардского туннеля в Швейцарии (да, да именно под тем перевалом Сен-Готтард, который штурмовал Суворов!), длиннейшего в мире, длившейся 14 лет и унесшей жизни 8 человек, было показано в прямом эфире по всему миру. Первое, что сделал один из проходчиков после смычки ходов, — поставил свечку к лику Пресвятой Богородицы, установленному прямо на стене тоннеля. К сожалению, на фотографиях, помещенных в Сети, этому событию не уделено внимания, но тем не менее на некоторых из них виден светящийся иконостас — он слева, на стене тоннеля. Следующее событие произошло у нас совсем недавно — это

ПИСАТЕЛЬ

XXI
ВЕК

уникальная посадка Ту-154 в Ижме: ни жертв, ни пострадавших! И многие из участников этого чуда молились и явственно ощутили заступничество Божие!

К чему я это все говорю? А к тому, что человек знает о Боге, просто знает! Если будут научные доказательства этого знания — хорошо, не будут — не страшно! И в критической ситуации человек и в Чили, и в Швейцарии, и в России ищет помощи и у науки, и у Высшей силы. Наука важна и жизненно необходима, но она не может быть надежной опорой душе, и она, собственно, и не особо стремится к этому, являясь, по сути, лишь средством описания среды нашего обитания! Иначе говоря, она пока не задается детским вопросом: *а зачем этот мир?* Но довольно сложно увидеть крышу автомобиля, двигаясь внутри него, тем более осмыслить и предвидеть его путь. Лучшим доказательством нашей неодинокости в этом мире служат те чудеса, которые наука пока не может объяснить. И факты телесного и духовного исцеления — это только часть чудесного. Главное, на мой взгляд, — это сама вера и то преображение, которое происходит с искренне уверовавшим человеком — это воистину второе рождение! Наука, пока она будет существовать, всегда будет в развитии — знания неисчерпаемы! Познать бесконечность сложно, если не невозможно. Яркий пример этого — интервью с ведущими физиками мира. Двум английским физикам задали вопрос об объяснении теории Хикса — немая пауза! Американский физик с трудом и оговорками образно объяснил свое понимание этой теории. Сам Хикс сказал, что если бозон его имени не будет найден, то он не знает, как устроен мир! Понятно, что скоро будут получены ответы на этот и многие другие

вопросы касательно устройства (или замысла!) Вселенной, но затем неизбежно возникнут новые, а Благодать Божия есть сейчас и пребудет вечно! Надо ли ждать научных доказательств этого? Или лучше объединить усилия науки и просвещенного православия и преодолеть то парадоксальное одиночество страны на фоне нанопиршества! Дает ли наука ответы на главные вопросы бытия или служит совершенствованию некоего гедонистического рая? Некоторые ученые предлагают отказаться от разумной жизни биологических существ и перенести ее на электронные носители. Соответственно разум будет независим от среды обитания и прочих ограничений нашей биологии. Как вам такой выбор? А что? Сказка ведь! Главное, чтобы был предусмотрен режим «наслаждение». Собственно мой ответ на этот вопрос и помещен в заглавие этой заметки.

Подводя итоги, осмелимся утверждать, что наука не может быть мировоззрением, а может лишь дополнять (иллюстрировать) его. Приведу пример из выпуска новостей: в одной программе показывают разрушительное беснование футбольных болельщиков с пострадавшими и прочими последствиями, и тут же репортаж из мест, затопленных разлившейся рекой. Нам показывают мальчика на лодке, везущего хлеб пострадавшим. На вопрос корреспондента «Зачем это тебе?», мальчик отвечает: «Так там же люди!» Так вот сомнительно, что наука сможет помочь одержимым, а человеческий, он и без науки — ученый, дай Бог каждому! Поэтому вопросы мировоззренческого порядка оставим религии и философии. Более того, как было сказано выше, наука находится в постоянном движении, а это ясно противоречит понятию мировоззрения как чему-то постоянному, сложившемуся.

Владимир Василик

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ ВЕЛИМИРОВИЧ О ЕВРОПЕ И ХРИСТИАНСТВЕ

Сербия находилась и находится на цивилизационном разломе — между западноевропейской и восточной христианской цивилизациями.

Вопрос об отношении Сербии и Европы поднимался уже в трудах сербских просветителей XIX века — Досифея Обрадовича, Вука Караджича и др.¹ Но особую остроту эта проблема приобрела в XX веке в связи с модернизацией и европеизацией Сербии, а затем — двумя мировыми войнами и национальными катастрофами. Наиболее глубоко она отражена в творчестве святителя Николая Велимировича.

Святитель Николай Велимирович (1881—1954) является самым великим сербским философом и мыслителем XX века². На его творчество наложил глубокий отпечаток трагический опыт сербского народа и других народов Югославии — две Балканские войны, две мировые войны, австро-венгерский геноцид 1915—1916 годов, хорватско-немецкий геноцид 1941—1944 годов. Ужасающая жестокость и цинизм народов, почитавшихся культурными и цивилизованными, заставил святителя Николая глубоко задуматься о сущности культуры и цивилизации, рассмотреть их не в случайных и сиюминутных

бликах рекламы и конъюнктуры, но в вечном свете Евангельской истины и Христовой правды. Естественно, в связи с этими размышлениями неизбежно вставал вопрос и о природе европейского империализма.

Впервые этот вопрос встал во время Первой мировой войны, когда еще молодой иеромонах Николай Велимирович был должен защищать интересы Сербии и разоблачать проавстрийскую и прогерманскую пропаганду в Великобритании и Америке³. Одна из основных проблем политической мысли эпохи Первой мировой войны и один из главных лозунгов союзников — право малых народов на независимость и самоопределение⁴: «Мы сто лет отчаянно боролись против жестокой, бесчеловечной идеологии, которую сегодня поддерживает Германия, утверждающей, что малые народы не имеют права на жизнь и свободу. Мы боролись против идеи, которая стара, как Тамерлан и турецкий султан, как австрийский девиз “Разделяй и властвуй” и даже как самые низменные инстинкты человечества»⁵. Николай Велимирович стремится дать христианскую основу праву малых народов на самоопределение. Он видит ее в Божественном замысле о каждом народе,

¹ Из последних работ см.: Белов М. В. У истоков сербской национальной идеологии. М., 2007.

² Из последних обобщающих работ см.: Свети Владика Охридский и Жичский Николае, Жича-Кралево, 2003. На русском языке достойна внимания диссертация иеродиакона Варнавы (Дамяновича) «Жизнь и творения святителя Николая, епископа Охридского и Жичского». СПб., 2007 (защищена в СПбПДА).

³ См. о ней: Вуковић С. Мисија јеромонаха др Николаја Велимировића у Америци 1915 // Календар Црква. Београд, 1990.

⁴ В 1918 г. этот тезис станет одним из главных в «Четырнадцати пунктах» Декларации президента Америки Вудро Вильсона.

⁵ Николай Велимирович. Душа Сербии. М., 2006. С. 503.

многообразии созданного Богом мира и равенстве пред Богом всех народов в праве на существование и нравственное, религиозное, культурное и социальное развитие. Право малых наций на самоопределение, по его мысли, ведет не к узкому национализму и превозношению пред всеми прочими народами, а к всечеловечности: «Успех сербов¹ религиозного характера, и именно из-за этого он успех общий, общечеловеческий, всечеловеческий. Это — победа христианской идеи над антихристианством и язычеством. Антихристианская идея — это сверхчеловек, а христианская идея — Всечеловек. Языческая идея выражается словами “право силы”, а христианская — “сила в правде”. Языческая идея провозглашает, что земля принадлежит лишь сильным, а христианская — земля принадлежит всем творениям Божиим. Малые народы имеют такое же право существования на земле, какое имеют великие народы, наподобие того, как травинка имеет право расти под солнцем рядом с огромным дубом. Малые народы составляют с народами великими драгоценную, удивительно прекрасную мозаику. Каждый народ имеет свои размеры, свои пространства, свою силу и нравственность. История человечества не могла быть ни драмой, ни картиной. Если бы один народ подчинил себе все другие народы и навязал им свои собственные черты, то он бы окрасился в один цвет, в нем воцарились бы монотонная скука, отчаяние и смерть»². Таким образом, война сербского народа против австро-венгерского и немецкого империализма, по мысли святителя Николая, — это борьба за сохранение Божьего мира в его красоте, многообразии и жизненности против тоталитарности, зла и однообразия, «монотонной скуки, отчаяния и смерти», это — битва «за Крест честной и свободу златую». Более того, Первая мировая война виделась Николаю Ве-

лимировичу как последняя битва добра и зла, между Христом и антихристом, который персонифицировался в виде трех могущественных антихристианских империй — Германии, Австро-Венгрии и Турции: «Три могущественных императора из Берлина, Вены и Стамбула с послушным слугой из Болгарии — это антихристианский лагерь, а остальной мир — христианский. Именно сербская правда и борьба Сербии за Божескую правду поделили мир на два лагеря. Это — последнее столкновение христианства и язычества, решающая битва между Христом и антихристом»³. Антихристово начало в империях Четверного союза святителя Николай видел не только в жестокости и грабительстве, но в их лицемерии, подмене традиционных христианских ценностей и их использовании в качестве камуфляжа своих захватнических устремлений⁴. «Они разорили Сербию, убивали множество слабых, беззащитных детей и недужных стариков, бесчестили женщин, грабили города, пировали на развалинах, на пепелищах Сербии, на слезах и на крови. При этом они вершили свои злодеяния не во имя языческих богов Ваала и Астарты, но во имя Бога праведного, Богочеловека Христа»⁵. Турецкое иго, по мнению Николая Велимировича, было бы во всех отношениях лучше для сербов, чем немецкое: «Правление религиозного богобоязненного турка было бы праведнее и мягче, чем власть научно вероломных и атеистически непреклонных немцев и их преданных

³ Там же. С. 509.

⁴ См. об этом, в частности: *Живојиновић Д., Лукић Д.* Варварство у име Христово. Београд, 1988.

⁵ *Николай Велимирович.* Душа Сербии. С. 513. В своих обращениях к английской общественности иеромонах Николай Велимирович приводит многочисленные факты немецких и австро-венгерских жестокостей и грабежей: казни мирных жителей, тотальная насильственная мобилизация почти всех сербских мужчин, лишение жителей рабочего скота, семян и средств к пропитанию, разорение и разграбление церквей, депортация священнослужителей.

¹ Имеется в виду Колубарская битва и освобождение Белграда и севера Сербии в декабре 1914 г.

² Там же. С. 507–508.

слуг венгров и болгар»¹. Святитель Николай Велимирович правдиво отразил военные преступления немцев, австрийцев и венгров: «Мы, рабы, не разрушали беззащитных сел, не убивали бомбами женщин и детей, не травили противника газами, не кололи штыками грудных детей, не резали стариков и не вешали священников. Мы не делали этого, Бог нам свидетель, эти преступления вершили они, “сверхчеловеки римские”, подданные и легионеры новых римских цезарей из Вены и Берлина»².

Во время Первой мировой войны и после нее Николай Велимирович еще находился в плену некоторых иллюзий относительно благотельного характера английского империализма, полагая, что цели Британской империи «значительно выше и шире эгоизма любовью личности» и состоят в международном обмене товаров и технологий, в обмене культурными и духовными ценностями между народами разных рас, в воспитании народов и попытке осуществления всемирного братства людей³. Позднее святитель Николай от этих иллюзий избавился.

В 1927 году в связи с мирной конференцией Николай, епископ Жичский, пишет книгу «Война и Библия». При некотором влиянии «Трех разговоров» Владимира Соловьева она является не только самобытным, но и пророческим произведением. В нем владыка Николай предсказывает, что начнется новая война (Вторая мировая), о чем свидетельствовали: 1) явная и тайная подготовка к войне многих стран; 2) военные бюджеты; 3) ускоренное производство оружия; 4) увеличение армий, ускоренное строительство военных кораблей и другой военной техники, 5) ангажирование ряда ученых правительствами; 6) тайные союзы; 7) разветвленная сеть шпионажа⁴. На основании этих показателей

владыка утверждал, что война, начатая в 1914 году, еще не завершена и что идея о новой войне доминирует в сознании многих народов и стран, отводя на задний план разговоры о мире, а также что и в финансовом плане война продолжается. Описание грядущей войны — вопрос, который занимал мысли владыки Николая. Тогда он утверждал, что новая война «будет войной, которая полностью лишена милости, чести и благодородства»⁵. «Ибо грядущая война будет иметь целью не только победу над противником, но и истребление противника. Полное уничтожение не только воюющих, но всего, что составляет их тыл, — родителей, детей, больных, раненых и пленных, их сел и городов, скота и пастбищ, железных дорог и всех путей!»⁶ Сама война будет иметь еще одну отличительную особенность — безыдейность всех воюющих сторон и взаимное недоверие даже среди находящихся под одним знаменем. Ибо эта война будет вестись не во имя веры, не во имя свободы, не во имя родины и нации, а во имя ненависти и борьбы за владычество.

Пророчество святителя Николая сбылось: именно такой и стала Вторая мировая война. Особенно трагического накала его размышления о Европе и европейском империализме достигают в книге «Из окна темницы», написанной в тюремном заключении (1944–1945) из лагеря смерти Дахау, куда святитель Николай был брошен фашистскими захватчиками. В ней он дает горькое, но верное объяснение югославской катастрофы, связанной с отказом значительной части сербского общества от традиционных православных ценностей.

Как никогда актуальны для современной России его слова, произнесенные «Из окна темницы»: «Грешили мы и грехи искупали. Оскорбили мы Господа Бога и наказаны. Испачкались мы беспутством, умылись кровью и слезами. Попрали мы все, что для

¹ Душа Сербии. С. 514–515.

² Там же. С. 571.

³ Там же. С. 581–583.

⁴ Владика Николая. Рат и Библия. Сабрана дела. Кн. V. Диселдорф, 1977. С. 181–183.

⁵ Там же С. 186–187.

⁶ Там же. С. 188–189.

предков было свято, за это и сами попираемы. Имели мы школу без веры, политику без чести, войско без родолюбия, государство без Божиего благословения. Поэтому пропадают у нас и школа, и политика, и войско, и государство. Двадцать лет мы усердствовали, чтобы не быть самими собой, поэтому чужеземцы накрыли нас своим мраком»¹. Почему же, спросит иной, приобщение к европейской культуре является таким грехом? Неужели надлежит замкнуться в своих узких национальных границах? Нет, не к этому призывал святитель Николай Велимирович. Он знал и любил Европу, но Европу христианскую, подлинно культурную и подлинно человеческую. «Пока Европа держалась Христа как солнца Правды, а также его апостолов, мучеников, святителей и бесчисленных праведников, до тех пор она была подобна площади, освещенной сотнями светильников. Но когда человеческая похоть и ум обрушились на Христа, как два страшных урагана, светильники были погашены на глазах у людей и площадь охватил мрак»². Начало падения Европы святитель Николай видел в папизме и протестантстве. «Что такое Европа? Это похоть и ум. А воплощены эти свойства в папе и Лютере. Европейский папа — это человеческая похоть за властью. Европейский Лютер — это человеческое дерзновение все объяснить своим умом. Папа как властитель мира и умник». Самое главное, эти свойства не знают никаких внешних ограничений, они стремятся к бесконечности — «исполнение человеческой похотью до предела и ума до предела». Подобные свойства, возведенные в абсолют, неизбежно должны порождать постоянные конфликты и кровавые войны на уничтожение: «Из-за похоти человеческой каждый народ и каждый человек ищет власти и сласти и славы, подражая Папе Римскому. Из-за ума человеческого каждый народ и каждый человек находит, что он умнее других

¹ Николай Велимирович. Из окна темницы. Минск, 2005. С. 3.

² Там же. С. 121.

и более других. Как в таком случае не быть безумию, революциям и войнам между людьми?»³

Сам европейский ум оказывается воспаленным себялюбивым безумием, ибо в конечном счете направлен на конфликт и разрушение. «Европа умна отнимать, а вот давать не умеет. Она умеет убивать, а ценить чужие жизни не умеет. Она умеет создавать орудия уничтожения, но не умеет быть пред Богом смиренной и по отношению к более слабым народам милостивой. Она умна быть себялюбивой и повсюду нести свой “символ веры” себялюбия, но не умеет быть боголюбивой и человеколюбивой». В этих словах запечатлен огромный и страшный опыт сербов, опыт двух последних столетий.

Предел действия воспаленного европейского ума — воинствующий материализм, приведший европейские народы к большевизму, социо-дарвинизму и расизму. Материализм и империализм для святителя Николая — понятия взаимосвязанные: именно материализм является базой и причиной нового европейского империализма, гораздо более страшного, чем все предыдущие.

Характерен тот воображаемый диалог, который ведут Христос и Европа. Христос: «Как вы, люди, можете жить лишь империалистическими материальными интересами, животной похотью, погоней лишь за телесной пищей? Я ведь вас хотел сделать богами и сынами Божиими, а вы противитесь и спешите уравниваться с тягловым скотом». На это Европа отвечает: «Ты устарел. Вместо Твоего Евангелия мы открыли зоологию и биологию. Теперь нам известно, что мы потомки не Твои и Твоего Отца Небесного, а орангутанга и гориллы. И мы теперь совершенствуемся, чтобы быть богами». Отметим, что именно подобная идеология позволяет истреблять своих врагов «как гусениц». Христос: «Я показал вам любовь Отца ко всем людям и любовью хотел спасти всех вас». Европа:

³ Там же. С. 123.

«Какая любовь? Натиск и мужественная ненависть ко всем, кто не согласен с нами, — вот наша программа. Твоя любовь — лишь басня. Вместо нее мы выдвинули национализм, интернационализм, эволюционизм и культуризм. А ты — прочь от нас». В результате Христос уходит из Европы. Но как только Он удалился, «пришла война, горе, ужас, разрушение, уничтожение. Вернулось в Европу дохристианское варварство — аварское, гуннское, лангобардское, африканское, только во стократно возросшем ужасе своем»¹.

Святитель Николай Велимирович правдиво и точно изложил духовные и психологические причины европейского империализма. Прежде всего, это — инстинкт стяжательства и господства и проистекающая из него борьба за рынки сбыта, за торговые пути и за территории. Как пишет Николай Велимирович, «как только предки наши стали подыматься против азиатов, за свободу свою, Западная Европа предстала как враг нашей свободы. Из-за чего? Из-за транспортных путей, из-за ввоза, вывоза, свиней, быков — вот из-за чего»². Однако к наиболее страшным последствиям привела доктрина *Lebensraum*, или жизненного пространства, связанная с идеями Карла Хаусхоффера, отца геополитики, чьи идеи, пусть и в искаженном виде, воспринял Адольф Гитлер³. На ней подробно останавливается святитель Николай Велимирович: «А всем нам известна их философская теория насчет пространства и освоения его: чтобы продвинуться и захватить... сады, виноградники, огороды, поля, луга, леса, реки, горы и так далее. Но вы, сербы, вместе с Богом воскликните в ужасе: “Как же это вы сделаете, если там живут тысячи и ты-

сячи людей, братьев ваших, которые признают Того же Единого Творца и Отца — своего и вашего? Как?!”

Легко сделаем, отвечают они. Со всем легко. Людей мы огнем повыжигаем, а их леса, поля и виноградники себе заберем. Людей покосим, а их капусту себе оставим, чтобы росла для нас. Людей повылавливаем, поснимаем с них одежду, а их голыми потопим в воде. Людей уничтожим, как гусениц, а их добро и золото заберем себе. Людей потравим ядовитыми газами, а их зерно, вино и елей оставим себе. Людей изгоним в пустыню, пусть вымирают там от голода, а сами сядем за их столы, будем есть, пить и веселиться»⁴.

То, что описывает здесь святитель Николая, — не гротеск, не фантастика, а теория и практика германского национал-социализма и усташского национализма времен Второй мировой войны. Приведем хотя бы одну ту цитату из «Майн Кампф»: «Ясно, что политику завоевания новых земель Германия могла бы проводить только внутри Европы. Колонии можно было получить только ценой очень тяжелой борьбы. Но если уж борьба неминуема, то гораздо лучше воевать не за отдаленные колонии, а за земли, расположенные на нашем собственном континенте. Необходимо отдать себе полный отчет в том, что достигнуть этой цели можно только силой оружия, и, поняв это, спокойно и хладнокровно идти навстречу неизбежному..

Приняв решение раздобыть новые земли в Европе, мы могли получить их в общем и целом только за счет России. В этом случае мы должны были, препоясавши чресла, двинуться по той же дороге, по которой некогда шли рыцари наших орденов. Немецкий меч должен был бы завоевать землю немецкому плугу и тем обеспечить хлеб насущный немецкой нации.

Наше право на это было бы не менее обосновано, нежели право наших

¹ Там же. С. 208–210.

² Там же. С. 254.

³ См., в частности: *Хаусхоффер К. О геополитике. Работы разных лет. М., 2001.* Примечательно, что Хаусхоффер в конечном счете попал в Дахау и сидел там почти одновременно со свчтителем Николаем Велимировичем.

⁴ *Николай Велимирович. Из окна темницы. С. 361.*

предков. Ведь никто из наших современных пацифистов не отказывается кушать хлеб, выросший в наших восточных провинциях, несмотря на то, что первым «плугом», проходившим некогда через эти поля, был, собственно говоря, меч»¹. И так, вот каковы были заявленные геополитические цели, ставшие известными европейской общественности еще в конце двадцатых годов.

Относительно средств Гитлер также был предельно откровенен: «Главнейшей предпосылкой успеха преследований является, таким образом, непрерывное, настойчивое применение их. Но настойчивость в этой области может являться только результатом идейной убежденности. То насилие, которое не проистекает из твердого идейного убеждения, непременно будет неуверенно в себе и будет испытывать колебания. Такому насилию никогда не хватит постоянства, стабильности. Только то мировоззрение, в которое люди фанатически верят, дает такое постоянство. Такая настойчивость зависит, конечно, от энергии и brutальной решимости того лица, которое руководит операцией»².

И brutальной решимости нацистам, как известно, было не занимать. Сожжение живых людей практиковалось не только в Белоруссии 1943 года, но и в Хорватии 1941 года³. В Дахау святитель Николай соприкоснулся с массовым убийствам ядовитыми газами русских, белорусов, сербов, евреев, цыган. От свидетелей он мог узнать и страшные детали этих расправ — снятие одежды перед казнью, выдергивание золотых зубов у покойников и т. д.⁴ Слова об изгнании в пустыню людей отчасти отражают советский опыт — высылки тысяч и тысяч

крестьян в Сибирь⁵, зачастую в нежилые места на голодную смерть, отчасти нацистский опыт — сгон военнопленных за колючую проволоку посреди поля или леса без воды и хлеба⁶. И наконец, слова «сядем за их столы, будем есть, пить и веселиться» отражают реальность воюющей нацистской Германии, которая не только не знала карточек, но некоторое понижение жизненного уровня почувствовала лишь во второй половине 1944 года. До этого благодаря даровому труду военнопленных остовских рабов и грабежу Европы немецкий народ не испытывал почти никаких лишений и, за исключением бомбежек, почти не чувствовал войны⁷.

И если «все пути Господни милость и истина», то все пути Западной Европы — немилость и ложь». И возникает трагический вопрос: разве Западная Европа не христианская? Ответ — была таковой. А где Христос в Западной Европе? На дальнем конце стола. А кто же во главе стола? Политики, философы, писатели, бизнесмены, фарисеи, саддукеи. А кто Европу научит милости? Она не желает ее знать. Для нее милость есть слабость. А кто же Европу научит, что есть истина? Ответ: Европа и не желает знать настоящей и вечной истины. Ее философы и политики сами определяют свою истину для каждого нового поколения. «Новое поколение — новая истина»⁸. В европейской жизни для святителя Николая отношение к истине, ее релятивизация и прагматизация — одно из самых страшных явлений.

«Европа отвергла и Ветхий, и Новый Завет Божий, ухватившись за байки и выдумки своих поэтов и философов. Настоящую истину она отвергла, а иллюзорную истину охотно

¹ Гитлер А. Майн Кампф. <http://www.xxii-vek.info/best/MainKamf.htm>

² Там же.

³ См., в частности: Прийма И. Голоса Сербии. СПб., 1992. С. 31.

⁴ См., в частности: Буллок А. Гитлер и Сталин. Т. 2. Смоленск, 1994. С. 401–402.

⁵ См., в частности: Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. 3. М., 1995.

⁶ Из последних работ см., в частности: Сквозь две войны, сквозь два архипелага. М., 2007.

⁷ Об этом см.: Пленков О. Ю. Социализм Гитлера. СПб., 2006.

⁸ Николай Велимирович. Из окна темницы. С. 254–255.

приняла. Ведь только от Бога настоящая истина, от людей же — иллюзорная истина, которая есть ложь в одежде истины, волк в овечьей шкуре»¹. Таким образом, святитель Николай глубоко ставит проблемы реальности и виртуальности. Он ясно показывает, что новоевропейское знание в принципе виртуально, поскольку не имеет подлинного онтологического основания, каковым может быть только Бог и Его нетварные энергии, которыми Он сотворил мир. Отсутствие веры в Единого Творца подразумевает и подрыв представления о единстве, целесообразности и закономерности сотворенного Им мира и тем паче человеческого общества. Отсюда и тяга не только к множеству подходов, но и к множеству истин с единственным категорическим императивом: «по поводу плюрализма не может быть двух мнений». Отсюда и тяга к тому, что может быть названо *fiction fantasy* (фикция и фантазия). Конечный итог такого знания печален, это — безумие: «Последние европейские проповедники истины сошли с ума и умерли в домах для умалишенных». Однако индивидуальное философское безумие через подражание перерастает в безумие коллективное, социальное, которое построено, казалось бы, на точнейших философских законах. Характерен тот воображаемый диалог, который ведут пророки Илия и Енох с правителями последних времен. «Призовут пророки: “Не восставайте друг на друга: вы братья. Бесы соблазняют вас, разъединяют и истребляют”».

Правители народов разгневаются: «Вся экономическая система зависит от военной промышленности. Войны — лучшие селекционеры, они отбирают сильных и жизнеспособных, так учат нас наши философы, этому учимся у дикой природы, у крокодилов и орангутангов. Значит, вы против развития современной экономики? Мы убьем вас, если вы не замолчите».

Страшную мировую войну святитель Николай рассматривал как Боже-

ственное наказание за богоотступничество, за попрание нравственного закона, за возведение в нравственный императив законов физического и биологического мира.

У Бога отняли всякую власть — причем не только власть, но и всякое влияние — на земле, в школах, в обществе, в государстве, в политике и искусстве, в межчеловеческих и международных отношениях... Но с Богом нельзя играть. Когда люди, как гости за Божиим столом, слишком обнаглеют, должно прийти наказание как напоминание со стороны Хозяина. Два страшных напоминания Божиих нынешнему поколению — это две мировые войны с перерывом в двадцать лет².

«Трагедия Европы в том, что она сделала выбор в пользу царства смерти, которое считает вечным, а отвергла Царство Жизни Вечной. Она заключила союз со смертью, заявив через свои университеты: “Смерть непобедима: жизнь — это случайность”. Европа объявила существующее несуществующим, а несуществующее — существующим. Единственный реальный закон, закон нравственный, который от Бога и назван законом, она отвергла как незаконность или как некое изношенное платье. А то, что есть не закон, а временной порядок природных явлений и событий, объявила законом единственным и непреложным. И написали они ложной тростью своей ложь в виде истории, которая слепые силы природные, орудие в руках Божиих, ставит выше Бога, и с их помощью объясняли судьбу человека, народов, племен и всего человечества — с помощью орудий Божиих, а не с помощью Бога. И посредством лжи прославляли они один народ, а унижали другой в соответствии с полученной платой, настраивали одно колено против другого, ополчали народ против народа, детей против отцов»³.

И эта ложь неминуемо приводит к вражде между нациями, агрессии одного государства против другого и

¹ Там же. С. 259.

² Там же. С. 90.

³ Там же. С. 385.

истреблению целых народов. В этих условиях Церковь оставалась одним из немногих институтов, который не только свидетельствовал об истине и подлинном назначении человека, но и боролся за мир между народами, за их братство и единство. Церковь утверждает: «Народы — это семья Христа, Бога нашего, и между ними должны быть взаимопонимание и взаимопомощь». Но, к сожалению, ее голос не был услышан. Политики на это отвечают: «Наш народ по крови и культуре выше многих народов, и он должен властвовать над этими народами. Кроме того, должны приниматься во внимание наши экономические интересы, которые превыше всего, и наш национальный престиж»¹. Опять-таки святитель Николай Велимирович верно обрисовал константы новоевропейского постхристианского сознания, в основе которого — материалистическая идея крови и экономического успеха и квазирелигиозная идея культуры, по выражению святителя — идола из «бумаги, золота и серебра». И все это возводится в «перл создания» благодаря чудовищной гордыне новоевропейского человека, квинтэссенцией которой является т. н. «национальный престиж». Результат действий, построенных на

¹ Николай Велимирович. Из окна темницы. С. 380.

таком мировоззрении, может быть только один — «смерть и ад».

Церковь учит европейские народ: «Вы крещены, чтобы и других крестить. Как империалисты, вы захватываете чужие земли для того, чтобы их самим использовать, а не для того, чтобы явить Христа, Евангелие, Жизнь и братство. Это — не благословение, а проклятие. И будет проклят ваш империализм. Смерть проросла сквозь европейское общество, как трава сквозь истлевший труп... И результат очевиден. Мир! Мир! Мир! — кричат правители, а их народы гибнут, воюя. И все оттого, что говорится о мире без Бога. «Хлеб! Хлеб! Хлеб!» — кричат доктора европейской экономики, а их народы изнемогают от голода. И все оттого, что хлеба ищут не у Бога».

Выход из всех тупиков для епископа Жичского очевиден — возвращение ко Христу, к Его нравственным законам, созидание общества на основе любви, терпения и братства. Святитель Николай пророчески предупреждает: «Все, кто поклонился золоту, умерли от голода. И все, кто поклонился стали, от стали погибли. Разве не научил вас кровавый опыт? Вне Христа все — обман и заблуждение! Поэтому придите и поклонитесь Христу, Царю и Богу нашему. Аминь»².

² Там же. С. 114.